

ISSN 2074-9848
e-ISSN 2310-0532



БАЛТИЙСКИЙ РЕГИОН

BALTIJSKIJ REGION

2022 || **Том 14** || **№ 4**

КАЛИНИНГРАД

**Издательство Балтийского
федерального университета
им. И. Канта**

2022

Калининград :
Изд-во БФУ
им. И. Канта, 2022.
185 с.

Журнал основан
в 2009 году

Периодичность
ежеквартально
на русском
и английском языках

Учредители
Балтийский
федеральный
университет
им. Иммануила Канта
Санкт-Петербургский
государственный
университет

Редакция
Адрес: 236016, Россия,
Калининград,
ул. А. Невского, 14

Издатель
Адрес: 236001, Россия,
Калининград,
ул. Гайдара, 6

Типография
Адрес: 236001, Россия,
Калининград,
ул. Гайдара, 6

Выпускающий редактор
Кузнецова
Татьяна Юрьевна
tikuznetsova@kantiana.ru
www.journals.kantiana.ru

© БФУ им. И. Канта, 2022

Редакционная коллегия

А. П. Клемешев, д-р полит. наук, проф., главный редактор, БФУ им. И. Канта (Россия); **Г. М. Федоров**, д-р геогр. наук, проф., зам. главного редактора, БФУ им. И. Канта (Россия); **Й. фон Браун**, проф., Боннский университет (Германия); **И. М. Бусыгина**, д-р полит. наук, проф., МГИМО (У) МИД РФ (Россия); **В. В. Воронов**, д-р социол. наук, Даугавпилсский университет (Латвия); **А. Г. Дружинин**, д-р геогр. наук, проф., ЮФУ (Россия); **М. В. Ильин**, д-р полит. наук, проф., МГИМО (У) МИД РФ (Россия); **П. Йонниеми**, старший научный сотрудник, Университет Восточной Финляндии (Финляндия); **Н. В. Каледин**, канд. геогр. наук, доц., СПбГУ (Россия); **В. А. Колосов**, д-р геогр. наук, проф., Институт географии РАН (Россия); **Г. В. Кретинин**, д-р ист. наук, проф., БФУ им. И. Канта (Россия); **Ф. Лебарон**, проф. социологии, Высшая нормальная школа Париж-Сакле (Франция); **В. А. Мау**, д-р экон. наук, проф., РАНХиГС (Россия); **Н. М. Межевич**, д-р экон. наук, проф., Институт Европы РАН (Россия); **А. Ю. Мельвиль**, д-р филос. наук, проф., НИУ — ВШЭ (Россия); **П. Оппенхаймер**, проф., Крайст-Чёрч, Оксфордский университет (Великобритания); **Т. Пальмовский**, д-р географии, проф., Гданьский университет (Польша); **А. А. Сергунин**, д-р полит. наук, проф., СПбГУ (Россия); **Э. Спиряевас**, д-р географии, проф., Клайпедский университет (Литва); **К. К. Худолей**, д-р ист. наук, проф., СПбГУ (Россия); **А. Е. Шаститко**, д-р экон. наук, проф., МГУ им. М. В. Ломоносова (Россия); **Д. Шиманска**, д-р географии, проф., Университет Николая Коперника в Торуне (Польша)

Подписной индекс 32249

Тираж 300 экз.

Дата выхода в свет 19.12.2022 г.

Издание зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-46309

от 26 августа 2011 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Общественная география

- Дружинин А. Г., Кузнецова О. В.* Учет «фактора моря» в федеральном регулировании пространственного развития России: постсоветский опыт и современные приоритеты 4
- Федоров Г. М.* Экономика регионов России на Балтике: уровень и динамика развития, структура, внешнеторговые партнерства 20
- Воронов В. В.* Малые города Латвии: неравенство в региональном и городском развитии 39
- Земцов С. П., Демидова К. В., Кичаев Д. Ю.* Распространение Интернета и межрегиональное цифровое неравенство в России: тенденции, факторы и влияние пандемии 57
- Кондратьева С. В.* Трансграничная туристская мобильность в жизни местного населения карельского приграничья: ограничения пандемии COVID-19 79

Этногеография

- Агафошин М. М., Горохов С. А., Дмитриев Р. В.* Беженцы из Сирии и Ирака в Швеции: особенности расселения в период миграционного кризиса 98
- Осколков П. В.* Организации этнических меньшинств в России и Польше: методологические вызовы сравнения 113

Политика памяти

- Мегем М. Е.* Снести нельзя оставить: ключевые тенденции политики памяти стран Балтии в отношении советских памятников на местах массового насилия ... 128
- Филёв М. В., Курганский А. А.* Демонтаж памятников как ключевая часть процесса «декоммунизации» на Украине и в Польше после 2014 года 146

Данные в науке

- Кузнецова Т. Ю.* Межрегиональные различия динамики численности сельского населения и хозяйства в Российской Федерации 162

УЧЕТ «ФАКТОРА МОРЯ» В ФЕДЕРАЛЬНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ: ПОСТСОВЕТСКИЙ ОПЫТ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

А. Г. Дружинин^{1, 2} 

О. В. Кузнецова^{3, 4} 

¹Южный федеральный университет,
344006, Россия, Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 105/42

²Институт географии РАН,
119017, Россия, Москва, Старомонетный пер., 29

³ФИЦ «Информатика и управление» РАН,
119333, Россия, Москва, ул. Вавилова, 44/2

⁴Финансовый университет при Правительстве РФ,
125167, Россия, Москва, Ленинградский просп., 49/2

Поступила в редакцию 14.08.2022 г.
doi: 10.5922/2079-8555-2022-4-1

© Дружинин А. Г.,
Кузнецова О. В., 2022

Современные геоэкономические и геополитические трансформации, напрямую проецируясь на российское общество, видоизменяют его территориальную организацию, актуализируя проблематику пространственного социально-экономического развития, включая вопросы его государственного регулирования. Статья посвящена теоретическим и прикладным аспектам учета в системе региональной политики Российской Федерации специфического «фактора моря», понимаемого как совокупность ресурсных и позиционных условий и возможностей, предопределяемых юрисдикцией страны над морскими побережьями и акваториями, морехозяйственной активностью и талассоаттрактивностью (экономической, селитебной, ментальной). Изложено видение основных направлений (и проявлений) воздействия «фактора моря» на пространственное развитие постсоветской России. Показано, что присущий двум последним десятилетиям устойчивый рост влияния морской активности на территориально-хозяйственную и селитебную динамику и в современный период не только сохраняет инерцию, но и обретает новый импульс в связи с повышением геостратегической, ресурсной и транспортно-логистической значимости как в целом Мирового океана, так и его отдельных аквальных и аква-территориальных субструктур в условиях возросшего военно-стратегического противостояния и геоэкономической регионализации. Осуществлен ретроспективный анализ учета «фактора моря» в реализуемой в Российской Федерации региональной политике; предложена соответствующая этапизация. Обоснована необходимость и показаны конкретные направления обеспечения синергии морской и пространственной политики.

Ключевые слова:

пространственное развитие, федеральное регулирование, приморские регионы, приморские муниципальные образования, морское хозяйство, Россия

Для цитирования: Дружинин А. Г., Кузнецова О. В. Учет «фактора моря» в федеральном регулировании пространственного развития России: постсоветский опыт и современные приоритеты // Балтийский регион. 2022. Т. 14, № 4. С. 4–19. doi: 10.5922/2079-8555-2022-4-1.

Введение

Пространственность — не только «особый тип упорядоченности мира» [1, с. 31], одно из его универсальных и фундаментальных, присущих в том числе человеческому сообществу (воплощенных в его структуре, проецирующихся на его динамику) свойств, но и базовый подход, в существенной мере — императив любого рода продуктивной социальной деятельности, включая сферу государственной политики. Тщательный и всесторонний учет специфики пространства, его детерминант и возможностей — в особой мере значим для России, страны обширной и весьма разнородной, оказавшей ныне в эпицентре глобальных геозкономических и геополитических «тектонических сдвигов» [2] и при этом все более фокусирующейся на факторах и приоритетах своей «внутренней» динамики [3], в том числе и общественно-географических. Значимое место среди последних занимает так называемый «фактор моря» [4], воплощающий активно обсуждаемые в последние годы [5—9] обстоятельства приморского (приокеанического) положения Российской Федерации, ее юрисдикции над сопредельными акваториями Мирового океана, наличия у страны реальных (предельно четко зафиксированных в обновленной Морской доктрине Российской Федерации¹) стратегических ориентиров и интересов, мотивированных в том числе вновь проявившимися с конца 1990-х — начала 2000-х гг. тенденциями роста морехозяйственной активности и талассоаттрактивности («притяжения» к морю экономики, инфраструктуры и населения [10]).

Принятая в 2019 г. Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 г.², вскрыв (с практически неизбежной для подобного рода документов степенью генерализации и политической ангажированности [11]) важнейшие на тот период тенденции и проблемы современной России, акцентировала ее пространственные цели, задачи и приоритеты. Содержательно был очерчен, конкретизирован и сам ключевой понятийный конструкт «пространственное развитие», определяемый как «совершенствование системы расселения и территориальной организации экономики, в том числе за счет проведения эффективной государственной политики регионального развития»). Вместе с тем данная Стратегия в целом лишь «по касательной» затронула весьма значимые для страны «морские» (аква-территориальные) аспекты ее жизнедеятельности. Цель статьи — выявление «морской составляющей» в региональной политике постсоветской России и обоснование на этой основе (ориентируясь на современный геостратегический, а также внутрироссийский, в частности экономический, контекст) возможностей, барьеров и приоритетов, федерального регулирования пространственного развития с учетом «фактора моря».

«Фактор моря» в пространственном развитии: сущностные характеристики и постсоветские проявления

Для России «фактор моря», с одной стороны, — пролонгированная, берущая свои истоки еще со времен легендарного пути «Из варяг в греки», ганзейских связей Новгорода и Пскова и генуэзских Золотой Орды — историческая (историко-ге-

¹ Об утверждении морской доктрины Российской Федерации : указ Президента РФ № 512 от 31 июля 2022 г. 2022, *Официальный интернет-портал правовой информации*, URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207310001> (дата обращения: 06.08.2022).

² Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, распоряжение Правительства РФ № 207-р от 13 февраля 2019 г., 2019, *Официальный интернет-портал правовой информации*, URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207310001> (дата обращения: 06.08.2022).

ографическая) данность, с другой — демонстрирующая элементы циклизма, вновь и вновь «захватывающая» страну пространственная инновация, каждый раз переформатирующая территориальную организацию общества, придающая импульс тем или иным сегментам побережья, обеспечивающая приоритетную динамику конкретным, востребованным («здесь и сейчас») отраслям национальной экономики и связанным с ними компонентам территориально-поселенческой структуры (включая в первую очередь собственно приморские).

Если исходить из практически неизбежной для категории «пространственное развитие» ее содержательной двойственности (сочетающей в себе, с одной стороны, указание на позитивный, целесообразный, предпочтительный тренд трансформации пространственных социально-экономических структур и пропорций, реализуемый в том числе инструментами региональной политики, фиксируемый в соответствующих программах, стратегиях, с другой — собственно акцент на любого рода «пространственность» социально-экономической динамики), то и «фактор моря» в данном случае также предстает явлением многоплановым, объединяющим такие значимые свойства и характеристики, как:

- наличие морских побережий и акваторий в национальной юрисдикции, их хозяйственная и инфраструктурная обустроенность;

- сформированность «морских» (и «приморских») пространственных (акватерриториально-отраслевых) структур, их специфика, «вес» и значимость в масштабе страны;

- действенность использования позиционных и ресурсных возможностей, предопределяемых выходом той или иной конкретной территории к морю;

- зависимость ключевых производств и ведущих корпораций от доступа (физического, технико-технологического, экономического, геополитического) к морским ресурсам и трансакваториальным коммуникациям;

- степень общей «приближенности» экономики, населения и инфраструктуры к морским побережьям;

- мера осознания властью, бизнес-структурами и в целом обществом своих «морских» интересов, возможностей и приоритетов и др.

Включается в категорию «фактор моря», как полагаем, и совокупное воздействие на пространственную динамику таких базовых географических феноменов, как граница, соседство, сопряженность, регионализм, ресурсообеспеченность, транспортно-географическое положение. В предельно широком смысловом контексте под «фактором моря» в пространственном развитии может пониматься, наконец, и обеспечение целесообразного для общества (социально-экономически, геоэкономически, геополитически), перманентно донстраиваемого баланса в дихотомии «суша — море», сопровождаемого опережающим развитием приморских зон, регионов, муниципальных образований. В еще более глобальной трактовке «фактор моря» вмещает совокупное (в том числе и геополитическое, геоидеологическое) влияние на определенную территорию так называемых морских государств и целых цивилизаций (в их культивируемом начиная с А. Мэхена [12] понимании), а также циркулирующих (благодаря транспортирующей способности морских акваторий) трансконтинентальных, трансакваториальных воспроизводственных цепочек (основоположник евразийства П. Н. Савицкий весьма точно определял данный феномен как «океаническую экономику» [13]).

Три последних десятилетия в России имел место последовательный рост влияния «фактора моря», причем как «восстановительный» (приближающий ситуацию к уровню конца 1960-х — начала 1980-х гг., когда страна, интенсивно осваивая Мировой океан [14], де-факто стала «континентально-океанической» [15]), так и напрямую инициированный более глубоким (уже непосредственно постсоветским)

включением в мирохозяйственные процессы (в том числе в контуре формирующихся по периметру Российской Федерации морских трансграничных макрорегионов [16]) с соответствующим расширением спектра (и локалитетов) морехозяйственной активности (портовые и портово-промышленные комплексы на важнейших коммуникационных коридорах, подводные трубопроводы, шельфовая нефте- и газодобыча на Сахалине, в Арктике и др. [5]). Возрастающее влияние на «сдвиг к морю» оказывают и геополитические ситуационные изменения (углубляющаяся по мере роста противостояния между Россией и Западом эксклавность Калининградской области [9], вхождение Крыма в состав РФ [17], хозяйственные и геополитические императивы развития Северного морского пути [18] и др.).

Современный период (чьим окончательным рубежом и маркером стали военно-политические события с февраля 2022 г.) характеризуется сочетанием достигнутой в предшествующие два — два с половиной десятилетия инерции (ее наглядной иллюстрацией служит транспортно-логистическая сфера: даже на фоне жесткого санкционного давления и рыночной турбулентности по итогам первых семи месяцев 2022 г. российские морские порты сохранили прежний объем грузооборота³) с новыми целевыми ориентирами и трендами. Речь в данном случае идет, во-первых, о повсеместном повышении для России геостратегической значимости приморских территорий и прилегающих к ним акваторий (при одновременной необходимости перенастроить морехозяйственную активность на новые рынки, переформатировать транспортно-логистические и иные взаимодействия в сложившихся морских регионах, в первую очередь на Балтике и в Причерноморье). Во-вторых, о приоритетности достижения Российской Федерацией существенно более высокого (и эффективного), чем ранее, не только уровня импортозамещающей морехозяйственной активности (в обеспечении грузоперевозок, судостроении, разведке и добыче энергоресурсов и др.), но и позитивных региональных (муниципальных) социально-экономических экстерналий от «фактора моря». В-третьих, о предельно возможном использовании потенциала опоясывающих страну морских акваторий для повышения связанности ее территорий (вопрос этот сейчас особо актуализирован для Калининградской области, хотя наиболее масштабными, стратегическими целевыми объектами здесь выступают, конечно же, Арктическая зона и Тихоокеанская Россия). Эти задачи носят общегосударственный характер и одновременно имеют четкую локальную и региональную привязку, что инициирует их учет (как и в целом ориентацию на «фактор моря») в культивируемой в Российской Федерации системе федерального регулирования пространственного развития.

Морской (приморский) вектор федерального регулирования пространственного развития: инвентаризация подходов, этапизация трендов

Федеральное влияние на социально-экономическую динамику территорий всегда многопланово и осуществляется как непосредственно в рамках общенациональной региональной политики, так и косвенно, при реализации других разнообразных направлений деятельности центральных властей — промышленной политики, социальной и многих других. Специфика приморских регионов (в России по состоянию на август 2022 г. их 23; это четверть территории страны и почти 27 % ее населения) состоит в том, что приоритетное значение для них имеет особым образом

³ Грузооборот морских портов России за 5 месяцев 2022 г. Ассоциация морских портов России, 2022, *Ассоциация морских торговых портов*, URL: <https://www.morport.com/rus/news/gruzooborot-morskih-portov-rossii-za-5-mesyaca-2022-g> (дата обращения: 05.07.2022).

разрабатываемая *морская политика* страны⁴, к которой можно отнести и отдельные направления отраслевой политики (в сфере морского транспорта, судостроения и судоремонта, рыбного хозяйства, шельфовой нефтегазодобычи, сооружения подводных трубопроводов и др.).

Логика эволюции как морской, так и региональной политики России в значительной степени определялась и определяется теми ключевыми вехами и событиями, которые происходят в социально-экономической жизни страны. В этой связи основные этапы развития морской и региональной политики Российской Федерации в значительной мере совпадают в своих временных рамках, но не всегда тождественны своей направленностью (табл. 1).

«Стартовые» для постсоветского периода 1990-е гг. характеризовались кардинальными хозяйственными трансформациями и дефицитом бюджетных ресурсов, оставляющим возможность фокусироваться лишь на наиболее значимых для существования страны проблемных ситуациях и вызовах. В морехозяйственной сфере в подобном качестве воспринималась прежде всего сложившаяся после распада СССР сверхвысокая степень транспортно-логистической зависимости России от ключевых морских портов (Одесса, Клайпеда, Вентспилс и др.), оказавшихся в юрисдикции сопредельных государств, обеспечивавших более 40 % всех морских грузоперевозок Российской Федерации [19]. В региональной политике оперативных решений требовала ситуация в приморской Калининградской области, оторванной от других регионов страны: с самого начала 1990-х гг. ее эксклавность начали компенсировать режимом свободной, потом особой экономической зоны, а также инвестициями в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) развития региона. Уже в первые годы рыночных преобразований стала также очевидной проблемность Дальнего Востока в целом (в силу прекратившейся масштабной государственной поддержки, свойственной советскому периоду) и Курильских островов в частности (симптоматично, что только за 1989—2002 гг. численность населения Магаданской области сократилась почти втрое, Камчатки и Сахалинской области — на треть). По этим территориям также были приняты отдельные ФЦП, но, как и все аналогичные современные им программы, хронически недофинансировавшиеся. В рамках региональной политики того времени тема приморских регионов как таковая вообще не поднималась: в основном нормативно-правовом акте — президентском указе 1996 г. «Об основных положениях региональной политики в РФ» — понятие «приморские регионы» (в отличие от приграничных) вообще не фигурировало.

Последовавший за кризисом 1998 г. экономический рост расширил возможности для инвестирования из федерального бюджета, но именно в этот период тренды развития морской и региональной политики кардинально различались: если усилия в области морской политики наращивались, то региональная, напротив, почти исчезла (сохранялись лишь основные ФЦП регионального развития и ОЭЗ в Калининградской области). Причина этого, по всей видимости, заключалась в доминировании в те годы либеральных подходов к госрегулированию экономики — предполагалось, что хорошие макроэкономические условия позволят обеспечить развитие проблемных регионов без дополнительной федеральной поддержки. Морская же политика была как раз ориентирована на создание таких условий (в русле наращивания портового грузооборота, к 2005 г. в 3,7 раза превысившего первоначальный постсоветский уровень, а также использования иных морских ресурсов) и, что даже более важно, на обеспечение национальной безопасности, защиту российских интересов в конкуренции с другими морскими государствами.

⁴ В соответствии с Морской доктриной РФ национальная морская политика РФ — определение государством и обществом целей, принципов, направлений, задач и способов обеспечения национальных интересов РФ в Мировом океане, а также практическая деятельность по их реализации.

Таблица 1

**Основные этапы коэволюции морской
и региональной политики постсоветской России**

Этапы морской политики РФ	Временной период	Этапы региональной политики РФ
Импортозамещение в портово-логистическом обеспечении экспортно-импортных товаропотоков с локализацией позитивных социально-экономических эффектов в ограниченном числе приморских городов (программа «Возрождение торгового флота России на 1993—2000 годы», 1992 г.)	1992—1997	Попытки, преимущественно неудачные, становления региональной политики на основе лучших зарубежных практик; появление ФЦП как основного инструмента региональной политики (ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996—2005 и до 2010 года», 1996 г.; ФЦП по Курильским островам 1993 г., Краснодарскому краю 1996 г., г. Сочи 1997 г., Калининградской области 1997 г., Астраханской области 1997 г.); создание особой экономической зоны в Калининградской области
Активизация и диверсификация морской активности; рост внимания к проблеме обеспечения юрисдикции РФ над сопредельными акваториями (ФЦП «Мировой океан», 1998 г.; Морская доктрина России на период до 2020 года, 2001 г.; ФЦП «Развитие транспортной системы России на 2010—2021 годы», подпрограмма «Морской транспорт», 2001 г.; ФЦП «Создание системы базирования Черноморского флота на территории РФ в 2005—2020 годах», 2004 г.; «Основы государственной политики РФ в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу», 2008 г.)	1998—2003	Фактический отказ от региональной политики при одновременном упорядочении системы ФЦП регионального развития, сохранении ФЦП по Дальнему Востоку и Курилам, Калининградской области
	2004—2008	Начало формирования федеральной политики регионального развития (создание в 2004 г. Министерства регионального развития РФ, раздел «Региональное развитие» в Стратегии-2020), расширение инструментария федеральной поддержки отдельных регионов (в том числе поправки 2007 г. в федеральный закон 2005 г. «Об особых экономических зонах в РФ» о портовых ОЭЗ)
Акцент на развитии отечественного судостроения; декларируемый сдвиг морской активности в Арктику и на восток (ФЦП «Развитие гражданской морской техники на 2009—2016 годы»; ФЦП «Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009—2012 годах»; «Стратегия развития морской деятельности РФ», 2010 г.; «Стратегия развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 года»; «Основы государственной политики РФ в области военно-морской деятельности на период до 2020 года», 2012 г.; «Развитие судостроения на 2013—2030 годы», 2012 г.)	2009—2013	Существенная активизация федеральной поддержки развития регионов как ответ на вызовы кризиса 2008—2009 гг., возрастание значимости дальневосточной политики (создание Министерства по развитию Дальнего Востока РФ в 2012 г.; новых особых экономических зон; появление поддержки моногородов)

Окончание табл. 1

Этапы морской политики РФ	Временной период	Этапы региональной политики РФ
Акцент на геостратегической значимости приморских территорий и прибрежных акваторий, развитии Северного морского пути, технико-технологическом переоснащении морского хозяйства, морехозяйственном освоении Арктики («Морская доктрина РФ», 2015 г.; новая редакция «Стратегии развития морской деятельности РФ до 2030 года», 2019 г.)	2014—2021	Формализация федеральной политики регионального/пространственного развития («Основы государственной политики регионального развития РФ на период до 2025 года», 2017 г.; «Стратегия пространственного развития РФ на период до 2025 года», 2019 г.); активная поддержка с помощью разнообразных мер приоритетных геостратегических регионов — как вновь появившихся/оформившихся (Арктическая зона РФ, Крым), так и «старых» (Дальний Восток, Курилы, Калининградская область) (государственные программы; федеральные законы о территориях опережающего развития 2014 г., Свободном порте Владивосток 2015 г., свободной экономической зоне в Крыму 2014 г., господдержке предпринимательской деятельности в Арктике 2020 г. и др.)
Четкая делимитация сферы геостратегических интересов РФ в Мировом океане; акцент на судостроении как ключевом компоненте морской активности, а также на социально-экономическом развитии приморских территорий («Морская доктрина РФ до 2035 года»)	2022	

Ситуация с региональной политикой начала существенно меняться только в середине 2000-х гг., когда проявилась необходимость не только поддержки проблемных территорий, но и как минимум понимания перспектив развития всей совокупности российских регионов, выявления перспективных точек роста. Так, в утвержденной в ноябре 2009 г. «Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года» (Стратегии-2020) один из разделов был посвящен центрам регионального развития, где упоминались преимущества и приморского положения регионов. Вместе с тем масштабного разворачивания новых инструментов региональной политики, особенно в отношении приморских регионов, до кризиса 2008 г. не произошло. Несмотря на планы создать по одной портовой ОЭЗ в каждом из пяти российских морских бассейнов, по факту создана была только одна ОЭЗ в Советской Гавани в Хабаровском крае (но и она не заработала, оказавшись в итоге досрочно ликвидированной). Среди поддержанных в рамках созданного в 2005 г. Инвестиционного фонда РФ проектов только один был связан с развитием морского порта — Усть-Луга (Ленинградская область).

Кризис 2008 г. заставил федеральные власти активизировать поддержку экономики — как в целом, так и отдельных регионов, при этом с середины 2010-х гг. приоритеты морской и региональной политики все больше синхронизируются (в первой половине 2010-х гг. решения региональной политики несколько запаздывают по сравнению с морской, имевшей более длительную историю становления). Более того, в новой Морской доктрине (2022) впервые особый акцент сделан на развитии приморских территорий. Подобного рода синхронизация связана, как представляется, с тремя обстоятельствами.

Во-первых, в рамках и морской, и региональной политики повышенное внимание уделяется приоритетным геостратегическим территориям, включая Дальний Восток и Арктику (в рамках региональной политики только для этих территорий создано отдельное федеральное министерство, принято множество решений по их федеральной поддержке). В частности, обсуждение перспектив развития Северного морского пути, развития дальневосточных портов идет с позиций реализации задач и морской политики, и региональной.

Во-вторых, в условиях введения антироссийских санкций сквозной темой для многих направлений деятельности федеральных властей стало импортозамещение, поддерживаемое мерами как отраслевой, так и региональной политики. Например, создание в 2014 г. промышленно-производственной ОЭЗ «Лотос» в Астраханской области мотивировалось именно необходимостью развивать импортозамещение в судостроении; в 2020 г. в регионе появилась и портовая ОЭЗ, объединенная с производственной в Каспийский кластер.

В-третьих, скоординированной политики (вмещающей в себя в том числе и значимый «морской аспект») потребовало инкорпорирование Республики Крым и г. Севастополя в состав РФ (показательно, что за 2015—2020 гг. регионы Крыма суммарно получили 788 млрд руб. безвозмездных перечислений из федерального бюджета, что эквивалентно 7,3 % от аналогичного показателя по стране в целом).

Заметный рост масштабов федеральной поддержки экономики, обусловленный первоначально мировым кризисом 2008 г., потом антироссийскими санкциями 2014 г., далее начавшейся в 2020 г. пандемией COVID-19 и новыми антироссийскими санкциями 2022 г., привел к появлению многочисленных решений по дополнительной поддержке приморских регионов, однако сколько-нибудь целостного видения их роли в пространстве страны, особенностей и перспектив развития, взаимодействия с другими территориями, в федеральном регулировании пространственного развития в итоге не сложилось. В «Стратегии пространственного развития РФ» (2019) все сводится только к развитию морских портов и максимум увеличению пропускной способности подходов к ним. О целенаправленной работе по координации морской политики и федерального регулирования пространственного развития говорить пока, таким образом, не приходится.

Крайне редко напрямую связаны именно с «фактором моря» конкретные инструменты развития регионов — в качестве таковых можно назвать только портовые ОЭЗ и режим Свободного порта Владивосток (который в настоящее время распространяется на 22 муниципальных образования в 5 дальневосточных субъектах РФ). Иначе говоря, приморские регионы поддерживаются преимущественно в рамках общих для всех типов регионов мер федеральной политики, хотя подчас и ориентированных на связанную с морем деятельность (наряду с уже названной промышленной ОЭЗ в Астраханской области это, к примеру, территория опережающего развития «Большой Камень» в Приморском крае, созданная для развития судостроения). При этом если сфокусировать внимание на фактических объемах федеральной поддержки приморских регионов, то доля последних в федеральных инвестициях, межбюджетных трансфертах выше их удельного веса и в населении страны, и в суммарном ВРП (табл. 2). Соотношение распределяемых по регионам средств тем не менее не является стабильным, что, полагаем, связано не только с «ковидным» кризисом, но и с характерным для современной России отсутствием четко расставленных приоритетов пространственной политики [11]. «Фактор моря», его потенциал в развитии страны, с нашей точки зрения, здесь тоже должен сполна учитываться.

Таблица 2

**Приморские регионы в демографическом и экономическом потенциале России,
а также в инвестициях в основной капитал
и безвозмездных перечислениях из федерального бюджета, 2019–2020 гг.**

Регионы	Удельный вес приморских регионов в РФ, %						
	Численность населения	ВРП		Инвестиции в основной капитал из федерального бюджета		Безвозмездные перечисления из федерального бюджета	
		01.01.2021	2019	2020	2019	2020	2019
Все приморские регионы РФ	25,58	26,93	27,22	45,19	40,52	34,14	30,14
В том числе:							
Геостратегические территории*	17,13	13,74	14,01	35,08	30,99	29,04	24,93
Регионы, выполняющие функцию опорных баз морской активности**	20,32	20,86	21,07	39,98	34,80	22,63	22,04
Регионы Причерноморья	8,40	5,06	5,29	19,04	15,10	9,33	9,09
Из них:							
Республика Крым и г. Севастополь	1,65	0,63	0,70	11,30	7,97	5,87	5,02
Регионы Балтики	5,67	7,24	7,48	6,60	5,54	4,71	3,82
Из них:							
Калининградская область	0,70	0,55	0,57	1,40	0,67	3,00	1,95
Регионы Тихоокеанской России	2,83	3,81	3,90	4,51	4,08	7,88	5,72
Регионы Арктического бассейна	5,68	9,33	9,10	8,35	8,35	7,85	7,33
Регионы Каспия	3,00	1,49	1,45	6,69	7,45	4,37	4,18
Из них:							
Дагестан	2,14	0,76	0,80	6,05	6,76	3,53	3,28

Источник: составлено авторами по данным Росстата.

Примечание: * согласно Стратегии пространственного развития РФ до 2025 г.; ** по [20].

**Современные приоритеты, возможности
и барьеры федерального регулирования
пространственного развития с учетом «фактора моря»**

Будучи феноменом универсальным, общепланетарным, «фактор моря» в российской ситуации демонстрирует тем не менее и свою выраженную специфику, предопределяемую как общей обширностью береговой линии (около 38 тыс. км, причем 88 % этой протяженности приходится на зоны с неблагоприятными природно-климатическими условиями, требующими особых подходов к селитебному освоению и хозяйствованию), так и множественностью географических (геостратегических) векторов (согласно Морской доктрине — «региональных направлений») морской активности, сочетающихся с массивом дистанцированных от побережий (но зачастую экономически сопряженных с ними) внутриконтинентальных ареалов. Сами приморские территории страны (с прилегающими к ним акваториями) существенно различаются между собой по всей совокупности значимых общественно-географи-

ческих характеристик, требуя тем самым пространственно адаптированных, подчас адресных, учитывающих сложную взаимообусловленность суши и моря регулятивных подходов. При их последующем необходимом генерировании и совершенствовании существенную ценность имеет уже ранее накопленный зарубежный опыт, прежде всего наработки в рамках Европейского союза (в силу как четкой артикулированности разных направлений наднациональной европейской политики, так и хорошо проработанной региональной политики). Основное отличие зарубежного опыта от российского видится именно в гораздо большем внимании собственно пространственным вопросам, в том числе крайне необходимому для нашей страны на современном этапе обеспечению синергии территориально-акваториальных структур и процессов.

Отметим, что собственно морская политика в комплексном ее виде (Integrated Maritime Policy) появилась в ЕС сравнительно недавно — в 2007 г. — с принятием соответствующей директивы ЕС⁵. Первая Морская доктрина в России была утверждена даже раньше — в 2001 г., и она также отличалась комплексностью. Однако, как мы уже отмечали, вопросы социально-экономического развития приморских территорий были подняты только в текущем 2022 г., тогда как в ЕС комплексное управление прибрежной зоной начали обсуждать еще в начале 1990-х⁶.

Прибрежными (приморскими) в ЕС считаются регионы уровня NUTS3, имеющие береговую линию или характеризующиеся проживанием более половины населения на расстоянии менее чем в 50 км от моря⁷. Нельзя сказать, что прибрежным регионам уделяется значимое внимание в рамках региональной политики (или политики сплочения) ЕС (в силу их относительного социально-экономического благополучия), но статистические данные по прибрежным и неприбрежным регионам как особым их типам Евростатом продолжают собираться и обобщаться; в региональных статистических ежегодниках 2011 и 2012 гг. прибрежным регионам посвящены отдельные главы⁸. В России подобного рода практики нет, что является следствием общей проблемности ситуации с качеством муниципальной статистики и отсутствием в результате широкой практики работы федеральных властей с муниципальными образованиями как объектами регулирования пространственного развития [11]. Эти проблемы должны быть преодолены, и повышение эффективности морской политики — безусловный дополнительный аргумент в пользу становления федеральной системы мониторинга муниципального развития.

Еще одна отличительная особенность зарубежного опыта, и не только европейского, — наличие собственно морской политики и появившегося вслед за ней морского пространственного планирования (МПП). Это направление деятельности относительно новое, активно развивающееся последнее десятилетие, в том числе с помощью созданных интернет-платформ ЕС⁹, Европейской комиссии и Межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО¹⁰. Эти организации приняли

⁵ Our Oceans, Seas and Coasts, 2022, European Commission, URL: https://ec.europa.eu/environment/marine/eu-coast-and-marine-policy/index_en.htm (дата обращения: 05.07.2022), а также [17].

⁶ EU Policy on Integrated Coastal Management, 2022, European Commission, URL: <https://ec.europa.eu/environment/iczm/background.htm> (дата обращения: 05.07.2022)

⁷ Maritime policy, 2017, Eurostat, URL: <https://ec.europa.eu/eurostat/web/coastal-island-outermost-regions/background> (дата обращения: 01.06.2022).

⁸ Eurostat Regional Yearbook 2011, 2011, Luxembourg, Publications Office of the European Union, P. 169 — 184; Eurostat Regional Yearbook 2012, Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2012, p. 177 — 192.

⁹ The European Maritime Spatial Planning Platform, 2022, European Commission, URL: <https://maritime-spatial-planning.ec.europa.eu/> (дата обращения: 16.05.2022).

¹⁰ Marine Spatial Planning Global, 2022, URL: <https://www.mspsglobal2030.org/> (дата обращения: 11.06.2022).

в марте 2017 г. совместную дорожную карту для ускорения процессов МПП во всем мире. По их же данным, на середину 2018 г. около 70 государств готовили или подготавливали планы МПП в региональном, национальном или местном масштабе, но страны, регионы или муниципалитеты все еще нуждаются в поддержке для принятия или полного внедрения таких планов. Уже имеется также определенный массив публикаций по теме МПП [22; 23], но и в них подобного рода тематика характеризуется как относительно новая, требующая для своего развития соответствующих кадров [24], не исчерпавшая возможностей интеграции различных форм знаний, секторов, заинтересованных сторон [25].

В России упоминания о МПП появились по меньшей мере около десяти лет назад, причем с указанием на необходимость координации его с территориальным планированием [26]¹¹, однако вплоть до настоящего времени работы по МПП единичны [6]; не внедрено МПП и в практическую деятельность органов публичной власти.

Учитывая «земноводность» приморских муниципальных образований и вмещающих их регионов, первоочередной задачей для Российской Федерации становится как «запуск» системы МПП, так и его «стыковка» с традиционным «территориальным» форматом. Характерно, что и за рубежом формирование подходов к интеграции морского и «наземного» (terrestrial / land / land-based)¹² пространственного планирования является одной из только разрабатываемых тем [27–29], хотя впервые подобная задача упоминалась по меньшей мере больше десятка лет назад [30]. Уже накоплен тем не менее пласт исследований (обзор которых приводится в [31]) по более простой задаче — изучению взаимодействий между сушей и морем в процессе МПП. В этом же ряду можно назвать публикации по приморским промышленным кластерам (их инвентаризация представлена в [32]); особый акцент на них делается, например, в Германии¹³.

В России, к сожалению, подобного рода проблематика пока даже не заявлена. В Стратегии пространственного развития РФ дело ограничилось выделением перспективных экономических специализаций, тогда как гораздо продуктивнее было бы оценить возможности формирования в приморских зонах соответствующих им форматов хозяйственной (морехозяйственной) активности, в том числе приморских кластеров, комплексов, портово-промышленных комплексов и т.п. Основная проблемность ситуации в Российской Федерации заключается в итоге в том, что между морской политикой и политикой пространственного развития нет, условно говоря, промежуточных, скрепляющих их звеньев, сфокусированных на прибрежные территории. Разработка этих направлений в конечном итоге должна вылиться в стыковку морского и наземного пространственного планирования — задачи, которая на сегодняшний день актуальна не только в российском, но и в мировом масштабе.

Заключение

В современном мире роль «фактора моря» в социально-экономическом развитии масштабна, практически тотальна и неоспорима. По праву идентифицируя себя в качестве «великой морской державы»¹⁴, Российская Федерация неизбежно долж-

¹¹ В этой статье речь идет о территориальном планировании в том его понимании, которое заложено в Градостроительном кодексе РФ.

¹² Можно было бы говорить о территориальном пространственном планировании, однако термин «территориальное планирование» уже закреплен в Градостроительном кодексе РФ и имеет иное значение; в данном случае речь идет о том, что в России принято называть стратегическим пространственным планированием, но его можно применить и к МПП.

¹³ Maritime Agenda 2025: The future of Germany as a maritime industry hub. Berlin: The Federal Ministry for Economic Affairs and Energy, 2017. 40 p.

¹⁴ Морская доктрина Российской Федерации

на формировать и совершенствовать свои ориентиры в области пространственного развития, в том числе и с учетом специфики приморских территорий, равно как и примыкающих к ним акваторий, реалий предельно выраженной в российских условиях дихотомии «суша — море». Следуя логике обеспечения все большей взаимосвязки морской политики страны и ее региональной политики, необходимо сочетать «муниципализацию» адресных мер и подходов с общим «встраиванием» морской тематики в систему федерального регулирования пространственного развития. Значимый вклад в решение данной задачи способна внести и активно развивающаяся в последние годы в России социально-экономическая география Мирового океана.

Исследование выполнено при поддержке Программы стратегического академического лидерства Южного федерального университета («Приоритет 2030»).

Список литературы

1. Костинский, Г. Д. 1992, Идея пространственности в географии, *Известия Академии наук СССР. Сер. географическая*, № 6, с. 31—40.
2. Шупер, В. А. 2020, Самоорганизация на переломе траектории социально-экономического развития: вызовы для России, *Известия Российской академии наук. Сер. географическая*, № 1, с. 147—155, <https://doi.org/10.31857/s2587556620010173>.
3. Тренин, Д. 2021, Новый баланс сил: Россия в поисках внешнеполитического равновесия, М., Альпина Паблицер, 471 с.
4. Druzhinin, A. 2019, The sea factor in the spatial and socio-economic dynamics of today's Russia, *Quaestiones Geographicae*, vol. 38, № 2, p. 91—100, <https://doi.org/10.2478/quageo-2019-0017>.
5. Druzhinin, A. G., Lachininskii, S. S. 2021, Russia in the World Ocean: Interests and Lines of Presence, *Regional Research of Russia*, vol. 11, № 3, p. 336—348, <https://doi.org/10.1134/S2079970521030035>.
6. Бакланов, П. Я. 2018, Морское пространственное планирование: теоретические аспекты, *Балтийский регион*, т. 10, № 2, с. 76—85, <https://doi.org/10.5922/2079-8555-2018-2-5>.
7. Михайлов, А. С. 2019, Приморские агломерации в трансформации национально-инновационного пространства, *Балтийский регион*, т. 11, № 1, с. 29—42, <https://doi.org/10.5922/2079-8555-2019-1-3>.
8. Дружинин, А. Г. (ред.). 2017, Трансграничное кластерообразование в приморских зонах Европейской части России: факторы, модели, экономические и экистические эффекты, Ростов-на-Дону, Издательство Южного федерального университета, 421 с.
9. Федоров, Г. М., Кузнецова, Т. Ю., Разумовский, В. М. 2017, Влияние близости моря на развитие экономики и расселения Калининградской области, *Известия Русского географического общества*, т. 149, № 3, с. 15—31.
10. Druzhinin, A. G., Kuznetsova, T. Y., Mikhaylov, A. S. 2020, Coastal zones of modern Russia: delimitation, parametrization, identification of determinants and vectors of Eurasian dynamics, *Geography, Environment, Sustainability*, vol. 13, № 1, p. 37—45, <https://doi.org/10.24057/2071-9388-2019-81>.
11. Кузнецова, О. В. 2019, Стратегия пространственного развития Российской Федерации: иллюзия решений и реальность проблем, *Пространственная экономика*, т. 15, № 4, с. 107—125, <https://doi.org/10.14530/se.2019.4.107-125>.
12. Mahan, A. T. 1890, *The Influence of Sea Power Upon History, 1660—1783*. Little, Brown & Co. Boston, Repr. of 5th ed., Dover Publications, N. Y.
13. Савицкий, П. Н., Флоровский, Г. В., Трубецкой, Н. С. 1921, Исход к Востоку. Предчувствия и свершения. Утверждение евразийцев. *Кн. 1*, София, Балканы, 135 с.
14. Слевич, С. Б. 1988, *Океан: ресурсы и хозяйство*, Ленинград, 315 с.
15. Горшков, С. Г. 1976, *Морская мощь государства*, М., Воениздат, 416 с.
16. Druzhinin, A. G. 2020, Eurasian Vectors of Maritime Economic Activity of Russia, *Geography and Natural Resources*, № 41, p. 99—107, <https://doi.org/10.1134/S1875372820020018>.
17. Вольхин, Д. А. 2016, «Приморский фактор» социально-экономической и демографической динамики Крыма, *Социально-экономическая география. Вестник Ассоциации российских географов-обществоведов*, № 5, с. 154—169.

18. Вардомский, Л. Б. 2019, Северный морской путь как механизм обеспечения связанности Большой Евразии, *Мир перемен*, № 2, с. 129—140.
19. Романенко, А. А. 2005, Морские порты, транспортный флот и судостроение России, *Морехозяйственный комплекс России*, СПб., РГО, с. 24—73.
20. Дружинин, А. Г. 2020, Опорные базы морского порубежья России: экономическая динамика в условиях геополитической турбулентности, *Балтийский регион*, т. 12, № 3, с. 89—104, <https://doi.org/10.5922/2079-8555-2020-3-6>.
21. Колесникова, М. Л. 2017, Морская политика Европейского Союза и ее экономические аспекты, *Современная Европа*, № 4, с. 78—86.
22. Zaucha, J., Gee, K. (eds.). 2019, *Maritime Special Planning: past, present, future*, Switzerland, Palgrave Macmillan, 496 p, <https://doi.org/10.1007/978-3-319-98696-8>.
23. Friess, B., Grémaud-Colombier, M. 2021, Policy outlook: Recent evolutions of maritime spatial planning in the European Union, *Marine Policy*, vol. 132, <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2019.01.017>.
24. Ansong, J., Calado, H., Gilliland, P.M. 2021, A multifaceted approach to building capacity for marine/maritime spatial planning based on European experience, *Marine Policy*, vol. 132, <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2019.01.011>.
25. Weig, B., Schultz-Zehden, A. 2019, Spatial Economic Benefit Analysis: Facing integration challenges in maritime spatial planning, *Ocean and Coastal Management*, vol. 173, p. 65—76, <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2019.02.012>.
26. Мякиненков, В. М. 2013, Основные подходы к формированию инструментария и методические особенности морского пространственного планирования, *Балтийский регион*, № 1, с. 99—115, <https://doi.org/10.5922/2074-9848-2013-1-7>.
27. Georgios, T., Nikolaos, R. 2017, Maritime spatial planning and spatial planning: Synergy issues and incompatibilities. Evidence from Crete island, Greece, *Ocean & Coastal Management*, vol. 139, p. 33—41, <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2017.02.001>.
28. Panagou, N., Kokkali, A., Stratigea, A. 2018, Towards an integrated participatory marine/coastal and territorial spatial planning approach at the local level — planning tools and issues raised, *Regional Science Inquiry*, vol. 10, № 3, p. 87—111.
29. Howells, M., Ramírez-Monsalve, P. 2022, Maritime Spatial Planning on Land? Planning for Land-Sea Interaction Conflicts in the Danish Context, *Planning Practice & Research*, vol. 37, № 2, p. 152—172, <https://doi.org/10.1080/02697459.2021.1991656>.
30. Smith, H.D., Maes, F., Stojanovic, T.A., Ballinger, R.C. 2011, The integration of land and marine spatial planning, *Journal of Coastal Conservation*, vol. 15, № 2, p. 291—303, <https://doi.org/10.1007/s11852-010-0098-z>.
31. Kidd, S., Shaw, D., Janssen, H. 2019, Exploring land-sea interactions: insights for shaping territorial space, *Europa XXI*, vol. 36, p. 45—58, <https://doi.org/10.7163/Eu21.2019.36.5>.
32. Li, M., Luo, M. 2021, Review of existing studies on maritime clusters, *Maritime Policy & Management*, vol. 48, № 6, p. 795—810, <https://doi.org/10.1080/03088839.2020.1802786>.

Об авторах

Александр Георгиевич Дружинин, доктор географических наук, профессор, директор Северо-Кавказского НИИ экономических и социальных проблем, Южный федеральный университет, Россия; главный научный сотрудник, Институт географии РАН, Россия.

E-mail: alexdru9@mail.ru

<https://orcid.org/0000-0002-1642-6335>

Ольга Владимировна Кузнецова, доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник, ФИЦ «Информатика и управление» РАН, Россия; профессор, Финансовый университет при Правительстве РФ, Россия.

E-mail: kouznetsova_olga@mail.ru

<https://orcid.org/0000-0003-4341-0934>



THE SEA FACTOR IN THE FEDERAL REGULATION OF RUSSIA'S SPATIAL DEVELOPMENT: POST-SOVIET EXPERIENCE AND CURRENT PRIORITIES

A. G. Druzhinin^{1, 2} 

O. V. Kuznetsova^{3, 4} 

¹Southern Federal University
105/42 Bolshaya Sadovaya St., Rostov-on-Don, 344006, Russia

²Institute of Geography of the Russian Academy of Sciences
29 Staromonentny pereulok, Moscow, 119017, Russia

³Federal Research Center "Computer Science and Control"
of the Russian Academy of Sciences
44/2 Vavilova St., Moscow, 119333, Russia

⁴Financial University under the Government of the Russian Federation
49 Leningradsky Prospekt, Moscow, 125993, Russia

Received 14.08.2022

doi: 10.5922/2079-8555-2022-4-1

© Druzhinin, A. G., Kuznetsova, O. V.,
2022

Current geoeconomic and geopolitical transformations project on Russian society and its spatial organisation, highlighting the problems of spatial socioeconomic development and its governmental regulation. This article examines the theoretical and applied aspects of the incorporation into the national regional policy of the sea factor, understood as a combination of location and resources, which is determined by a country's jurisdiction over coasts and waters, its maritime activities and coastalisation potential, including the economic, settlement-related and psychological elements of the latter. The article describes the key influences of the sea factor on the spatial development of post-Soviet Russia. The steadily growing impact of maritime activities on the spatial-economic and settlement dynamics has been given a new impetus by the rising geostrategic, resource and transport-logistic significance of the World Ocean, as well as its water and water-land substructures, amid increasing military-strategic confrontation and geoeconomic regionalisation. The article presents a retrospective analysis of the role of the sea factor in Russia's regional policy and identifies its stages. The authors emphasise the need for a synergy between maritime and spatial policies and proposes ways of achieving it.

Keywords:

spatial development, federal regulation, coastal regions, coastal municipalities, marine economy, Russia

References

1. Kostinskiy, G.D. 1992, The idea of spatiality in geography, *Izvestiya Rossiyskoy akademii nauk. Seriya geograficheskaya*, № 6, p. 31–40 (in Russ.).
2. Shuper, V.A. 2020, Self-organization at the trajectory turning point: challenges for Russia, *Izvestiya Rossiiskoi Akademii Nauk. Seriya Geograficheskaya*, № 1, p. 147–155, <https://doi.org/10.31857/S2587556620010173> (in Russ.).
3. Trenin, D. 2021, Novyy balans sil: Rossiya v poiskakh vneshnepoliticheskogo ravnovesiya [A new balance of power: Russia in search of a foreign policy balance], M., 471 p. (in Russ.).
4. Druzhinin, A. 2019, The sea factor in the spatial and socio-economic dynamics of today's Russia, *Quaestiones Geographicae*, vol. 38, № 2, p. 91–100, <https://doi.org/10.2478/qua-geo-2019-0017>.

5. Druzhinin, A. G., Lachininskii, S. S. 2021, Russia in the World Ocean: Interests and Lines of Presence, *Regional Research of Russia*, vol. 11, № 3, p. 336—348, <https://doi.org/10.1134/S2079970521030035>.
6. Baklanov, P. Ya. 2018, Marine spatial planning: Theoretical aspects, *Baltic Region*, vol. 10, № 2, p. 76—85, <https://doi.org/10.5922/2079-8555-2018-2-5>.
7. Mikhaylov, A. S. 2019, Coastal agglomerations and the transformation of national innovation spaces, *Baltic Region*, vol. 11, № 1, p. 29—42, <https://doi.org/10.5922/2079-8555-2019-1-3>.
8. Druzhinin, A. G. (ed.). 2017, *Transgranichnoe klasteroobrazovanie v primorskikh zonakh Evropeyskoy chasti Rossii: faktory, modeli, ekonomicheskie i ekisticheskie efekty* [Cross-border cluster formation in the coastal zones of the European part of Russia: factors, models, economic and economic effects], Rostov-on-Don, 421 p. (in Russ.).
9. Fedorov, G. M., Kuznetsova, T. Yu., Razumovskiy, V. M. 2017, The effect of the sea on the economic development and settlement structure in the Kaliningrad Region, *Proceedings of the Russian Geographical Society*, vol. 149, № 3, p. 15—31 (in Russ.).
10. Druzhinin, A. G., Kuznetsova, T. Y., Mikhaylov, A. S. 2020, Coastal zones of modern Russia: delimitation, parametrization, identification of determinants and vectors of Eurasian dynamics, *Geography, Environment, Sustainability*, vol. 13, № 1, p. 37—45, <https://doi.org/10.24057/2071-9388-2019-81>.
11. Kuznetsova, O. V. 2019, Problems of elaboration of spatial development strategy of the Russian Federation, *Spatial Economics*, vol. 15, № 4, p. 107—125, <https://doi.org/10.14530/se.2019.4.107-125> (in Russ.).
12. Mahan, A. T. 1890, *The Influence of Sea Power Upon History, 1660—1783*. Little, Brown & Co. Boston, Repr. of 5th ed., Dover Publications, N. Y.
13. Savitskiy, P. N. et al. 1921, *Iskhod k Vostoku. Predchuvstviya i sversheniya. Utverzhdenie evraziytsev*. [Exodus to the East. Premonitions and accomplishments. Approval of the Eurasians]. Book 1, Sofia, 135 p. (in Russ.).
14. Slevich, S. B. 1988, *Okean: resursy i khozyaystvo* [Ocean: resources and economy], Leningrad, 315 p. (in Russ.).
15. Gorshkov, S. G. 1976, *Morskaja moshh' gosudarstva* [The sea power of the state], M., 416 p. (in Russ.).
16. Druzhinin, A. G. 2020, Eurasian Vectors of Maritime Economic Activity of Russia, *Geography and Natural Resources*, № 41, p. 99—107, <https://doi.org/10.1134/S1875372820020018>.
17. Volkhin, D. A. 2016, «Seaside factor» of socio-economic and demographic dynamics of the Crimea, *Sotsial'no-ekonomicheskaya geografiya. Vestnik Assotsiatsii Rossiyskikh geografov-obshchestvovedov*, № 5, p. 154—169 (in Russ.).
18. Vardomskiy, L. B. 2019, The Northern Sea Route as a mechanism for ensuring the connectivity of Greater Eurasia, *Mir peremen*, № 2, p. 129—140 (in Russ.).
19. Romanenko, A. A. 2005, Seaports, transport fleet and shipbuilding of Russia, *Morekhozoyaystvennyy kompleks Rossii* [Marine economic complex of Russia], St. Peterburg, p. 24—73 (in Russ.).
20. Druzhinin, A. G. 2020, The strongholds of Russian coastal borderlands: economic dynamics amid geopolitical turbulence, *Baltic Region*, vol. 12, № 3, p. 89—104, <https://doi.org/10.5922/2079-8555-2020-3-6>.
21. Kolesnikova, M. L. 2017, The maritime policy of the European Union and its economic aspects, *Sovremennaya Evropa*, № 4, p. 78—86 (in Russ.).
22. Zaucha, J., Gee, K. (eds.). 2019, *Maritime Special Planning: past, present, future*, Switzerland: Palgrave Macmillan, 496 p., <https://doi.org/10.1007/978-3-319-98696-8>.
23. Friess, B., Grémaud-Colombier, M. 2021, Policy outlook: Recent evolutions of maritime spatial planning in the European Union, *Marine Policy*, vol. 132, <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2019.01.017>.
24. Ansong, J., Calado, H., Gilliland, P. M. 2021, A multifaceted approach to building capacity for marine/maritime spatial planning based on European experience, *Marine Policy*, vol. 132, <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2019.01.011>.
25. Weig, B., Schultz-Zehden, A. 2019, Spatial Economic Benefit Analysis: Facing integration challenges in maritime spatial planning, *Ocean and Coastal Management*, vol. 173, p. 65—76, <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2019.02.012>.

26. Myakinenkov, V. 2013, Key strategies of development of research tools and methods for marine spatial planning, *Baltic Region*, № 1, p. 99—115, <https://doi.org/10.5922/2074-9848-2013-1-7> (in Russ.).

27. Georgios, T., Nikolaos, R. 2017, Maritime spatial planning and spatial planning: Synergy issues and incompatibilities. Evidence from Crete island, Greece, *Ocean & Coastal Management*, vol. 139, p. 33—41, <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2017.02.001>.

28. Panagou, N., Kokkali, A., Stratigea, A. 2018, Towards an integrated participatory marine/coastal and territorial spatial planning approach at the local level — planning tools and issues raised, *Regional Science Inquiry*, vol. 10, № 3, p. 87—111.

29. Howells, M., Ramírez-Monsalve, P. 2022, Maritime Spatial Planning on Land? Planning for Land-Sea Interaction Conflicts in the Danish Context, *Planning Practice & Research*, vol. 37, № 2, p. 152—172, <https://doi.org/10.1080/02697459.2021.1991656>.

30. Smith, H. D., Maes, F., Stojanovic, T. A., Ballinger, R. C. 2011, The integration of land and marine spatial planning, *Journal of Coastal Conservation*, vol. 15, № 2, p. 291—303, <https://doi.org/10.1007/s11852-010-0098-z>.

31. Kidd, S., Shaw, D., Janssen, H. 2019, Exploring land-sea interactions: insights for shaping territorial space, *Europa XXI*, vol. 36, p. 45—58, <https://doi.org/10.7163/Eu21.2019.36.5>.

32. Li, M., Luo, M. 2021, Review of existing studies on maritime clusters, *Maritime Policy & Management*, vol. 48, № 6, p. 795—810, <https://doi.org/10.1080/03088839.2020.1802786>.

The authors

Prof. Alexander G. Druzhinin, Director, North Caucasus Institute for Economic and Social Research, Southern Federal University, Russia; Leading Research Fellow, Institute of Geography Russian Academy of Sciences, Russia.

E-mail: alexdru9@mail.ru

<https://orcid.org/0000-0002-1642-6335>

Prof. Olga V. Kuznetsova, Chief Research Fellow, Federal Research Center "Computer Science and Control" of the Russian Academy of Sciences, Russia; Financial University under the Government of the Russian Federation, Russia.

E-mail: kouznetsova_olga@mail.ru

<https://orcid.org/0000-0003-4341-0934>



SUBMITTED FOR POSSIBLE OPEN ACCESS PUBLICATION UNDER THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION (CC BY) LICENSE ([HTTP://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BY/4.0/](http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/))

ЭКОНОМИКА РЕГИОНОВ РОССИИ НА БАЛТИКЕ: УРОВЕНЬ И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ, СТРУКТУРА, ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ПАРТНЕРСТВА

Г. М. Федоров 

Балтийский федеральный университет им. И. Канта,
236016, Россия, Калининград, ул. А. Невского, 14

Поступила в редакцию 15.07.2022 г.
doi: 10.5922/2079-8555-2022-4-2
© Федоров Г. М., 2022

Заявленная тема актуальна в связи проблемами, возникшими в формировании Балтийского макрорегиона с участием восьми стран ЕС (Германии, Польши, Швеции, Дании, Финляндии, Литвы, Латвии и Эстонии) и России в условиях происходящих геополитических и геоэкономических изменений. Целью является оценка уровня, структуры и темпов экономического развития трех российских регионов, расположенных на Балтике (Санкт-Петербурга, Ленинградской и Калининградской областей), и, в динамике, их торговых связей с зарубежными странами макрорегиона. Отмечены более высокие темпы развития балтийских регионов РФ по сравнению со средним по стране, выявлены возникающие в ходе развития сложности в результате действия негативных внешних факторов и намечены возможные пути их преодоления за счет совершенствования отраслевой структуры экономики и диверсификации международных связей. Предложено углубление межрегиональной кооперации и формирование пространственно распределенной территориальной социально-экономической системы, включающей все три рассматриваемых балтийских региона. Временной ряд статьи охватывает 1996—2021 гг., с особым вниманием к периоду 2014—2021 гг. Исследование основано на экономико-статистическом анализе официальных статистических данных Росстата и Федеральной таможенной службы об отраслевой структуре и динамике валового регионального продукта (ВРП), объемах и изменениях внешнеторговых связей, их товарной и географической структуре.

Ключевые слова:

Балтийский макрорегион, Россия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Калининградская область, экономический потенциал, внешнеторговый оборот, экономическое развитие

Введение

К балтийским регионам России мы относим субъекты РФ, расположенные на побережье Балтийского моря. Это город федерального значения Санкт-Петербург, Ленинградская и Калининградская области. Их развитие тесно связано с «морскими» видами экономической деятельности: морским транспортом, рыболовством и рыбообработкой; приморским туризмом и рекреацией; судостроением, а также другими видами обрабатывающих производств, использующими перевозимые судами сырье и полуфабрикаты для промышленности региона и/или вывозящими готовую продукцию. Все эти функции выполнялись тремя рассматриваемыми регионами и в советский период.

Для цитирования: Федоров Г. М. Экономика регионов России на Балтике: уровень и динамика развития, структура, внешнеторговые партнерства // Балтийский регион. 2022. Т. 14, № 4. С. 20–38.
doi: 10.5922/2079-8555-2022-4-2.

После распада СССР снизилось значение рыбопромышленного комплекса, но возросла роль остальных «морских» отраслей. Уменьшилось экономическое взаимодействие с бывшими союзными республиками Прибалтики, но важную роль стали играть экономические связи с другими странами Балтийского макрорегиона (иначе — Региона Балтийского моря): Германией, Польшей, Швецией, Данией, Финляндией). Их развитию, возможностям и перспективам формирования на Балтике макрорегиона как единого социально-экономического целого посвящен целый ряд публикаций российских и зарубежных авторов [1—14].

Однако в последующем все чаще стали появляться публикации о конфликтогенности региона в связи с ухудшением российско-западноевропейских отношений. В связи с санкционной политикой стран Запада в отношении России товарооборот ее балтийских регионов с зарубежными странами макрорегиона стал сокращаться, значение взаимных связей снижаться, а сотрудничество свертываться. И российские, и зарубежные публикации о формировании единого Балтийского макрорегиона стали менее оптимистичными [15—26].

Среди публикаций российских исследователей стало отмечаться менее позитивное, чем раньше, отношение западных партнеров к упрочению взаимных отношений [16; 17; 22; 23], в том числе в «Стратегии ЕС для региона Балтийского моря» [15; 24]; в оценках ситуации появляется термин «прохладная война» [18].

Зарубежные авторы стали обращать особое внимание на проблемы безопасности в связи со взаимоотношениями России с другими расположенными здесь странами [19—21; 25] и даже утверждать о потенциальной конфликтогенности ситуации в связи с эксклавностью Калининградской области [26].

Цель данного исследования — оценка уровня, структуры и динамики развития экономики трех балтийских субъектов РФ, их внешнеэкономических связей, происшедших в 1990—2021 гг. изменений и возможных путей решения проблем, возникающих из-за изменения внешних факторов.

Методология исследования

Выполненное исследование охватывает период 1996—2021 гг., с особым вниманием к 2014—2021 гг., и основывается на официальных статистических данных Росстата и Федеральной таможенной службы России, которые обработаны с помощью известных статистических методов (комбинационных и типологических группировок, графоаналитического метода, кластерного и корреляционного анализа). Учтены оценки перспективных направлений экономического взаимодействия России с другими странами Балтийского региона, сделанные ранее российскими и зарубежными экспертами, а также прежние исследования автора.

Уровень и темпы развития экономики

Балтийские субъекты РФ занимают видное место в Российской Федерации (табл. 1). Благодаря, с одной стороны, своему приморскому и приграничному географическому положению и — с другой — активному вхождению России в мировую экономику эти регионы становятся «международными коридорами развития» [27]. Они обеспечивают значительную часть российских внешнеэкономических связей, а их экономика включается в международные цепочки создания добавленной стоимости. Это способствует их опережающему социально-экономическому развитию по сравнению с большинством регионов страны. Высокий миграционный прирост обеспечивает увеличение численности населения. Среднегодовой коэффициент миграционного прироста за 2014—2020 гг. в расчете на 10 000 чел. населения в среднем по Российской Федерации составил 15 чел., в Санкт-Петербурге — 63, в

Ленинградской области — 156, в Калининградской области — 96 чел.¹. Численность населения балтийских регионов РФ за период с конца 2014 г. по 1 октября 2021 г. (дата Всероссийской переписи) увеличилась соответственно на 8, 13 и 6 %².

Таблица 1

Общие показатели балтийских субъектов РФ

Показатель	Санкт-Петербург	Ленинградская область	Калининградская область
Территория, тыс. км ²	1,4	83,9	15,1
Население, тыс. чел. (на 01.10.2021)	5602	2001	1030
Удельный вес регионов в РФ, %:			
в площади территории	0,008	0,490	0,088
в численности населения, 01.10.2021	3,81	1,36	0,70
в суммарном ВРП субъектов РФ, 2019	5,40	1,29	0,55
во внешнеторговом обороте, 2020	7,52	1,58	1,50

Составлено на основе данных: Предварительные итоги Всероссийской переписи населения 2021 года (на дату переписи 01.10.2021), *RG.RU*, URL: <https://rg.ru/2022/05/30/predvaritelnye-itogi-vserossijskoj-perepisi-naseleniia.html> (дата обращения: 01.06.2022); Регионы России. Социально-экономические показатели. 2021, 2021, М., Росстат, 1112 с.

По экономико-географическим условиям развития среди трех регионов выделяется Калининградская область. Ее эксклавное положение, территориальная обособленность от других регионов России делают ее экономику особенно чувствительной к внешним воздействиям, при неблагоприятных внешних условиях ее развитие замедляется, а в более благоприятные годы темпы роста становятся выше среднероссийских [17].

В кризисные для России 1990-е гг. спад ВРП в Калининградской области среди трех рассматриваемых регионов был наиболее глубоким. Душевой ВРП в 1997 г. опустился до уровня 57% от среднего по РФ (рис. 1), а промышленное производство составило в 1999 г. только 17% от уровня 1991 г. (в РФ — 52,5%, в Санкт-Петербурге — 25%, в Ленинградской области — 59%³). Но за 1997 — 2020 гг. душевой ВРП в Калининградской области увеличился больше, чем в двух других регионах, хотя и оказался несколько ниже среднего по РФ, тогда как в Ленинградской области он стал на 3%, а в Санкт-Петербурге на 52% выше среднероссийского уровня. Если в 2000 г. Санкт-Петербург занимал 19-е место среди субъектов РФ по ВРП на душу населения, Ленинградская область — 28-е место, а Калининградская — 45-е место, то в 2020 г. их места были следующими: 10, 17, 29-е. При этом первые 9 мест занимали Москва (7-е место) и 8 северных регионов, экономика которых базируется на добыче сырья.

¹ Рассчитано по данным: Коэффициент миграционного прироста (на 10 тыс. человек), 2022, *ЕМИСС*, URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/43017> (дата обращения: 11.05.2022).

² Рассчитано по данным: Предварительные итоги Всероссийской переписи населения 2021 года (на дату переписи 01.10.2021), *RG.RU*, URL: <https://rg.ru/2022/05/30/predvaritelnye-itogi-vserossijskoj-perepisi-naseleniia.html> (дата обращения: 01.06.2022); Регионы России. Социально-экономические показатели. 2021, 2021, М., Росстат, 1112 с.

³ Рассчитано на основе цепных среднегодовых индексов по данным: Индекс промышленного производства, 2022, *ЕМИСС*, URL: <https://fedstat.ru/indicator/43045> (дата обращения: 11.07.2022).

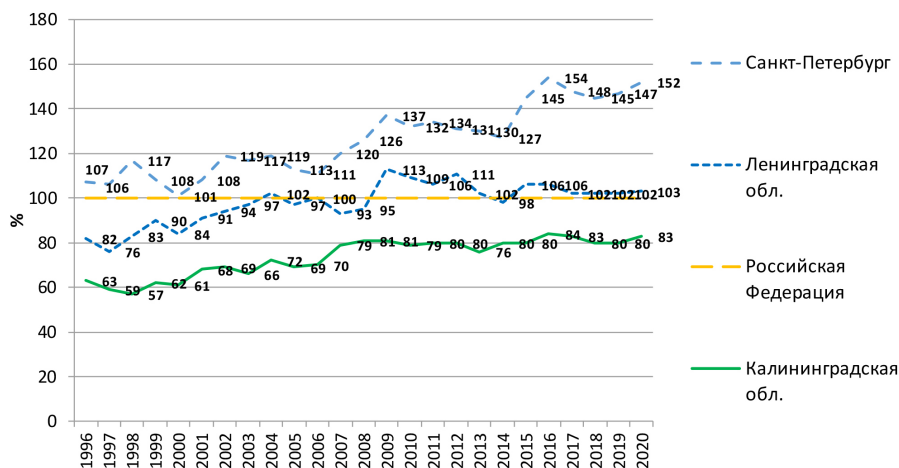


Рис. 1. ВРП на душу населения балтийских регионов РФ, % от среднего по стране уровня (РФ = 100%) в 1996—2020 гг.

Составлено на основе данных: Валовой региональный продукт на душу населения, 2022, ЕМИСС, URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/42928> (дата обращения: 01.06.2022).

Структура экономики

По укрупненной отраслевой структуре экономики наиболее близка к средним по России показателям Калининградская область: здесь немного меньше доля производства товаров и больше — рыночных услуг⁴ (рис. 2, табл. 2).

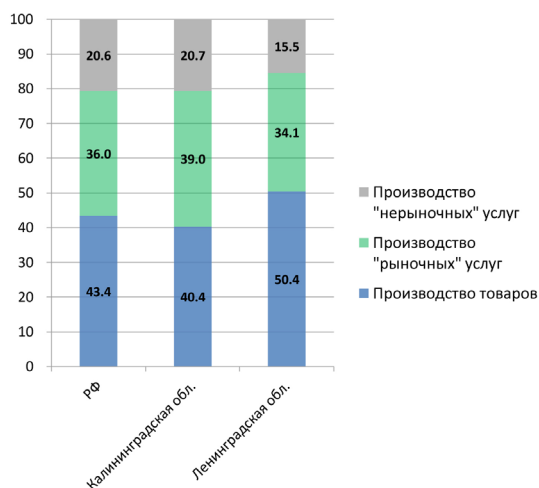


Рис. 2. Укрупненная структура ВРП РФ и ее балтийских регионов, %, 2019 г.

Составлено на основе данных: Валовой региональный продукт в основных ценах (ОКВЭД 2), 2022, ЕМИСС, URL: <https://fedstat.ru/indicator/59448> (дата обращения: 11.06.2022).

⁴ Условное отнесение видов экономической деятельности к производству товаров, «рыночных» и «нерыночных» услуг отражает таблица 1.

Таблица 2

**Условное отнесение видов экономической деятельности
к производству товаров, рыночных и нерыночных услуг**

Код	Вид экономической деятельности
<i>Производство товаров</i>	
A	Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
B	Добыча полезных ископаемых
C	Обрабатывающие производства
D	Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
E	Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
F	Строительство
<i>Производство рыночных услуг</i>	
G	Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
H	Транспортировка и хранение
I	Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
J	Деятельность в области информации и связи
K	Деятельность финансовая и страховая
L	Деятельность по операциям с недвижимым имуществом
<i>Производство нерыночных услуг</i>	
M	Деятельность профессиональная и научно-техническая
N	Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги
O	Государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение
P	Образование
Q	Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
R	Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений
S	Предоставление прочих видов услуг

В Ленинградской области выше доля производства товаров, ниже — услуг, особенно нерыночных. Наиболее отличается от средних показателей Санкт-Петербург, где меньше роль производства товаров и больше — услуг, как рыночных, так и нерыночных.

Санкт-Петербург, в котором размещены и городские, и областные властные структуры, образует единую территориальную систему с Ленинградской областью. Многие ее жители совершают маятниковые трудовые, культурно-бытовые и образовательные поездки во второй по численности населения и социально-экономическому потенциалу город страны, социальная инфраструктура которого обслуживает и прилегающую часть Ленинградской области.

Санкт-Петербург по всем видам деятельности, относящимся к производству товаров (включая обрабатывающие производства), имеет в структуре ВРП более низкий удельный вес по сравнению со средними по РФ показателями (рис. 3). Причем поскольку вся территория относится к городской, крайне незначительна доля сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых. В то же время нельзя говорить о невысокой индустриальной развитости города, ведь все укрупненные промышленные производства, кроме добычи полезных ископаемых, то есть имеющие коды C, D, E (табл. 2), имеют среднестатистические объемы производства, значительно превышающие средние по стране.

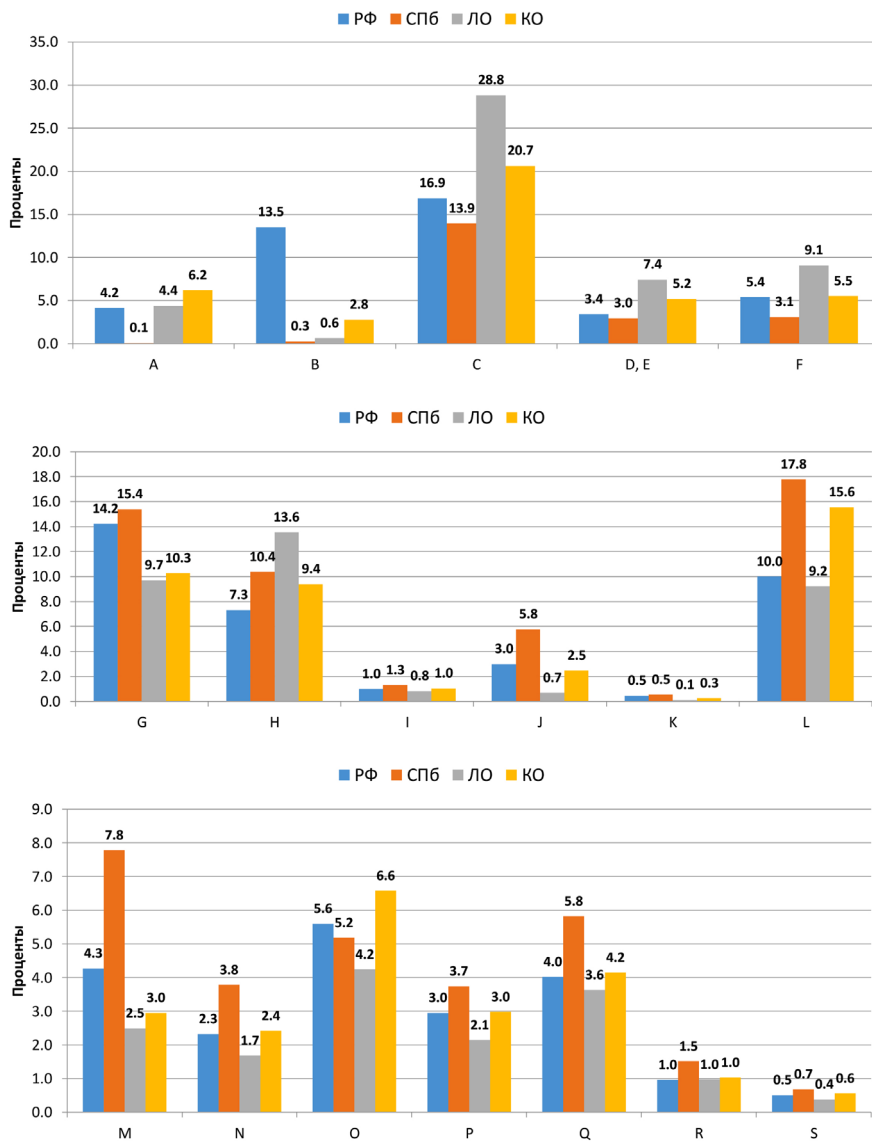


Рис. 3. Удельный вес в структуре ВРП видов экономической деятельности

Примечание: см. коды в таблице 2; СПБ — Санкт-Петербург; ЛО — Ленинградская область; КО — Калининградская область, 2019 г., %.

Составлено на основе данных: Валовый региональный продукт в основных ценах (ОКВЭД 2), 2022, ЕМИСС, URL: <https://fedstat.ru/indicator/59448> (дата обращения: 11.06.2022).

В Ленинградской и Калининградской областях, наоборот, везде (кроме добычи полезных ископаемых) удельный вес производства товаров выше среднероссийского. Особенно высок он у обрабатывающих производств, занимающих первое место среди всех видов экономической деятельности (28,8% в Ленинградской области и 20,7% в Калининградской против 16,9% в среднем по РФ). Выше средних по РФ и душевые показатели производства продукции по тем же трем укрупненным про-

мышленным группам, что и в Санкт-Петербурге, а обрабатывающая промышленность Ленинградской области превосходит среднероссийский уровень в 1,75 раза (2019)⁵.

В Ленинградской области близость Санкт-Петербурга, высокая урбанизированность и хозяйственная освоенность Калининградской области обеспечивают повышенный технологический уровень сельского хозяйства этих относящихся к Нечерноземной зоне регионов и объясняют более высокую долю в ВРП аграрного сектора по сравнению со средним по РФ уровнем.

По удельному весу в ВРП всех видов экономической деятельности, отнесенных нами к производству рыночных услуг, Санкт-Петербург превосходит средние по РФ показатели, а по сравнению с двумя другими рассматриваемыми субъектами РФ у него ниже только показатель транспортировки и хранения в Ленинградской области. Намного выше среднего и душевые показатели производства рыночных услуг (в 1,5—3 раза, в зависимости от вида деятельности). В обеих областях выше среднего эти показатели только в транспортировке и хранении (причем в Ленинградской области они не намного ниже, чем в Санкт-Петербурге, а в Калининградской области — существенно ниже, почти на среднем по РФ уровне). Повышенные показатели объясняются прежде всего значительным вкладом в объем грузооборота развитого во всех трех регионах морского транспорта, обслуживающего экспортно-импортные перевозки. В Калининградской области также выше среднего (но вдвое ниже, чем в Санкт-Петербурге) душевой уровень производства услуг в деятельности по операциям с недвижимым имуществом.

Санкт-Петербург выделяется высоким уровнем развития социальной сферы. Удельный вес видов деятельности по производству нерыночных услуг ниже среднего по стране уровня только в государственном управлении, а производство услуг в расчете на душу населения выше во всех видах экономической деятельности. Особенно высоким показателем выделяется деятельность профессиональная и научно-техническая — Санкт-Петербург является одним из крупнейших центров научных исследований, технических и технологических разработок в России.

В Ленинградской области, наоборот, и в структуре ВРП, и в душевом производстве все виды экономической деятельности сферы нерыночных услуг, кроме культуры, имеют пониженные показатели по сравнению со средним по РФ уровнем. Культура выделяется в связи с большим количеством историко-культурных объектов в пригородах Санкт-Петербурга.

В Калининградской области среди нерыночных услуг только удельный вес профессиональной и научно-технической деятельности в структуре ВРП существенно ниже, чем в среднем по РФ, но душевое производство ниже во всех видах экономической деятельности.

Отдельно остановимся на структуре обрабатывающих производств, где балтийские субъекты выделяются среди регионов России не только по удельному весу в структуре ВРП, но и по доле занятых в экономике и по объемам душевого производства. Отраслевой состав обрабатывающей промышленности всех трех регионов имеет значительное сходство, отражая такие общие факторы их развития, как приморское экономико-географическое положение и высокий уровень освоенности территории.

Прежде всего отметим большую роль машиностроения — производства металлических изделий, машин и оборудования, приборов, транспортных средств. В машиностроительных производствах работает 6,4% всех занятых в экономике

⁵ Расчеты автора на основе данных: Валовый региональный продукт в основных ценах (ОКВЭД 2), 2022, *ЕМИСС*, URL: <https://fedstat.ru/indicator/59448> (дата обращения: 19.06.2022); Регионы России. Социально-экономические показатели. 2021, 2021, М., Росстат, 1112 с.

Санкт-Петербурга и 5 % — Ленинградской области. Ниже среднего по РФ (4,6 %) этот показатель только в Калининградской области — 3,9 %, в которой, однако, как и в двух других регионах, выше среднероссийского уровень занятости в производстве транспортных средств (автомобилей и судов)⁶.

Второе место по доле в численности занятых занимает пищевая промышленность, работающая в значительной мере (в особенности в Калининградской области) на сырье, поступающем из-за рубежа морским транспортом. На производство пищевых продуктов и напитков в Санкт-Петербурге приходится 2,0 % занятых, в Ленинградской области — 2,4 %, в Калининградской области — 4,4 % (в РФ — 2,7 %).

На третьем месте — производства, входящие в состав лесопромышленного комплекса (бумажная, мебельная промышленность и др.), использующие в качестве сырья преимущественно древесину. Их удельный вес составляет 1,3 % занятых в Санкт-Петербурге, 2,9 % в Ленинградской области, 2,0 % в Калининградской области (в РФ — 1,5 %).

Четвертое место занимает легкая промышленность (производство текстильных изделий, одежды, кожи и изделий из кожи). В Санкт-Петербурге в ней занято 1,0 % работников, в Ленинградской области — 1,8 %, в Калининградской области (как и в среднем по РФ) — 0,8 %.

На остальные обрабатывающие производства приходится 3,6 % занятых в экономике Санкт-Петербурга, 5,3 % — Ленинградской области, 3,3 % — Калининградской области (в РФ — 4,4 %).

Обрабатывающие производства трех регионов в своем развитии наиболее зависят от внешних факторов. Несмотря на рестрикционное давление стран Запада, в 2014—2021 гг. в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, как и в стране в целом, удалось обеспечить рост производства. В испытывавшей наибольшее внешнее воздействие Калининградской области в целом в промышленности сократилось только на 4 % и на 3 % — в обрабатывающих производствах.

Ситуация стал менее благоприятной в 2022 г.: начиная с марта, показатели динамики производства в балтийских субъектах РФ стали сокращаться. За январь — июль 2022 г. по сравнению с тем же периодом 2021 г. небольшой рост наблюдался только в Санкт-Петербурге (как и в РФ в целом). В Ленинградской области промышленное производство сократилось незначительно, на 0,2 %, а в обрабатывающих отраслях — на 1,1 %⁷. В Калининградской области спад производства оказался намного глубже: соответственно 15,7 и 18 %⁸: на функционировании ее импортозамещающих обрабатывающих производств сказалось сокращение поставок из-за рубежа сырья и полуфабрикатов.

Особенно большие сложности возникли у автосборочных производств, осуществляющих сборку узлов, произведенных за рубежом, с крайне небольшой добавленной стоимостью, создаваемой на отечественных предприятиях. В 2021 г. в Санкт-Петербурге производство автотранспортных средств составило 93 % от уровня 2014 г., в Ленинградской области — 58 %, а за 7 месяцев 2022 г. было произведено продукции соответственно только 15 и 31 % по сравнению с аналогичным периодом 2021 г.

⁶ Среднегодовая численность занятых в экономике с 2017 г., 2022, ЕМИСС, URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/58994> (дата обращения: 22.06.2022).

⁷ Здесь и далее рассчитано на основе данных: Индекс производства (оперативные данные) (ОКВЭД2), URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/57806> (дата обращения 9.09.2022).

⁸ В РФ в целом (благодаря тому, что часть производства составляет выпуск отечественных автомобилей) в 2021 г. производство автотранспортных средств составило 83 % от уровня 2014 г. За 7 месяцев 2022 г. — 53 % по сравнению с тем же периодом 2021 г.

В Калининградской области за 2015—2021 гг. производство автотранспортных средств увеличилось на 20 %, но за 7 месяцев 2022 г. сократилось до 42 % от уровня 7 месяцев 2021 г.

Возможны несколько путей решения проблем, возникших перед автомобилестроением балтийских регионов. Первый из них — переход на поставки комплектующих из государств, не участвующих в рестрикциях стран Запада в отношении России. Второй путь — участие в развитии электротранспорта в соответствии с утвержденной Правительством РФ в 2021 г. Концепцией⁹. Третье направление — включение сборочных предприятий в цепочки создания добавленной стоимости, обеспечивающие выпуск отечественных образцов автотранспорта.

За период с 2014 г. по июль 2022 г. во всех трех регионах произошло сокращение производства мебели, целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона. Здесь речь должна идти о переориентации экспорта древесины (которая включена в «рестрикционные» списки товаров) на ее переработку отечественными предприятиями, мощности которых должны увеличиваться (заметим, что в советский период в Калининградской области, например, успешно работали четыре закрытых сейчас целлюлозно-бумажных комбината и бумажная фабрика).

В то же время во всех трех регионах увеличилось производство химических веществ и химических продуктов, резиновых и пластмассовых изделий, прочей неметаллической минеральной продукции и др.

В ряде отраслей в зависимости от региона может происходить как сокращение, так и рост или стабилизация производства. Так, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области к июлю 2022 г. по сравнению с 2014 г. возрос (а в Калининградской области остался на прежнем уровне) выпуск пищевой продукции. Однако в молочной промышленности и переработке фруктов и овощей в Калининградской области, в мясной и рыбной промышленности Санкт-Петербурга имеет место сокращение производства. В подобных случаях чаще всего речь идет о снижении импорта сырья, и требуется реализация мер для роста собственного производства соответствующей продукции в сельском хозяйстве (или налаживания поставок из других российских регионов, а также из стран, не относящихся к числу участвующих в рестрикциях в отношении России).

Происходящие сдвиги во внешнеэкономических связях и реструктуризация отраслевой структуры производства должны решить задачи развития экономики в изменившихся и продолжающихся меняться внешних условиях. Определенное сходство структуры экономики трех регионов обуславливает использование в решении новых задач возможности тесной кооперации Калининградской области с Санкт-Петербургом и Ленинградской областью. На необходимость такой кооперации и превращения Калининграда в аванпорт Санкт-Петербурга как фактора развития российского эксклава указывал еще в начале «нулевых» годов известный калининградский экономист В. В. Ивченко [28].

Перспективным направлением представляется формирование цепочек создания добавленной стоимости с участием хозяйствующих субъектов трех регионов, а также создание распределенных отраслевых и межотраслевых кластеров обрабатывающих производств (в судостроении, автомобилестроении, приборостроении, мебельной и рыбной промышленности), в туристско-рекреационном комплексе (включая организацию туристических рейсов с заходом в Санкт-Петербург и Калининград), морском и авиационном транспорте.

⁹ Концепция по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года : распоряжение Правительства РФ от 23 августа 2021 г. № 2290-р, 2021, *Правительство России*, URL: <http://static.government.ru/media/files/bW9wGZ2rDs3BkeZHf7ZsaxnlbJzQbJjt.pdf> (дата обращения: 22.08.2022).

Внешняя торговля

В 2000—2015 гг. роль трех балтийских регионов во внешней торговле России постоянно росла, отражая наращивание объемов товарооборота со странами ЕС и повышение роли морского транспорта в обслуживании внешнеэкономических связей. Доля трех регионов во внешнеторговом обороте страны увеличилась с 6,5 до 11,4% (рис. 4). Однако в 2015—2021 гг., в условиях нарастания санкций со стороны стран Запада и постепенной переориентации российских внешних связей на Восток, этот показатель сократился до 10,1%.

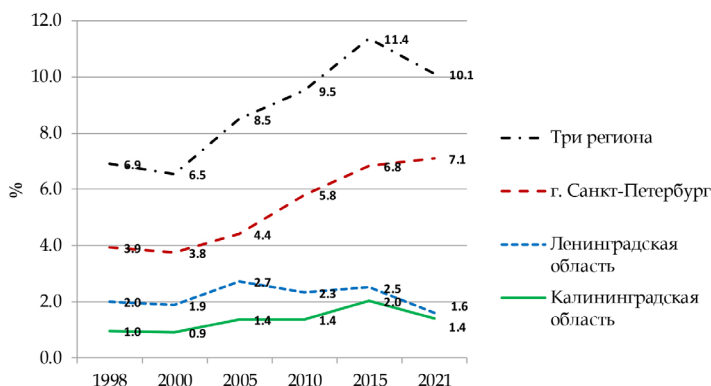


Рис. 4. Удельный вес балтийских регионов во внешнеторговом обороте РФ (в стоимостном выражении), 1998—2020 гг., %

Составлено на основе данных: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2002, 2002, М., Госкомстат России. 863 с.; Регионы России. Социально-экономические показатели. 2006, 2007, М., Росстат, 2007. 981 с.; Регионы России. Социально-экономические показатели. 2021, 2021, М., Росстат, 1112 с.; Внешняя торговля Калининградской области, 2022, *Калининградская областная таможня*, URL: <https://koblt.customs.gov.ru/statistic/vneshnyaya-torgovlya-kaliningradskoj-oblasti> (дата обращения: 15.06.2022); Внешняя торговля субъектов СЗФО, 2022, *Северо-Западное таможенное управление*, URL: <https://sztu.customs.gov.ru/folder/147129> (дата обращения 15.06.2022); О внешней торговле в 2021 году, 2021, Росстат, URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/26_23-02-2022.html (дата обращения: 29.07.2022).

Страны Балтийского макрорегиона, на которые приходится значительная часть внешней торговли балтийских субъектов РФ (табл. 3), постепенно утрачивают свою роль в их внешнеторговом обороте — и в экспорте, и в импорте. В 2014—2021 гг. их значение как торговых партнеров Санкт-Петербурга и Калининградской области существенно снизилось, а в Ленинградской области возросло, но ненамного (увеличился удельный вес в экспорте области, тогда как в импорте сократился). В целом же во внешнеторговом обороте трех рассматриваемых субъектов РФ удельный вес стран Балтийского макрорегиона упал с 26,5 до 17,6% (в экспорте — с 28,9 до 19,8%, в импорте — с 20,6 до 15,4%¹⁰). При этом удельный вес в товарообороте Германии, занимающей первое место среди стран Балтийского макрорегиона по объемам торговли с тремя балтийскими субъектами РФ, снизился с 9,4 до 6,6%.

¹⁰ Внешняя торговля Калининградской области, 2022, *Калининградская областная таможня*, URL: <https://koblt.customs.gov.ru/statistic/vneshnyaya-torgovlya-kaliningradskoj-oblasti> (дата обращения: 15.06.2022); Внешняя торговля субъектов СЗФО, 2022, *Северо-Западное таможенное управление*, URL: <https://sztu.customs.gov.ru/folder/147129> (дата обращения: 15.06.2022).

Таблица 3

**Удельный вес зарубежных стран Балтийского макрорегиона
во внешнеторговом обороте балтийских субъектов РФ, 2014 и 2021 гг., %**

Зарубежная страна Балтийского макрорегиона	Санкт-Петербург		Ленинградская область		Калининградская область		Итого три региона	
	2014	2021	2014	2021	2014	2021	2014	2021
Германия	11,1	7,4	4,3	4,7	20,9	5	9,4	6,6
Польша	0,8	1,8	0,8	1,7	3,6	3,4	1,1	2,0
Швеция	1,5	0,6	2,0	1,2	0,6	0,7	1,6	0,7
Дания	0,2	1,4	3,5	0,7	0,3	1,3	1,6	1,3
Финляндия	5,9	2,2	6,8	7,2	0,5	0,8	5,7	2,8
Литва	0,1	1	0,2	1,5	1,3	3,1	0,3	1,4
Латвия	3,7	0,9	0,2	1,5	0,5	0,5	1,8	0,9
Эстония	7,8	1,2	2,2	6,9	4,3	0,1	5,0	1,9
<i>Всего</i>	31,2	16,4	20,0	25,5	32,1	14,8	26,5	17,6

Составлено на основе данных: Внешняя торговля Калининградской области, 2022, *Калининградская областная таможня*, URL: <https://koblt.customs.gov.ru/statistic/vneshnyaya-torgovlya-kaliningradskoj-oblasti> (дата обращения: 15.06.2022) ; Внешняя торговля субъектов СЗФО, 2022, *Северо-Западное таможенное управление*, URL: <https://sztu.customs.gov.ru/folder/147129> (дата обращения: 15.06.2022).

Таблицы 4 и 5 отражают основную номенклатуру товаров, экспортируемых (табл. 4) и импортируемых (табл. 5) каждым из трех балтийских субъектов РФ при товарообороте с зарубежными странами Балтийского макрорегиона. За исключением нефти все остальные товары в основном производятся на территории трех рассматриваемых регионов.

Калининградская область является экспортером продукции агропродовольственного комплекса (соевое и рапсовое масло и шрот во все страны макрорегиона, кроме Эстонии; пшеница, янтарь-сырец, минеральные продукты и черные металлы в Литву; шкурки норки в Польшу).

Санкт-Петербург и Ленинградская область — поставщики нефти и нефтепродуктов во все страны макрорегиона. В ряд стран экспортируется продукция машиностроения, черные металлы и изделия из них, древесина, пластмассы. Санкт-Петербург поставляет в Данию и Литву белковые вещества. Продукты неорганической химии поступают из Ленинградской области в страны Балтии и Польшу, удобрения — в страны Балтии; в Германию, Польшу, Швецию и Финляндию вывозятся каучук и резина.

Таблица 4

**Основные виды товаров, экспортируемые балтийскими регионами РФ
в страны Балтийского макрорегиона, 2021 г.**

Товар	Страна-импортер							
	Германия	Польша	Швеция	Дания	Финляндия	Литва	Латвия	Эстония
Масло соевое, рапсовое	—	—	—	КО	—	КО	КО	—
Шрот соевый, рапсовый	КО	КО	КО	КО	КО	—	—	—
Пшеница	—	—	—	—	—	КО	—	—

Окончание табл. 4

Товар	Страна-импортер							
	Германия	Польша	Швеция	Дания	Финляндия	Литва	Латвия	Эстония
Шкурки норки	—	КО	—	—	—	—	—	—
Нефть и нефте-продукты	СПб	СПб	СПб, ЛО	СПб, ЛО	СПб, ЛО	СПб, ЛО	СПб, ЛО	СПб, ЛО
Древесина	СПб, ЛО, КО	СПб, ЛО	—	КО	СПб, ЛО	—	СПб	СПб, ЛО
Меховые изделия	—	—	—	—	СПб	—	—	—
Бумага, картон	—	ЛО	—	—	—	—	—	—
Янтарь-сырец	—	—	—	—	—	КО	—	—
Минеральные продукты	ЛО	—	—	—	—	КО	—	—
Продукты неорганической химии	—	ЛО	—	—	—	ЛО	—	ЛО
Удобрения	—	—	—	—	—	ЛО	ЛО	ЛО
Органические химические соединения	—	—	—	—	ЛО	—	—	—
Белковые вещества	—	—	—	СПб	—	СПб	—	—
Пластмассы и изделия из них	—	СПб, ЛО	—	—	—	—	—	—
Каучук, резина и изделия из них	ЛО	ЛО	ЛО	—	ЛО	—	—	—
Черные металлы и изделия из них	—	СПб	—	—	СПб	КО	СПб	СПб, ЛО
Лом черных металлов	—	—	—	—	—	—	—	—
Железнодорожные локомотивы, трамваи; их части	ЛО	ЛО	—	—	—	—	—	—
Суда, лодки	—	—	СПб	—	СПб	—	—	—
Оборудование	СПб	—	—	—	—	—	—	СПб
Инструменты и аппараты	—	—	—	СПб	—	—	—	—
Инструменты; ножи, ложки, вилки	—	СПб	—	—	—	—	—	—

Составлено на основе данных: Внешняя торговля Калининградской области, 2022, Калининградская областная таможня, URL: <https://kobl.t.customs.gov.ru/statistic/vneshnyaya-torgovlya-kaliningradskoj-oblasti> (дата обращения: 15.06.2022) ; Внешняя торговля субъектов СЗФО, 2022, Северо-Западное таможенное управление, URL: <https://sztu.customs.gov.ru/folder/147129> (дата обращения: 15.06.2022).

Примечание: регионы-экспортеры: СПб — Санкт-Петербург, ЛО — Ленинградская область, КО — Калининградская область.

Таблица 5

**Основные виды товаров, импортируемые балтийскими регионами РФ
из стран Балтийского макрорегиона, 2021 г.**

Товар	Страна-экспортер							
	Германия	Польша	Швеция	Дания	Финляндия	Литва	Латвия	Эстония
Продовольственные товары, напитки	СПб, ЛО	СПб	—	—	—	—	—	—
Корма для животных	СПб	—	—	ЛО	—	—	—	—
Табак	СПб	—	—	—	—	—	—	—
Бумага и картон	ЛО	СПб, ЛО, КО	СПб, ЛО, КО	—	СПб, ЛО	КО	—	—
Красители, краски	ЛО	ЛО	—	—	—	—	—	—
Продукты неорганической химии	СПб	—	—	—	СПб, ЛО	—	—	—
Мыло, моющие средства	СПб	—	—	—	—	—	—	—
Фармацевтическая продукция	СПб	—	—	—	СПб	—	—	—
Экстракты дубильные, красильные; красители	СПб	—	—	—	СПб	—	—	—
Эфирные масла; парфюмерные средства	СПб	—	—	—	СПб	—	—	—
Пластмассы и изделия из них	СПб, ЛО, КО	СПб, КО	СПб	—	СПб, ЛО	КО	—	—
Каучук, резина и изделия из них	СПб	—	—	—	ЛО	—	—	—
Изделия из камня	—	—	—	—	СПб	—	—	—
Черные металлы и изделия из них	СПб, ЛО, КО	СПб, КО	СПб	—	СПб	КО	—	—
Оборудование и механические устройства	СПб, ЛО, КО	СПб, КО	СПб, ЛО	—	СПб, ЛО	КО	СПб, ЛО	СПб, ЛО
Электрические машины и оборудование	СПб	—	—	—	СПб	—	—	—
Приборы оптические, измерительные	КО	—	—	—	—	—	—	—
Инструменты и аппараты	СПб	СПб	—	—	СПб	—	—	—
Электрические машины	—	СПб, КО	—	—	—	—	—	—
Средства наземного транспорта	СПб	СПб	СПб	—	СПб, ЛО	—	—	—
Комплектующие для сборки автомобилей	КО	—	—	—	—	—	—	—

Окончание табл. 5

Товар	Страна-экспортер							
	Германия	Польша	Швеция	Дания	Финляндия	Литва	Латвия	Эстония
Суда, лодки	КО	—	—	—	—	—	—	СПб
Мебель	—	КО	—	—	СПб	—	—	—

Составлено на основе данных: Внешняя торговля Калининградской области, 2022, *Калининградская областная таможня*, URL: <https://koblt.customs.gov.ru/statistic/vneshnyaya-torgovlya-kaliningradskoj-oblasti> (дата обращения: 15.06.2022) ; Внешняя торговля субъектов СЗФО, 2022, *Северо-Западное таможенное управление*, URL: <https://sztu.customs.gov.ru/folder/147129> (дата обращения: 15.06.2022).

Примечание: регионы-импортеры: СПб — Санкт-Петербург, ЛО — Ленинградская область, КО — Калининградская область.

Германия, важнейший торговый партнер России на Балтике, поставляет трем балтийским регионам России самую разнообразную продукцию — от продовольственных товаров до приборов, оборудования и транспортных средств. Занимающая третье место по объему товарооборота Польша также является для трех российских регионов поставщиком различных товаров, но не столь широкого ассортимента. Финляндия, второй по объему поставок партнер, экспортирует разнообразные товары, но преимущественно только в расположенные по соседству Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Более подробно поставщики конкретных видов товаров (как правило, объемом более 10 млн долл. в 2021 г.) представлены в таблице 5.

Как можно увидеть при анализе таблицы 5, важную роль играет импорт продовольствия, напитков, табака, кормов для животных, транспортных средств, мыла и моющих средств, фармацевтической продукции, парфюмерии и некоторых других потребительских товаров. Однако в номенклатуре импортируемых товаров преобладает продукция производственного назначения, предназначенная либо для технического оснащения предприятий, либо в качестве полуфабрикатов для производства готовой продукции. Характерным примером являются осуществлявшиеся поставки в Калининградскую область комплектующих для сборки автомобилей из Германии и комплектов для сборки мебели из Польши. Поскольку такого рода связи формируются и с другими макрорегионами, балтийские регионы России становятся важными звеньями цепочек создания добавленной стоимости, заметными на геоэкономической карте мира.

Заключение

Балтийские регионы РФ (Санкт-Петербург, Ленинградская и Калининградская области) относятся к числу наиболее экономически развитых и развивающихся более высокими темпами по сравнению со средними по стране. Санкт-Петербург, крупнейший город на Балтике, — важнейший научный, образовательный и культурный центр. Во всех трех регионах развиты обрабатывающие производства, транспорт, туризм, а в Калининградской и Ленинградской областях — агропродовольственный комплекс. Сходство отраслевой структуры народного хозяйства делает перспективным формирование распределенного межотраслевого кластера с участием хозяйствующих субъектов трех регионов.

Главными факторами развития расположенных на Балтике российских регионов выступает приморское приграничное положение и высокая хозяйственная ос-

военность территории. На экономику Калининградской области большое влияние оказывает ее эксклавное экономико-географическое положение, обуславливающее необходимость постоянно учитывать зависимость развития региона от внешних факторов.

Рассматриваемые регионы относятся к типу «международных коридоров развития», играя важную роль в обеспечении внешнеторговых связей России и используя эти связи для вхождения в интернационализированные цепочки создания добавленной стоимости. Сравнительно большое, но постепенно снижающееся значение для развития трех регионов имеют внешнеэкономические связи с зарубежными странами Балтийского макрорегиона. Эти связи выгодны для обеих сторон, и их свертывание, которое происходит в результате действий стран Запада, вряд ли может принести пользу какой-либо стороне. Однако, как показано в статье, российские балтийские регионы, диверсифицируя географические направления торговли, успешно развиваются и в условиях снижения во внешнеторговых связях доли стран Балтийского макрорегиона. Российское «окно в Европу» все более становится одним из окон России в мировую экономику.

В условиях современной геополитической и геоэкономической нестабильности для обеспечения динамичного развития балтийских регионов России чрезвычайно большое значение имеет реструктуризация их экономики и внешнеэкономических связей в соответствии с изменениями внешней среды. Наибольшие перспективы в решении этих задач, по мнению автора, имеет развитие видов экономической деятельности и обрабатывающих производств по пути кооперации с организациями других регионов страны. Целесообразна (и особенно важна для эксклавной Калининградской области) кооперация в рамках пространственно распределенной территориальной системы, включающей все три рассматриваемых балтийских региона. В ее составе возможно формирование судостроительного, лесопромышленного и рыбопромышленного кластеров с ориентацией преимущественно на общероссийский рынок, туристско-рекреационного и научно-образовательного — на российский и международный рынки. Что касается автомобилестроения, работающего в основном на национальный рынок, кооперация должна охватывать практически всю совокупность российских предприятий, связанных с производством автомобилей.

Статья подготовлена при финансовой поддержке проекта РНФ №22-27-00289 «Обновление реструктуризации международных связей и мер обеспечения военно-политической безопасности российских регионов на Балтике в условиях углубления геополитических противоречий».

Список литературы

1. Гутник, А. П., Клемешев, А. П. (ред.). 2006, *Балтийский регион как полюс экономической интеграции Северо-Запада Российской Федерации и Европейского союза*, Калининград, Изд-во РГУ им. И. Канта, 392 с.
2. Зауха, Я., Федоров, Г. М., Лимонов, Л. Э., Одинг, Н. Ю. (ред.). 2008, *Северо-Запад России в регионе Балтийского моря: проблемы и перспективы экономического взаимодействия и сотрудничества*, Калининград, Изд-во РГУ им. И. Канта, 259 с.
3. Kivikari, U. 1996, *The legacy of Hansa: The Baltic economic region*, Helsinki, Otava, 159 p.
4. Федоров, Г. М., Зверев, Ю. М., Корнеевец, В. С. 2013, *Россия на Балтике: 1990—2012 годы*, Калининград, Изд-во БФУ им. И. Канта, 252 с.
5. Kisiel-Łowczyc, A. B. 2000, *Bałtycka integracja ekonomiczna: stan i perspektywy do 2010 r.*, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 286 p.
6. Kivikari, U., Antola, E., 2004, *Baltic Sea Region — A Dynamic Third of Europe*, Turku, 2004. 35 p.

7. Palmowski, T. 2011, Europa Bałtycka — od idei do współczesności. In: Kurpiewski, P., Stegner, T., *Morze nasze i nie nasze, Uniwersytet Gdański, Gdańsk*, p. 563—571.
8. Пальмовский, Т. 2021, Стратегия Европейского союза для региона Балтийского моря и ее реализация, *Балтийский регион*, 2021, т. 13, № 1, с. 138—152, <https://doi.org/10.5922/2079-8555-2021-1-8>.
9. Palmowski, T., Fedorov, G. 2020, The Potential For Development Of Russian-Polish Cross-Border Region, *Geography, Environment, Sustainability*, 2020, vol. 13, № 1, p. 21—28, <https://doi.org/10.24057/2071-9388-2019-70>.
10. Schäfer, I. Region building and identity formation in the Baltic Sea Region, *IJIS*, 2005, vol. 3, p. 45—69, <https://doi.org/10.5278/ojs.ijis.v3i0.186>.
11. Stiller, S., Wedemeier, J. 2011, Wirtschaftsraum Ostsee: Städte auf Wachstumskurs, *Wirtschaftsdienst*, vol. 91, p. 572, <https://doi.org/10.1007/s10273-011-1264-0>.
12. Studzieniecki, T. 2016, The development of cross-border cooperation in an EU macroregion — a case study of the Baltic Sea Region, *Procedia Economics and Finance*, № 39, p. 235—241, [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(16\)30318-5](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)30318-5).
13. Maciejewski, W. (ed.). 2002, *The Baltic Sea Region. Cultures, Politics, Societies*, Uppsala, The Baltic University Press, 676 p.
14. Timmermann, H. 2000, *Die russische Exklave Kaliningrad im Kontext regionaler Kooperation*, Köln: Berichte des Bundesinstituts für Ostwissenschaftliche und Internationale Studien, 29 p.
15. Косов, Ю.В., Грибанова, Г.И. 2016, Стратегия ЕС для региона Балтийского моря: проблемы и перспективы международного сотрудничества, *Балтийский регион*, т. 8, № 2, с. 48—66, <https://doi.org/10.5922/2074-9848-2016-2-3>.
16. Межевич, Н.М., Кретинин, Г.В., Федоров, Г.М. 2016, К вопросу об экономико-географической структуризации Балтийского региона? *Балтийский регион*, т. 8, № 3, с. 15—29, <https://doi.org/10.5922/2074-9848-2016-3-1>.
17. Федоров, Г.М., Зверев, Ю.М. 2020, *Калининградские альтернативы: 25 лет спустя*, Калининград, Изд-во БФУ им. И. Канта, 315 с.
18. Худoley, K. K. 2019, «Прохладная война» в регионе Балтийского моря: последствия и дальнейшие сценарии, *Балтийский регион*, т. 11, № 3, с. 4—24, <https://doi.org/10.5922/2079-8555-2019-3-1>.
19. Brauß, H., Rącz, A. 2021, Russia's Strategic Interests and Actions in the Baltic Region, *DGAP Report*, № 1, 30 p.
20. Escach, N. 2021, Baltic vulnerability and recomposition: The consequences of an insidious geopolitics, *Mappeмонде*, № 130, <https://doi.org/10.4000/MAPPEMONDE.5426>.
21. Kaljurand, R., Mälksoo, M. 2010, *From de-securitisation to re-securitisation: Sub-regional multilateralism around the Baltic Sea*, Tallinn, 2010. 17 p.
22. Кретинин, Г.В., Катровский, А.П., Потоцкая, Т.И., Федоров, Г.М. 2016, Геополитические и геоэкономические изменения на Балтике на рубеже XX и XXI веков, *Балтийский регион*, т. 8, № 4, с. 18—33, <https://doi.org/10.5922/2074-9848-2016-4-2>.
23. Kuznetsov, A. V. 2018, Russian direct and indirect investment in the Baltic Sea region Some recommendations for the policy-makers, *BSR Policy Briefing series*, № 7.
24. Makarychev, A., Sergunin, A. 2017, Russia's role in regional cooperation and the EU Strategy for the Baltic Sea Region (EUSBSR), *Journal of Baltic Studies*, vol. 43, № 4, p. 1—15, <https://doi.org/10.1080/01629778.2017.1305186>.
25. Oldberg, I. 2013, Russia's Baltic policy in an era of EU integration, In: Herd, G. P., Moroney, J. D. P. (eds.), *Security Dynamics in the Former Soviet Bloc*, London, Routledge, p. 44—60, <https://doi.org/10.4324/9781315016122>.
26. Wellmann, C. 1996, Russia's Kaliningrad exclave at the crossroads: The interrelation between economic development and security politics, *Cooperation and Conflict*, vol. 31, № 2, p. 161—183, <https://doi.org/10.1177/0010836796031002002>.
27. Клемешев, А.П., Федоров, Г.М. 2004, *От изолированного эксклава — к «коридору развития. Альтернативы российского эксклава на Балтике*, Калининград, Изд-во Калининград. ун-та, 253 с.
28. Ивченко, В.В. 2003, *Программно-стратегическое развитие приморского региона России: теория, методология, практика*, Калининград, Изд-во Калининград. ун-та, 207 с.

Об авторе

Геннадий Михайлович Федоров, доктор географических наук, профессор, директор Центра геополитических исследований Балтийского региона, Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Россия.

E-mail: GFedorov@kantiana.ru

<https://orcid.org/0000-0003-4267-2369>



ПРЕДСТАВЛЕНО ДЛЯ ВОЗМОЖНОЙ ПУБЛИКАЦИИ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ЛИЦЕНЗИИ CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION (CC BY) ([HTTP://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/4.0/](http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/))

THE ECONOMY OF RUSSIAN BALTIC REGIONS: DEVELOPMENT LEVEL AND DYNAMICS, STRUCTURE AND INTERNATIONAL TRADE PARTNERS

G. M. Fedorov 

Immanuel Kant Baltic Federal University
14, A. Nevskogo St., Kaliningrad, 236016, Russia

Received 15.07.2022
doi: 10.5922/2079-8555-2022-4-2
© Fedorov, G. M., 2022

The article explores the challenges encountered during the formation of the Baltic macro-region comprising Russia and eight EU countries (Germany, Poland, Sweden, Denmark, Finland, Lithuania, Latvia and Estonia) in the context of the ongoing geopolitical and geo-economic changes. The article aims to assess the dynamics, level, structure and pace of economic development of three Russian regions located on the Baltic Sea (St. Petersburg, Leningrad and Kaliningrad regions) and analyse the intensity of their trade relations with countries of the macro-region. Russian Baltic regions have higher development rates compared to the national average. However, they experience difficulties in their economic development resulting from negative external factors. The article describes possible ways of overcoming these difficulties by improving the sectoral structure of the economy and diversifying international ties. In this context, the development of inter-regional cooperation and the formation of a spatially distributed territorial socio-economic system, including the three Russian Baltic regions, will be particularly beneficial. The period covered by the article is 1996–2021, with a special focus on 2014–2021. The study is based on the economic and statistical analysis of official data of Rosstat and the Federal Customs Service on the sectoral structure and dynamics of the gross regional product (GRP), volume and changes in foreign trade, and its commodity and geographical structure.

Keywords:

Baltic macroregion, Russia, St. Petersburg, Leningrad region, Kaliningrad region, economic capacity, international trade turnover, economic development

References

1. Gutnik, A. P., Klemeshev, A. P. (eds.). 2006, *Baltiiskij region kak polyus `ekonomicheskoy integracii Severo-Zapada Rossijskoj Federacii i Evropejskogo soyuza* [Baltic region as pole of economic integration of the Northwest of the Russian Federation and the European Union], Kaliningrad, 392 p. (in Russ.).

To cite this article: Fedorov, G. M. 2022, The economy of Russian Baltic regions: development level and dynamics, structure and international trade partners, *Balt. Reg.*, Vol. 14, no 4, p. 20–38. doi: 10.5922/2079-8555-2022-4-2.

2. Zaukh, Y. A., Fedorov, G. M., Limonov, L. E., Oding, N. Y. (eds.). 2008, *Severo-Zapad Rossii v regione Baltiyskogo morya: problemy i perspektivy ekonomicheskogo vzaimodeystviya i sotrudnichestva* [Northwest of Russia in the Baltic sea region: problems and prospects of economic interaction and cooperation], Kaliningrad, Izd-vo RGU im I. Kanta, 259 p. (in Russ.).
3. Kivikari, U. 1996, *The legacy of Hansa: The Baltic economic region*, Helsinki, Otava, 159 p.
4. Fedorov, G. M., Zverev, Yu. M., Korneevets, V. S. 2012, *Rossiya na Baltike: 1990–2012 gody* [Russia on Baltic: 1990–2012], Kaliningrad, 252 p. (in Russ.).
5. Kisiel-Łowczyc, A. B. 2000, *Bałtycka integracja ekonomiczna: stan i perspektywy do 2010 r.* Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 286 p.
6. Kivikari, U., Antola, E., 2004, *Baltic Sea Region — A Dynamic Third of Europe*, Turku, 2004. 35 p.
7. Palmowski, T. 2011, Europa Bałtycka — od idei do współczesności. In: Kurpiewski, P., Stegner, T., *Morze nasze i nie nasze*, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, p. 563–571.
8. Palmowski, T. 2021, The European Union Strategy for the Baltic Sea Region and accomplishments, *Baltic Region*, vol. 13, № 1, p. 138–152, <https://doi.org/10.5922/2079-8555-2021-1-8>.
9. Palmowski, T., Fedorov, G. 2020, The Potential For Development Of Russian-Polish Cross-Border Region., *Geography, Environment, Sustainability*, vol. 13, № 1, p. 21–28, <https://doi.org/10.24057/2071-9388-2019-70>.
10. Schäfer, I. 2005, Region building and identity formation in the Baltic Sea Region , *IJIS*, vol. 3. p. 45–69, <https://doi.org/10.5278/ojs.ijis.v3i0.186>.
11. Stiller, S., Wedemeier, J. 2011, Wirtschaftsraum Ostsee: Städte auf Wachstumskurs, *Wirtschaftsdienst*, vol. 91, p. 572, <https://doi.org/10.1007/s10273-011-1264-0>.
12. Studzieniecki, T. 2016, The development of cross-border cooperation in an EU macroregion — a case study of the Baltic Sea Region, *Procedia Economics and Finance*, № 39, p. 235–241, [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(16\)30318-5](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)30318-5).
13. Maciejewski, W. (ed.). 2002, *The Baltic Sea Region. Cultures, Politics, Societies*, Uppsala, The Baltic University Press, 676 p.
14. Timmermann, H. 2000, *Die russische Exklave Kaliningrad im Kontext regionaler Kooperation*, Köln: Berichte des Bundesinstituts für Ostwissenschaftliche und Internationale Studien, 29 p.
15. Kosov, Yu., Griбанова, G. 2016, Strategy for the Baltic Sea Region: Challenges and perspectives of international cooperation, *Baltic region*, vol. 8, № 2, p. 33–44, <https://doi.org/10.5922/2079-8555-2016-2-3>.
16. Mezhevich, N. M., Kretinin, G. V., Fedorov, G. M. 2016, Economic and Geographical Structure of the Baltic Sea Region, *Baltic region*, vol. 8, № 3, p. 11–21, <https://doi.org/10.5922/2079-8555-2016-3-1>.
17. Fedorov, G. M., Zverev, Y. M. 2020, *Kaliningradskiye al'ternativy: 25 let spustya* [Kaliningrad alternatives: 25 years later], Kaliningrad, Izd-vo BFU im. I. Kanta, 315 p. (in Russ.).
18. Khudoley, K. K. 2019, The ‘cool war’ in the Baltic Sea Region: consequences and future scenarios, *Baltic region*, vol. 11, № 3, p. 4–24, <https://doi.org/10.5922/2079-8555-2019-3-1>.
19. Brauß, H., Rácz, A. 2021, Russia’s Strategic Interests and Actions in the Baltic Region, *DGAP Report*, № 1, 30 p.
20. Escach, N. 2021, Baltic vulnerability and recomposition: The consequences of an insidious geopolitics, *Mappemonde*, № 130, <https://doi.org/10.4000/MAPPEMONDE.5426>.
21. Kaljurand, R., Mälksoo, M. 2010, *From de-securitisation to re-securitisation: Sub-regional multilateralism around the Baltic Sea*, Tallinn, 2010. 17 p.
22. Kretinin, G. V., Katrovskiy, A. P., Pototskaya, T. I., Fedorov, G. M. 2016, Geopolitical and geo-economic changes in the Baltic Sea Region at the turn off the XX–XXI centuries, *Baltic region*, vol. 8, № 4, p. 13–25, <https://doi.org/10.5922/2079-8555-2016-4-2>.
23. Kuznetsov, A. V. 2018, Russian direct and indirect investment in the Baltic Sea region Some recommendations for the policy-makers // *BSR Policy Briefing series*, № 7.
24. Makarychev, A., Sergunin, A. 2017, Russia’s role in regional cooperation and the EU Strategy for the Baltic Sea Region (EUSBSR), *Journal of Baltic Studies*, vol. 43, № 4, p. 1–15, <https://doi.org/10.1080/01629778.2017.1305186>.

25. Oldberg, I. 2013, Russia's Baltic policy in an era of EU integration, In: Herd, G. P., Moroney, J. D. P. (eds.), *Security Dynamics in the Former Soviet Bloc*, London, Routledge, p. 44–60, <https://doi.org/10.4324/9781315016122>.

26. Wellmann, C. 1996, Russia's Kaliningrad exclave at the crossroads: The interrelation between economic development and security politics, *Cooperation and Conflict*, vol. 31, № 2, p. 161–183, <https://doi.org/10.1177/0010836796031002002>.

27. Klemeshev, A., Fedorov, G. 2004, *Ot izolirovannogo jeksklava — k «koridoru razvitiya. Al'ternativy rossijskogo jeksklava na Baltike* [From an isolated exclave — to a “development corridor”. Alternative development strategies of the Russian exclave on the Baltic Sea]. Kaliningrad, Kaliningrad State University Press, 253 p. (in Russ.).

28. Ivchenko, V. V. 2003, *Programmno-strategicheskoye razvitiye primorskogo regiona Rossii: teoriya, metodologiya, praktika* [Program-strategic development of the coastal region of Russia: theory, methodology, practice], Kaliningrad, Izd-vo Kaliningr. un-ta, 207 p. (in Russ.).

The author

Prof. Gennady M. Fedorov, Director, Centre for Baltic Geopolitical Studies, Immanuel Kant Baltic Federal University, Russia.

E-mail: GFedorov@kantiana.ru

<https://orcid.org/0000-0003-4267-2369>



SUBMITTED FOR POSSIBLE OPEN ACCESS PUBLICATION UNDER THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION (CC BY) LICENSE ([HTTP://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BY/4.0/](http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/))

МАЛЫЕ ГОРОДА ЛАТВИИ: НЕРАВЕНСТВО В РЕГИОНАЛЬНОМ И ГОРОДСКОМ РАЗВИТИИ

В. В. Воронов 

Институт социологии ФНИСЦ РАН,
117218, Россия, Москва, ул. Кржижановского, 24/35, корп. 5

Поступила в редакцию 17.08.2022 г.
doi: 10.5922/2079-8555-2022-4-3
© Воронов В. В., 2022

Представлены положения и результаты экономико-социологического исследования, проведенного Институтом социологии ФНИСЦ РАН (Россия) при поддержке Даугавпилсского университета (Латвия) в 2020–2021 гг. с целью выявления особенностей неравенства развития малых городов Латвии. В основу исследования положены междисциплинарный территориально-пространственный и социально-экономический анализы. Комплексный анализ проблематики малых городов Латвии в социально-экономическом, территориально-пространственном контекстах произведен на основе индексирования и ранжирования крупномасштабных эмпирических замеров во всех малых городах страны. Это сделано посредством индекса территориального развития регионов, городов, сельских поселений, разработанного и апробированного с 2013 г. государственным агентством регионального развития Латвии. По результатам исследования проанализированы и интерпретированы показатели оценки и ранжирования индекса территориального развития малых городов страны с корреляцией к их региональной принадлежности. Выявлен основной фактор неравенства развития малых городов — уровень бизнес-активности в них, а также установлена значимая роль местных органов власти в финансах сектора государственного управления. Определены перспективы полицентрического развития малых городов, снижения неравенства в их развитии для жителей в условиях труда и жизни.

Ключевые слова:

регионы, малые города, полицентризм, индекс территориального развития, неравенство, Латвия

Введение

Актуальность исследования обусловлена повышением научно-практической значимости полицентрического подхода к пространственному развитию локальных территорий страны в интересах всех ее жителей. Процесс сближения социально-экономических параметров развития локальных территорий, вместе с ростом активности местной бизнес-среды, социальной инфраструктуры, выступает важным приоритетом сбалансированного территориально-пространственного развития страны.

В последние десятилетия сменились разные подходы к малым городам Латвии, которая в их отношении ориентируется на положения и программы городского развития ООН и ЕС¹. Первоначально использовался геопространственный подход

¹ Urban Agenda for the EU Pact of Amsterdam, 2016, Amsterdam, EK. 36 p.; Cities and urban development EU, 2022, *European Commission*, URL: https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/topics/cities-and-urban-development_en (дата обращения: 10.06.2022).

Для цитирования: Воронов В. В. Малые города Латвии: неравенство в региональном и городском развитии // Балтийский регион. 2022. Т. 14, № 4. С. 39–56. doi: 10.5922/2079-8555-2022-4-3.

как территориальное существование географических локальных объектов, связанных с различными сферами жизнедеятельности людей во времени. Исторически Латвия развивалась как индустриально-аграрный тип общества со слабо урбанизированным образом жизни. Это способствовало формированию и развитию многочисленной сети малых городов, самодостаточных, уникальных по ландшафту и архитектуре, что привлекательно для жизни и туризма. Затем получил известность социопространственный подход, который акцентирует внимание на практики и активность деятельности городских социальных групп (сообществ): власти, бизнеса, гражданских структур, сообществ жителей города [1, с. 10—11]. В настоящее время эти два подхода объединены в различных программах развития городов ЕС в геосоциопространственный подход, который детализируется в 12—13 аспектах².

Геосоциопространственная дифференциация малых городов Латвии показывает особенности конфигураций их неравенства с региональных и внутрирегиональных позиций. Неопределенность социально-экономической ситуации в стране из-за проведенной в 2019—2021 гг. административно-территориальной реформы по укрупнению территориальных образований (число местных муниципалитетов сократилось в три с половиной раза — со 119 до 42, при этом в одно местное самоуправление объединили от двух до девяти муниципалитетов) для выравнивания их роста и устойчивого, взаимосвязанного развития страны носит неоднозначный характер. Об этом свидетельствуют в своих статьях и выступлениях эксперты, депутаты самоуправлений, президент Латвии³. Значимая зависимость региональных малых городов от структурных и инвестиционных фондов ЕС, других внешних и внутренних источников финансирования усложняет сохранение и возможности развития этих городов.

Однако определенная автономность жизнедеятельности местного сообщества (власти, бизнеса, различных организаций и объединений, политических групп, отдельных граждан и др.), сложившаяся конфигурация социокультурной общности жителей, преобладание традиционного образа жизни придают относительную устойчивость городскому социуму, способствуют где активной, где пассивной адаптации местного сообщества к внешним вызовам [2—4].

Необходимость комплексной городской политики в отношении перспектив экономического развития малых и других городов в контексте европейского опыта отметили отдельные авторы [5].

Научная проблема работы заключается в определении степени взаимосвязанности между производственно-экономической и неэкономической (социальной) сферами жизнедеятельности социума региональных малых городов страны и их влиянием на систему расселения в экономике страны.

Цель исследования — определение уровня и особенностей неравенства развития малых городов Латвии. Основными задачами, направленными на достижение цели, выступают анализ и интерпретация показателей оценки и ранжирования ин-

² Cities and urban development EU, 2022, URL: https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/topics/cities-and-urban-development_en (дата обращения: 10.06.2022).

³ Упадок малых городов или выравнивание: что принесет Латвии региональная реформа, 2019, *SPUTNIK Латвия*, URL: <https://lv.sputniknews.ru/Latvia/20190226/11048339/regionalnaya-reforma-latvia.html> (дата обращения: 11.03.2022); Латвийские самоуправления: доноры и реципиенты, 2020, *SPUTNIK Латвия*, URL: <https://lv.sputniknews.ru/infographics/20200404/13490497/Latviyskie-samoupravleniya-donory-i-retsipienty.html> (дата обращения: 11.03.2022); Press statement by the President of Latvia Egils Levits on the Administrative-Territorial Reform, 2020, *President of the Republic of Latvia*, URL: <https://www.president.lv/en/article/press-statement-president-latvia-egils-levits-administrative-territorial-reform> (дата обращения: 07.05.2022).

декса территориального развития малых городов страны с корреляцией к их региональной принадлежности; выявление факторов, способствующих снижению неравенства в развитии региональных малых городов и восстановлению полицентрических тенденций их развития.

Индекс территориального развития регионов, городов, сельских поселений (ИТР), разработанный латвийским Государственным агентством регионального развития адекватно отражает неравенство в социально-экономическом развитии малых городов Латвии. Использование показателя ИТР может способствовать более глубокому пониманию структуры неравенства в развитии малых городов, усилить адресность социально-экономической политики для выравнивания пространственного развития районов, краев, городов страны, шпенную количественную проверку и оценку в статике и динамике для реализации полицентрических тенденций в развитии малых региональных городов страны.

Города и городская политика (обзор литературы)

В настоящее время в 76 городах Латвии (с 1 июля 2021 г. добавились два новых: Иецава и Кокнесе)⁴ живут 68 % жителей, в 1438 селах — 32 %; 73 города являются малыми (≤ 50 тыс. чел.), около половины из них имеет меньше 3 тыс. жителей⁵. Население Латвии устойчиво стареет и сокращается: средний возраст жителей в 1990 г. был 36 лет, в 2019-м — 45 лет; население Латвии в 1990 г. составляло 2 млн 668 тыс., а в 2019-м — 1 млн 920 тыс.⁶. Урбанизация в Латвии показывает, что значительная часть населения мигрирует из сельской местности в города и прежде всего в столицу — Ригу, где сосредоточено 36,4 % населения страны, а вместе с Пририжем проживает более половины — 53 %. Отметим, что территория Латвии разделена на пять регионов: Рижский с Пририжье, Курземе, Видземе, Земгале и Латгале. В большинстве малых городов Латвии идет устойчивое снижение численности населения: около 12—13 % каждые 10 лет. При этом в городах, входящих в агломерацию Риги (Саласпилс, Олайне, Икшкиле, Лиелварде, Баложь), идет устойчивый рост населения: около 6 % каждые 10 лет. Межрегиональная миграция жителей из периферии в центр, в крупные краевые, региональные города обусловлена значительным неравенством территориально-пространственного развития Латвии. В стране преобладает центростремительная структура населения, дорожного движения, социально-экономического развития, несмотря на многолетние усилия властей разных уровней по восстановлению бывшего в прошлом полицентрического пространственного развития, которое теперь представляется как цель будущего.

До 1991 г. в большинстве малых городов было развито местное промышленное производство (мебельное, швейное, электробытовых приборов и другое), точное машиностроение, производство сборных конструкций, домов и другое, а также агропромышленное производство (переработка сельхозпродукции, биохимическое производство, производство сельскохозяйственной техники), имелись филиалы крупных промышленных предприятий средних и больших городов страны. Эта

⁴ Administratīvo teritoriju un teritoriālā iedalījuma vienību klasifikatora noteikumi, 2021, Ministru kabineta noteikumi № 379, *Latvijas republikas tiesību akti*, URL: <https://likumi.lv/ta/id/324030-administrativo-teritoriju-un-teritoriala-iedalijuma-vienibu-klasifikatora-noteikumi> (дата обращения: 10.08.2022).

⁵ Population in cities, towns and counties, 2022, Official statistics of Latvia, URL: <https://stat.gov.lv/en/statistics-themes/population/population/247-population-and-population-change?themeCode=IR> (дата обращения: 10.06.2022).

⁶ Statistical Yearbook of Latvia 2019, 2020, Riga, Central Statistical Bureau of Latvia, 226 p.

продукция покрывала потребности не только внутреннего рынка, но и вывозилась в другие советские республики, экспортировалась в зарубежные страны. Например, изделия «ливанского стекла» из г. Ливаны — в советские республики, сыр и другую молочную продукцию из г. Прейли — в Ленинград, Москву и пр. Все это способствовало относительно равномерному индустриальному и интеллектуальному развитию региональных малых городов Латвии, обеспечивало в них полную занятость экономически активного населения.

Отдельные исследователи, анализируя тенденции социально-экономического развития городов страны в современных условиях, рассматривают необходимость полицентризма в их развитии через набор определенных факторов: сотрудничество и объединение ресурсов; дополнение друг друга и стремление к специализации без дублирования действий других городов; сбалансированное городское развитие не только на районном, но и на региональном уровне⁷. Однако высокий уровень бюджетной нагрузки на экономику делает проблематичным заметное и сбалансированное развитие внутреннего реального сектора экономики. Кредитно-денежная политика настроена на интересы иностранного финансового капитала. Система налогообложения слабо стимулирует выравнивание уровней регионального развития, поскольку налоговые льготы для бизнеса в основном определяются отраслевым принципом и в настоящее время недостаточно связаны с региональным развитием [6]. Например, в Латгальской специальной экономической зоне (г. Резекне) иностранным инвесторам в деревообработку, металлообработку, текстильную промышленность предлагаются скидки в 80 % налогов на прибыль и недвижимость⁸. Отметим, что в европейских исследованиях распространено изучение городов в рамках концепции устойчивого развития, то есть достижения баланса между экономическим, экологическим и социальным показателями развития определенной локальной территории, при которых социально-экономическое развитие городов не приводит к деградации окружающей среды, но сопровождается разрешением социальных проблем неравенства и бедности [7]. Зарубежные ученые раскрывают перспективы малых городов в локальных рамках регионов на базе их дифференцированных стратегий развития [8]. Особенность этих исследований заключается в их практической ориентированности и междисциплинарном подходе к обобщению опыта конкретных городов по реализации безопасной, экологичной, экономически и социально привлекательной, комфортной городской среды, отвечающей потребностям жителей Евросоюза.

Имеющаяся широкая, исторически сложившаяся сеть малых городов Латвии дает ей устойчивые возможности сохранять культурное разнообразие, экологию окружающей природной среды, развивать трудовой и технологический потенциалы, осваивать новые жизненные практики в неоднозначной, с высокой долей неопределенности социально-экономической ситуации в стране и обществе. Следует отметить, что членство в ЕС пока позволяет малым городам Латвии решать вопрос источника финансирования разнообразных проектов по своему социально-экономическому, инфраструктурному развитию посредством государственного Фонда выравнивания развития самоуправлений Латвии, структурных и инвестиционных фондов ЕС и другое. При этом неравномерность развития локальных территорий предполагает разные методы оценки необходимой помощи, а также учет приоритетов в предоставлении помощи в зависимости от текущего уровня развития того или иного малого города. Решение этих вопросов идет с учетом интегрированных по-

⁷ *Latvijas pilsētu sociāli ekonomiskās attīstības tendences, Pārresoru koordinācijas centrs, 2008, URL: <http://petijumi.mk.gov.lv/node/1717> (дата обращения: 01.02.2022).*

⁸ *Par Reģionālās politikas pamatnostādņēm 2021—2027. Gadam, 2019, Latvijas republikas tiesību akti, URL: <https://likumi.lv/ta/id/310954-par-regionalas-politikas-pamatnostadnem-2021-2027-gadam> (дата обращения: 01.02.2022).*

казателей регионального и местного развития, через конкурс проектов, бизнес-планов, которые местная власть подает в указанные Фонды⁹. Правительство Латвии разработало стратегию ее устойчивого развития до 2030 г. на основе концепций ООН и ЕС. Ее стержнем служит тезис об устойчивом инклюзивном (опирающемся на собственные ресурсы) росте, а также о важности соединения целей городского развития с общепризнанными европейскими ценностями в социально-экономической и социокультурной сферах. Особенный акцент делается на роли городов в реализации политики социальной связности в рамках территориальной организации общества (минимизации диспаритета в условиях и качестве жизни между различными регионами)¹⁰.

Наибольшая активность латвийских ученых в исследовании национальной городской политики развития с позиции социопространственного подхода была в 2010-х гг., когда материалы Лейпцигской хартии устойчивого развития городов ЕС (2007) и экономический кризис 2008 г. способствовали поддержке со стороны различных научных фондов проектов по комплексному решению социально-экономических проблем развития городов Латвии [9—11]. В последние годы исследователи активно используют геосоциопространственный подход в анализе экономической дифференциации регионов Латвии, включая города как фактор пространственно-динамического процесса. Обосновывается положение на основе обзора литературы, что для полицентрического развития необходимо переориентировать региональную экономику малых городов и сельских районов на экономику профессиональных знаний («умное развитие») и производство продукции с высокой добавленной стоимостью [12—14]. Другие авторы считают, что максимальное и эффективное вовлечение периферийных, слабых территорий в хозяйственную деятельность в условиях урбанизации и глобализации является одной из основных задач долгосрочного развития Латвии [15; 16]. Отдельные исследователи связывают возможности и барьеры развития региональных малых городов страны с активизацией хозяйственной деятельности и демографическими проблемами, используя в анализе метод кейс-стади [17].

Методология и методы

В основу исследования положены междисциплинарный, комплексный, типологический территориально-пространственный и социально-экономический анализы. Комплексный анализ проблематики малых городов Латвии в социально-экономическом, территориально-пространственном контекстах произведен на основе индексирования и ранжирования крупномасштабных эмпирических замеров во всех малых городах страны посредством индекса территориального развития регионов, городов, сельских поселений. Проведен анализ отечественных и зарубежных работ по теме исследования [18—20]. Изучены законодательные и нормативные документы по административно-территориальной реформе 2019 г., материалы статистики.

⁹ Sustainable Development Strategy of Latvia until 2030, 2010, *Cross-Sectoral Coordination Centre Republic of Latvia*, URL: https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/images-legacy/LV2030/LIAS_2030_parluks_en.pdf (дата обращения 10.06.2022); Par Reģionālās politikas pamatnostādņēm 2021.-2027. Gadam, 2019, *Latvijas republikas tiesību akti*, URL: <https://likumi.lv/ta/id/310954-par-regionalas-politikas-pamatnostadnem-2021-2027-gadam> (дата обращения: 10.06.2022).

¹⁰ Sustainable Development Strategy of Latvia until 2030, 2010, *Cross-Sectoral Coordination Centre Republic of Latvia*, URL: https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/images-legacy/LV2030/LIAS_2030_parluks_en.pdf (дата обращения: 10.06.2022).

Результаты исследования и обсуждение

Вторая международная конференция Хабитат II программы ООН по устойчивому развитию городов призвала государства к ведению постоянного мониторинга их развития посредством составления интегральных индексов городского развития¹¹. В этой связи различными странами активно стали создаваться индексы развития городов, построенные на показателях с учетом национальных особенностей ведения статистики. Наибольшее распространение составление индексов городского развития получило в 2000—2010-х гг., когда планированию развития городов стало уделяться значительное внимание из-за общемирового роста процесса урбанизации. При этом в международной практике нет общепризнанной индикативной оценки результативности развития городов. Широкое распространение получил City Prosperity Index, оценивающий потенциал городов для развития и процветания в будущем, но он используется для больших городов¹². В Латвии с 2013 г. индекс оценки результативности развития региональных городов и сельских районов рассчитывает Государственное агентство регионального развития¹³. Этот индекс носит мониторинговый характер и сфокусирован на социально-экономических факторах развития городов, не затрагивая в них качество городской среды, социальной инфраструктуры, чтобы ограничить показатели оценки до восьми субиндексов, как принято в международной практике. Индекс территориального развития (ИТР) характеризует уровень развития конкретной территории (региона, края, района, города) Латвии. В расчетах используются данные Центрального статистического управления, Государственной кассы, Службы государственных доходов, Государственного агентства занятости, Министерства благосостояния, Министерства внутренних дел и Государственной земельной службы по регионам, городам и уездам республики. Для сопоставимости данных использованы стандартизированные значения восьми различных показателей, и каждый из них имеет свой собственный вес значимости (табл. 1).

Таблица 1

Необходимые показатели и вес их значимости для малых городов Латвии при расчете ИТР

Показатель ИТР	Вес показателя
Количество экономически активных индивидуальных предпринимателей и коммерческих предприятий на 1000 жителей	0,25
Уровень безработицы, %	0,15
Доля бедных в общей численности населения, %	0,1
Общее количество уголовных преступлений на 1000 жителей	0,05
Баланс естественного движения на 1000 жителей	0,1
Долгосрочный миграционный баланс на 1000 жителей	0,1
Численность населения старше трудоспособного возраста на 1000 населения трудоспособного возраста	0,05
Размер подоходного налога на одного жителя, евро	0,2
<i>Всего</i>	1,00

¹¹ Global urban indicators database. Version 2. United Nations Human Settlements Programme (UN – Habitat). Nairobi, Kenya, 2001. 41 p. URL: www.unhsp.org/guo (дата обращения: 10.06.2022).

¹² UN-Habitat City Prosperity Index (CPI) 2022. A Comparison of 29 World Cities. 99 p. URL: https://windowstorussia.com/wpcontent/uploads/2022/02/Global_Cities_Ranking_Draft_REPORT_Feb_2022.pdf (дата обращения: 01.08.2022).

¹³ Teritorijas attīstības indekss, 2021, *Valsts reģionālās attīstības aģentūra*, URL: <https://www.vraa.gov.lv/lv/teritorijas-attistibas-indekss> (дата обращения: 11.03.2021).

Для объединения показателей, характеризующих развитие конкретной территории и выраженных в разных единицах (например, человек, евро, %), и создания ИТР статистическая стандартизация показателей проводится по формуле

$$t = \frac{x - \bar{x}}{S} ,$$

где t — развитие ключевых индикаторов в стандартном значении конкретной территории;

x — основной показатель развития, стандартизируемый на конкретной территории, выраженный в конкретных единицах измерения;

\bar{x} — среднее значение соответствующего основного показателя развития в группе территорий в соответствующем году;

s — стандартное отклонение, показатель вариации, который рассчитывается на соответствующий год для индекса с помощью формулы

$$s = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2 f}{\sum f}} ,$$

где f — статистический вес (число жителей на конкретной территории, численность населения трудоспособного возраста, площадь, км², с использованием соответствующих основных показателей развития).

Составляющие ИТР показатели рассчитывают следующим образом: чтобы придать каждому показателю его конкретную значимость, каждый стандартизованный показатель умножается на вес значимости. Индекс территориального развития для малых городов Латвии представлен в приложении к статье.

На основе значений ИТР можно оценить состояние и возможности развития малых городов Латвии. Ряд направлений их развития требует гораздо больших финансовых вложений, чем те, которые доступны местным органам власти. Малые города в основном ориентированы на сетевое взаимодействие, многие периферийные из них функционально не специализированы.

Для дальнейшего анализа малые города Латвии разделим на три условно равные группы, от возрастания к убыванию, в зависимости от значения их ИТР, как это сделано в аналогичных российских исследованиях [21, с. 355; 22, с. 68—70]. Используя данные Модуля индикаторов регионального развития (Regional development indicators module¹⁴) за 2019 г., проранжируем малые города от самого высокого значения ИТР до самого низкого.

Первая группа А — *более развитые города* — включает малые города с примыкающими окружными поселениями, у которых значение индекса территориального развития находится в интервале от 1,435 до 0,042.

К данной группе относятся малые города, имеющие эффективные производственные предприятия, лучшие показатели обеспеченности социальной инфраструктурой, характеризующиеся достаточной бюджетной обеспеченностью, наличием природных, квалифицированных трудовых, инвестиционных наукоемких ресурсов для развития города.

Вторая группа В — *менее развитые города* — включает малые города с примыкающими окружными поселениями, у которых значение ИТР находится в интерва-

¹⁴ Regional development indicators module, 2019, RAIM.gov.lv, URL: <https://raim.gov.lv/ru/node/37> (дата обращения: 26.08.2022).

ле от 0,033 до -0,504. К этой группе можно отнести малые города, не обладающие уникальной специализацией, с устойчивой рентабельностью в реальном секторе экономики. Вместе с тем в группе В имеются сравнительно благополучные туристско-рекреационные центры, агропромышленные комплексы, а также малые и средние предприятия с различным жизненным циклом по производству промышленных товаров и услуг средних и ниже технологий (деревообработка, металлообработка). Обычно в таких малых городах более развит один из компонентов социально-экономического развития.

Третья группа С — *слабо развитые года* — включает малые города с примыкающими окружными поселениями, у которых значение ИТР находится в интервале от -0,512 до -1,702. К данной группе можно отнести, с отдельными исключениями, наименее развитые по всем компонентам социально-экономического развития малые города, удаленные от перспективных центров экономического развития, не имеющие раскрытого индустриального, аграрнопромышленного, рекреационно-туристического потенциала.

В развитии региональных малых городов в условиях рынка решающую роль играет активность бизнес-среды, которая обеспечивает точки роста городского развития и занятость жителей, а не численность жителей, как, например, в России [20, с. 812]. При этом большое значение имеет и уровень человеческого капитала в развитии малых городов и окружающих сельских поселений для разумной их специализации, как показывают авторы на примере отдельных латвийских регионов [13]. О роли активности бизнес-среды свидетельствуют соответствующие значения субиндексов ИТР. Однако большинство предприятий с местным капиталом (в среднем до 20 тыс. евро) в малых городах Латвии не могут ориентироваться на производство продукции с высокой добавленной стоимостью, требующее значительных капиталовложений (более 100 тыс. евро) и внешних рынков сбыта как основы высоких зарплат работников. Поэтому нехватка внешних инвесторов, внутренних финансовых накоплений, высококвалифицированной рабочей силы приводит к преобладанию в региональных малых городах предприятий со средними и ниже технологиями производства: строительство, металлообработка, деревообработка, ремонт и услуги, которые имеют невысокую добавленную стоимость, следовательно, невысокий доход работников. Лишь малые города Рижской агломерации, имеющие все необходимые ресурсы для инновационной экономики (предприятия с уставным капиталом более 100 тыс. евро), смогли обеспечить свое устойчивое развитие и достаточно комфортную жизнь жителям, выступая своеобразным буфером между «центром» и «периферией». Отдельные малые города в других регионах: Вентспилс, Валмиера, Ливаны, Цесис и др. — тоже смогли в той или иной мере сделать благополучной жизнь своих горожан за счет активной бизнес-среды. Как правило, этому способствуют уникальные особенности бизнес-среды таких городов: наличие прошлого опыта промышленного производства с сохранившейся инфраструктурой, развитая транспортная мультимодальная сеть, квалифицированная рабочая сила, удачное привлечение внешнего крупного инвестора, квалифицированное использование структурных и инвестиционных фондов ЕС [23].

Группы ИТР малых городов Латвии выглядит следующим образом (табл. 2)¹⁵.

¹⁵ Автор статьи выражает признательность В.Д. Краско, доктору экономики (PhD) Даугавпилсского университета, за обработку и группировку данных в таблицах 2 и 3.

Таблица 2

**Региональная дифференциация малых городов Латвии
по трем группам развития
в соответствии со значением ИТР, 2019 г.**

Группа А		Группа В		Группа С	
Город	Значение индекса	Город	Значение индекса	Город	Значение индекса
<i>Рижский регион и Пририжье</i>					
Баложь	1,435	—	—	—	—
Икшкиле	1,295	—	—	—	—
Сигулда	0,994	—	—	—	—
Саулкрасты	0,913	—	—	—	—
Саласпилс	0,714	—	—	—	—
Олайне	0,584	—	—	—	—
Балдоне	0,539	—	—	—	—
Юрмала	0,484	—	—	—	—
Огре	0,437	—	—	—	—
Кегумс	0,301	—	—	—	—
Лиелварде	0,279	—	—	—	—
Вангажи	0,123	—	—	—	—
Айнажи	0,085	—	—	—	—
Салацгрива	0,085	—	—	—	—
Тукумс	0,042	—	—	—	—
<i>Регион Курземе</i>					
—	—	Ройя	-0,010	Приекуле	-0,580
—	—	Броцены	-0,022	Скрунда	-0,846
—	—	Гробиня	0,033	—	—
—	—	Сабиле	-0,121	—	—
—	—	Стенде	-0,121	—	—
—	—	Талси	-0,121	—	—
—	—	Салдус	-0,122	—	—
—	—	Валдемарпилс	-0,123	—	—
—	—	Павилоста	-0,125	—	—
—	—	Пилтене	-0,180	—	—
—	—	Кулдига	-0,193	—	—
—	—	Дурбе	-0,211	—	—
—	—	Кандава	-0,278	—	—
—	—	Айзпуте	-0,503	—	—
<i>Регион Видземе</i>					
Цесис	0,541	Айзкраукле	-0,113	Апе	-0,512
Валмиера	0,328	Гулбене	-0,248	Алуксне	-0,530
Лигатне	0,205	Мазсалаца	-0,295	Лубана	-0,623
Лимбажи	0,155	Мадона	-0,360	Алойя	-0,658
Смилтене	0,144	Руйиена	-0,438	Ауце	-0,681
—	—	Валка	-0,504	Плявиня	-0,694
—	—	—	—	Стайцеле	-0,658
—	—	—	—	Цесвайне	-0,757
—	—	—	—	Стренчи	-0,879
—	—	—	—	Седа	-0,879
—	—	—	—	—	—
<i>Регион Земгале</i>					
Иецава	0,172	Добеле	-0,073	Яунелгава	-0,578
—	—	Бауска	-0,207	—	—
—	—	Кокнесе	-0,207	—	—
—	—	Акнисте	-0,246	—	—
—	—	Виесите	-0,485	—	—

Окончание табл. 2

Группа А		Группа В		Группа С	
Город	Значение индекса	Город	Значение индекса	Город	Значение индекса
<i>Регион Латгале</i>					
—	—	—	—	Варакляни	-0,657
—	—	—	—	Прейли	-0,663
—	—	—	—	Ливаны	-0,674
—	—	—	—	Субате	-0,846
—	—	—	—	Илуксте	-0,919
—	—	—	—	Балви	-0,929
—	—	—	—	Виляка	-1,224
—	—	—	—	Лудза	-1,271
—	—	—	—	Краслава	-1,302
—	—	—	—	Резекне	-1,335
—	—	—	—	Дагда	-1,439
—	—	—	—	Виляны	-1,460
—	—	—	—	Карсава	-1,472
—	—	—	—	Зилупе	-1,702

Как видно из таблицы 2, только в Рижском регионе и Пририжье все малые города относятся к первой группе А более развитых территорий страны. Одно из самых высоких значений ИТР (1,435) имеет город Баложи, расположенный в 10 км от Риги, с населением 6642 чел. (2019), из которых пенсионеров — 4526 со средней пенсией 407 евро (2019)¹⁶. Уровень безработицы в Баложи — 3,2%. Нетто заработной платы в частном секторе — 1126 евро/мес., а в государственном секторе — 753 евро/мес. (2020). Такое положение обусловлено давним производственным опытом города в добыче торфа, выпуске техники для торфяной промышленности. Это способствовало тому, что крупнейшее в Латвии дочернее датское предприятие «ООО Pindstrup Latvia» по производству торфяного субстрата открыло в 2016 г. в Баложи новый завод по изготовлению древесного волокна на экспорт в более чем 100 стран мира для профессиональных питомников по выращиванию саженцев. Предприятие обеспечивает около 500 высокооплачиваемых рабочих мест¹⁷.

Ко второй группе В относится большинство (80%) малых городов с примыкающими окружными поселениями северо-западного Курземского региона страны. Здесь самое низкое значение отмечается у города Вентспилса (-1,117) по экономическим причинам (санкции против России привели к значительному падению объемов работы городского морского порта). В эту же группу входят две трети (67%) малых городов с округами в северо-восточном Видземском регионе Латвии. Большинство (60%) малых городов с округами в юго-западном Земгальском регионе страны относится ко второй группе территорий, а 40% — к третьей группе.

В третью группу С входят практически все малые города региона Латгале. Здесь в малых городах безработных в два-три раза больше, чем в среднем по стране, а доход на одного жителя составляет 51% от среднего уровня в Латвии¹⁸. Однако и в Латгале есть малые города с относительно высоким значением ИТР среди других

¹⁶ Regional development indicators module, 2019, RAIM.gov.lv, URL: <https://raim.gov.lv/ru/node/37> (дата обращения: 26.08.2022).

¹⁷ Артеменко, В., Ермакова-Зайковска, Я. Баложи открыли завод по производству древесного волокна, 2016, *Latvijas Sabiedriskie Mediji*, URL: <https://lr4.lsm.lv/lv/raksts/den-za-dnem/v-balozhi-otkrili-zavod-po-proizvodstvu-drevesnogo-voлокna.a74318/> (дата обращения: 10.03.2022).

¹⁸ Par Reģionālās politikas pamatnostādņēm 2021.-2027. Gadam, 2019, *Latvijas republikas tiesību akti*, URL: <https://likumi.lv/ta/id/310954-par-regionalas-politikas-pamatnostadnem-2021-2027-gadam> (дата обращения: 10.06.2022).

городов региона. Это г. Варакляне (–0,657) с 1764 жителями в 2019 г., где на бывшей льняной фабрике на основе глубокой переработки древесины создано производство экологически чистого твердого топлива — древесных гранул и брикетов из опилок. Инвестор из Австрии в 2016 г. вложил 1,7 млн евро (100 %) в это производство, где заняты 50 работников. Экспорт продукции идет в основном в Данию и Швецию. Отметим, что леса в Латвии занимают 3 млн га, из них более половины частные, а крупнейшие собственники — иностранные компании, банки¹⁹.

Можно со сдержанной осторожностью утверждать, что иностранные инвесторы вкладывают капиталы в региональные малые города с устойчивым опытом индустриальной деятельности, имеющие соответствующие здания, коммуникации, мультимодальные транспортные сети, и организуют высоко рентабельные производства по вывозу чистой добавленной стоимости из страны. Те же малые города, где не было развитого промышленного производства, остаются пока вне интересов иностранных инвесторов, поэтому осваивают бизнес-деятельность в строительстве, ремонте, услугах, не выходящих за рамки локальной территории и имеющих невысокую доходность. К таким городам относятся, например, г. Зилупе (–1,702) в Латгале около границы с Россией, который имеет самое низкое значение ИТР не только в регионе, но и в Латвии.

Обобщая, следует отметить, что в Латвии более развитые малые города находятся в Рижском регионе и в Пририжье (группа А). Менее развитые региональные малые города расположены в Курземе, Видземе, Земгале (группа В). Слабо развитые региональные малые города — в Латгале (группа С). В целом малые города Латвии относятся по своему социально-экономическому развитию к группе В (табл. 3).

Таблица 3

Среднее значение ИТР малых городов Латвии по регионам

Регион Латвии (количество малых городов)	Среднее значение ИТР	Группа
Рижский и Пририжье (15)	0,554	А
Курземе (16)	–0,22	В
Видземе (21)	–0,355	В
Земгале (7)	–0,232	В
Латгале (14)	–1,352	С
Латвия в целом (73)	–0,277	В

История социально-экономического развития Латвии (аграрно-индустриальный и транзитный характер территории страны) сформировала четыре модели малых городов с необходимыми ресурсами развития: город-спутник (не далее 50—60 км от крупного города) с возможностями инновационного развития; индустриальный город средних и ниже технологий производства; агропромышленный город; рекреационно-туристический город с традициями народных ремесел.

Результаты анализа показывают, что особенностью Латвии является крайне несбалансированное социально-экономическое развитие территории страны. Вряд ли можно согласиться с отдельными авторами, которые считают существующую дифференциацию локальных территорий приемлемой для их выживания и развития. По их мнению, форма дифференциации внутренних регионов Латвии по показанию их «успешности роста» соответствует нормальному распределению на основе регионального Индекса развития человеческого потенциала в соответствии с кривой Гаусса [24]. Возможно, такое понимание свидетельствует об отходе от

¹⁹ Lursoft: латвийские леса почти все принадлежат иностранцам, 2021, *SPUTNIK Латвия*, URL: <https://lv.sputniknews.ru/20210925/-lursoft-latviyskie-lesa-pochti-vse-prinadlezhat-inostrantsam-18571178.html> (дата обращения: 26.06.2022).

многофакторности как методологического принципа анализа социально-экономических процессов в междисциплинарном их исследовании. По экономическому потенциалу различают два полюса: «центр» (Рига с Пририжьем) и «периферия» (все остальные регионы с малыми городами). Экономический потенциал страны на $\frac{2}{3}$, а хозяйственная активность от $\frac{1}{2}$ до $\frac{2}{3}$, концентрируется в Рижском регионе с Пририжьей. Это накладывает значительные трудности на развитие малых городов, объясняет иерархию и экономический профиль их развития в регионах страны²⁰. Отдельные малые города республиканского значения, такие как Валмиера, где в 2018 г. проживало 23 тыс. чел., а ВВП на 1 чел. составлял 16,7 тыс. евро, и Вентспилс, где в 2018 г. проживало около 35 тыс. чел., а ВВП на 1 чел. составлял 13,8 тыс. евро, получают более высокие оценки общего уровня экономического развития, но при этом демонстрируют сравнительно невысокие темпы локального развития. Разные города уже имеют сформировавшийся экономический профиль и свою экономическую специализацию, например Вентспилс (морская перевозка грузов), Краслава (легкая промышленность и деревообработка), Прейли (переработка продуктов питания) и пр.

Малые города Латвии пока не могут выступать в качестве локальных центров инновационного развития, за редким исключением. Например, производство оптического стекловолокна в г. Ливаны, в Латгале; производство натуральной косметики фирмы «Мадара» в г. Марупе, химико-фармацевтический завод в г. Олайне — последние два находятся в Рижском регионе. Другие города еще не соответствуют критерию инновационного развития локальной территории (создание своих наукоемких технологий при производстве продукции), который достигается при локальном уровне эффективности хозяйствования, где ВВП на 1 чел. превышает 16 тыс. евро. В Латвии этому критерию среди малых городов соответствуют в переходной степени Валмиера, Вентспилс и Саласпилс. Все другие региональные малые города страны отвечают пока критерию инвестиционного развития локальной территории (использование имеющихся наукоемких технологий при производстве продукции), который достигается при локальном уровне эффективности хозяйствования, где ВВП на 1 чел. составляет от 7 тыс. до 16 тыс. евро. Они имеют возможности предоставления специализированных товаров и услуг, расширения межсезонных и всесезонных видов деятельности, чтобы обеспечить максимально возможную занятость экономически активных жителей [25].

В отдельных малых городах преобладают филиалы предприятий Риги, разных стран ЕС, других стран. В большинстве других — индивидуальные коммерсанты, общества с ограниченной ответственностью и фермерские хозяйства, производящие и продающие промышленные товары в небольших объемах (как и товары переработки сельхозпродукции), выполняющие ремонт и обслуживание бытовой и автотехники, а также работники бюджетных сфер. Местное самоуправление обычно является работодателем на территориях с небольшим населением в маленьких краевых городах и в сельской местности. Структура экономики Латвии в 2020 г. на 73,0% состояла из сферы услуг (традиционных и посреднических), на 4,6% — из аграрного сектора, а доля обрабатывающей промышленности составляет 15,4% в общем промышленном производстве (22,4%)²¹. Из реальных секторов латвий-

²⁰ Par Reģionālās politikas pamatnostādņēm 2021.-2027. Gadam, 2019, Latvijas Republikas tiesību akti, URL: <https://likumi.lv/ta/id/310954-par-regionalas-politikas-pamatnostadnem-2021-2027-gadam> (дата обращения: 15.08.2022).

²¹ Statistical Yearbook of Latvia 2021. Central Statistical Bureau of Latvia, Riga, 2022, p. 138, URL: https://business.gov.lv/sites/default/files/202201/Nr_01_Latvijas_statistikas_gadagramata_2021_Statistical%20Yearbook%20of%20Latvia_%2821_00%29_LV_EN.pdf (дата обращения: 10.09.2022).

ской экономики заметны на рынке лесная, пищевая, легкая промышленность, химическая промышленность, промышленное производство (машиностроение), деревообработка, металлообработка, сельское хозяйство (агропромышленность) и некоторые другие. При этом их производство в 2019 г. выросло, но его объем не обеспечивает полную занятость экономически активного населения в реальном секторе экономики. В экономике страны преобладают средне- и низкотехнологичные уровни производства. На долю продукции высокой и средней технологичности производства соответственно приходится 6,8 % (биотехнологии и фармацевтика, оборудование в сфере информационно-коммуникационных технологий) и 33,2 % (машиностроение), а на долю продукции низкой технологичности (первичная деревообработка, легкая промышленность, продукты питания и др.) — 60 % общего объема производства²². Поэтому в малых городах «периферии», где основную роль играет средне- и низкотехнологичное производство продукции, самоуправления все больше внимания уделяют привлечению туристов для обеспечения занятости жителей и поступлений средств в бюджет муниципалитетов. Однако и эта отрасль переживает не лучшие времена, даже опираясь на имеющиеся инструменты финансовой поддержки бизнеса вследствие вирусной пандемии 2020 г., широкого пакета санкций 2022 г. против России из-за ее спецоперации на Украине.

Структурные и инвестиционные фонды ЕС в жизнедеятельности малых городов Латвии играют заметную роль в выживании этих городов через поддержку проектов малого и среднего бизнеса их жителей, развитие городской инфраструктуры, городской среды, но для стимулирования общегородского развития (создания новых рабочих мест, новых средне- и высокотехнологичных производств в рамках национального и международного разделения труда) этого недостаточно. Здесь необходимы государственные целевые инвестиции в форме частно-государственного партнерства с приданием городским, краевым и районным властям большей автономии и гибкости в планировании своего городского пространственного развития, в поиске новых интегрированных форм сотрудничества между соседними малыми городами региона.

Уровень развития региональных малых городов зависит как от бизнес-среды, поддержки различных фондов ЕС, так и от полученных местным самоуправлением налоговых платежей: большей части подоходного налога с населения и налога на недвижимость. Также значительную часть доходов составляют полученные выплаты (трансферты) из государственного бюджета для обеспечения возможности реализации делегированных государством функций, в основном в сфере образования и транспортной мобильности жителей, а также полученные выплаты местными самоуправлениями из фонда выравнивания финансов самоуправлений Латвии. Меньшую часть составляют доходы от платных услуг, сборов, аренды имущества и прочего, предоставляемые местными органами власти. При этом индекс фискальной автономии местных самоуправлений равен лишь 16 из 100 единиц, хотя индекс вертикального влияния местных самоуправлений (малых городов) на принятие решений с учетом местных интересов гораздо выше: 67 из 100 [26]. Поэтому роль местных органов власти в финансах сектора государственного управления в Латвии заметно значима. Финансы всех органов местного самоуправления в стране составляют $\frac{1}{3}$ бюджета центрального правительства [27]. В рамках имеющихся ресурсов органы местного самоуправления обеспечивают и развивают местную инфраструктуру, доступ к медицинскому обслуживанию и образование для населения

²² Centrālās statistikas pārvalde datu bāze. Uzņēmumu uzņēmējdarbības rādītāji apstrādes rūpniecībā pēc tehnoloģiskās intensitātes, 2019, *Centrālās statistikas Portāls Latvijas oficiālā statistika*, URL: https://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/uzn/uzn__uzndarb/SBG040.px (дата обращения: 15.08.2022).

(от дошкольного до общего среднего), а также доступность других услуг. Другими важными факторами для развития малых городов являются улучшение транспортной доступности территории и мобильности жителей; придание динамики экономической деятельности и создание новых форм и мест занятости горожан; активизация набора мер по поддержке рождаемости и закреплению молодого и активного населения в городе (работа, жилье, образование, медицина). К преимуществам малых городов Латвии можно отнести хорошую экологию для здоровья, соответствующую человеку городскую среду, относительно недорогое жилье и жизнь, создание пространственного и ментального каркаса страны²⁵.

Выводы

Исследование показало значительную дифференциацию в развитии малых городов Латвии, которое имеет выраженную региональную «окраску» и связано со сложившимися особенностями пространственного развития страны по принципу «центр — периферия». Приведенный индексный метод оценки развития региональных малых городов доказательно это демонстрирует. Другая особенность неравенства в развитии региональных малых городов связана с наличием или отсутствием у них длительного и активного опыта индустриального или агропромышленного производства. Рассмотренные примеры, а они типичны, это подтверждают.

В целом большинство (44 из 73) малых городов Латвии относится к средней группе (В), не обладающей устойчивой специализацией со средней рентабельностью в реальном секторе экономики. В таких городах нет отечественных/иностраных предприятий крупного бизнеса или их филиалов. Дальнейшее «освоение» иностранным крупным капиталом всех локальных территорий страны в своих интересах – дело будущего. Относительно средний уровень активности бизнес-среды в периферийных малых городах Латвии отражается, таким образом, в замедленном росте качества городской среды. Как правило, в региональных малых городах сравнительно развит один из компонентов (малые и средние предприятия агропромышленного, деревообрабатывающего или промышленного производства, фермерская переработка сельхозпродукции, ремесленные производства, туризм, сфера обслуживания и др.), способствующих, в границах имеющихся возможностей, социально-экономическому развитию города и городской среды.

Наличие небольшой доли инновационного производства и значительная роль структурных и инвестиционных фондов ЕС в развитии малых городов свидетельствуют о значительной их зависимости от внешних ресурсных источников. Вместе с тем судьба малых городов Латвии выглядит пока достаточно оптимистично из-за возможности получать такие средства. Последние имеют большое значение для выживания этих городов через поддержку предпринимательских проектов малого и среднего бизнеса, для развития городской инфраструктуры, хотя для устойчивого развития малых городов этого недостаточно. Функции малых городов в развитии и воспроизводстве общественной жизни Латвии гораздо разнообразнее и глубже экономических функций: малые города способствуют воспроизводству образа жизни и традиционных ценностей латвийского общества, поэтому им требуется поддержка государственной власти в сферах образования, здравоохранения, культуры.

Широкая, исторически сложившаяся сеть малых городов Латвии, в которой многие региональные пространства имеют статус особо охраняемой природной территории, дает ей устойчивые возможности сохранять культурное разнообразие,

²⁵ Pašvaldību 2020. gada publiskie pārskati, 2021, *Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija*, URL: <https://www.varam.gov.lv/lv/pasvaldibu-2020-gada-publiskie-parskati> (дата обращения: 15.04.2022).

экологию окружающей природной среды, развивать трудовой и технологический потенциал, осваивать новые жизненные практики в неоднозначной, с высокой долей неопределенности социально-экономической ситуации в стране и обществе.

Список литературы

1. Черныш, М. Ф., Маркин, В. В. (ред.). 2020, *Пространственное развитие малых городов: социальные стратегии и практики*, М., ФНИСЦ РАН, 523 с., <https://doi.org/10.19181/monogr.978-5-89697-335-5.2020>.
2. Bolinskis, G., Butkevičs, E. 2010, Rural-urban and regional approach comparing human values in Latvia, *Research for Rural Development*, № 2, p. 49—54.
3. Mihnenoka, A., Senfelde, M. 2017, The impact of national economy structural transformation on regional employment and income: The case of Latvia, *South East European Journal of Economics and Business*, vol. 12, № 2, p. 47—60, <https://doi.org/10.1515/jeb-2017-0015>.
4. Biegańska, J., Środa-Murawska, S., Kruzmetra, Z., Swiaczny, F. 2018, Peri-Urban Development as a Significant Rural Development Trend, *Quaestiones Geographicae*, vol. 37, № 2, p. 125—140, <https://doi.org/10.2478/quageo-2018-0019>.
5. Kuznetsova, O. V. 2021, National urban policy in Russia and the European experience, *Balt. Reg.*, vol. 13, № 4, p. 7—20, <https://doi.org/10.5922/2079-8555-2021-4-1>.
6. Pule, B. 2014, *Corporate income taxes an instrument in promotion of Latvian regional development*, Jelgava, LLU, 92 p.
7. Blewitt, J. 2017, *Understanding sustainable development*, London, Routledge, 418 p., <https://doi.org/10.9774/gleaf.9781315465852>.
8. Servillo, L., Hamdouch, A., Atkinson, R. 2017. Small and Medium Sized Towns in Europe: Conceptual, Methodological and Policy Issues, *Journal of Economic and Human Geography*, vol. 08, № 4, p. 365—379, <https://doi.org/10.1111/tesg.12252>.
9. Valtenbergs, V., Fermin, A., Grisel, M. et al. 2015, *Challenges of Small and Medium-Sized Urban Areas (SMUAs), their economic growth potential and impact on territorial development in the European Union and Latvia*, Valmiera, Vidzeme University, 158 p.
10. Nipers, A., Pilvere, I., Bulderberga, Z. 2017, Territorial development assessment in Latvia, *Research for Rural Development*, vol. 2, p. 126—134, <https://doi.org/10.22616/rrd.23.2017.059>.
11. Zaluksne, V., Bulderberga, Z., Rivza, B. 2016, Latvian urban system in context of transformation of health care system in economic crisis period, *International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM*, vol. 3, p. 321—326, <https://doi.org/10.5593/SGEM2016/B53/S21.041>.
12. Šipilova, V., Ostrovska, I., Aleksejeva, L., Jermolajeva, E., Oļehnovičs, D. 2017, A Review of the Literature on Smart Development: Lessons for Small Municipalities, *International Journal of Economics and Financial Issues*, vol. 7, № 1, p. 460—469.
13. Aleksejeva, L., Šipilova, V., Jermolajeva, E., Ostrovska, I., Oļehnovičs, D. 2018, Regional risks and challenges in smart growth in Latgale Region (Latvia), *Journal of Security and Sustainability Issues*, vol. 7, № 4, p. 727—739, [https://doi.org/10.9770/jssi.2018.7.4\(10\)](https://doi.org/10.9770/jssi.2018.7.4(10)).
14. Rivza, B., Kruzmetra, M., Sunina, L. 2018, Changes in composition and spatial distribution of knowledge-based economy in rural areas of Latvia, *Agronomy Research*, vol. 16, № 3, p. 862—871, <http://dx.doi.org/10.15159/ar.18.147>.
15. Lazdiņš, A., Popluga, D. 2017, Latvijas degradēto teritoriju iesaistīšanas tautsaimniecībā iespēju risinājumi, *Sociālo Zinātņu Vēstnesis*, № 2, p. 75—86.
16. Libkovska, U., Ozola, I. 2019, Attraction of investment to degraded territory revitalisation for business development in Latvia, *International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM*, vol. 19, № 5.3, p. 77—84, <https://doi.org/10.5593/sgem2019/5.3/S21.010>.
17. Воронов, В. В., Ружа, О. П. 2020, Опыт Латвии в развитии малых городов: возможности и барьеры, *Пространственное развитие малых городов: социальные стратегии и практики*. М.: ФНИСЦ РАН, 2020, с. 422—448, <https://doi.org/10.19181/monogr.978-5-89697-335-5.2020>.
18. Visvaldis, V., Ainhova, G., Ralfs, P. 2013, Selecting indicators for sustainable development of small towns: The case of Valmiera municipality, *Procedia Computer Science*, № 26, p. 21—32, <https://doi.org/10.1016/j.procs.2013.12.004>.

19. Reinholde, I., Stučka, M. 2020, Urban Governance in Latvia: Feeling Urban and Thinking Rural, *Urban Book Series*, p. 75—94, https://doi.org/10.1007/978-3-030-29073-3_4.
20. Землянский, Д. Ю., Калиновский, Л. В., Махрова, А. Г. и др. 2020, Комплексный индекс социально-экономического развития городов России, *Известия РАН. Серия географическая*, т. 84, № 6, с. 805—818, <https://doi.org/10.31857/S2587556620060114>.
21. Маркин, В. В., Черныш, М. Ф. (ред.). 2019, *Малые города в социальном пространстве России*, М., ФНИСЦ РАН, 545 с., <https://dx.doi.org/10.19181/monogr.978-5-89697-323-2.2019>.
22. Маркин, В. В., Малышев, М. Л., Землянский, Д. Ю. 2020, Малые города России: комплексный мониторинг развития. Ч. 2, *Мониторинг правоприменения*, № 1, с. 61—74, <https://dx.doi.org/10.21681/2226-0692-2020-1-61-74>.
23. Latviete, I. 2010, Assets of the European union funds on the region development in Latvia, *Research for Rural Development*, № 2, p. 55—62.
24. Комарова, В., Селиванова-Фёдорова, Н., Лонская, Е. 2020, Закономерности дифференциации успешности внутренних регионов стран Европейского Союза, *Sociālo Zinātņu Vēstnesis*, № 1, p. 30—54, [https://doi.org/10.9770/szv.2020.1\(2\)](https://doi.org/10.9770/szv.2020.1(2)).
25. Воронов, В. В., Рачко, Э. Э., Бийжанова, Э. К. 2012, Оценка конкурентоспособности регионов и управление факторами ее повышения (опыт Евросоюза на примере Латвии), *Социологические исследования*, № 5, с. 69—78.
26. Грибанова, Г. И., Соотла, Г., Каттаи, К. 2020, Реформы местного самоуправления в Эстонии: институциональный контекст, намерения и результаты, *Балтийский регион*, т. 12, № 1, с. 32—52, <https://dx.doi.org/10.5922/2079-8555-2020-1-3>.
27. Oliņa, L. 2021, Pašvaldību finanses pārmaiņu priekšā un to izaicinājumi. Rīga: Latvijas Banka, 14 p., URL: <https://www.makroekonomika.lv/pasvaldibu-finanses-parmainu-prieksa-un-izaicinajumi> (дата обращения: 05.05.2022).

Об авторе

Виктор Васильевич Воронов, доктор социологических наук, профессор, главный научный сотрудник, Институт социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра (ФНИСЦ) РАН, Россия.

E-mail: viktor.voronov@du.lv; voronov@isras.ru

<https://orcid.org/0000-0002-1022-3692>



ПРЕДСТАВЛЕНО ДЛЯ ВОЗМОЖНОЙ ПУБЛИКАЦИИ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ЛИЦЕНЗИИ CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION (CC BY) ([HTTP://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BY/4.0/](http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/))

SMALL TOWNS OF LATVIA: DISPARITIES IN REGIONAL AND URBAN DEVELOPMENT

V. V. Voronov

Institute of Sociology the Federal Centre of Theoretical
and Applied Sociology Russian Academy of Sciences
bld. 5, 24/35 Krzhizhanovskogo St., Moscow, 117218, Russia

Received 17.08.2022
doi: 10.5922/2079-8555-2022-4-3
© Voronov, V. V., 2022

The article reports on the results of an economic and sociological study conducted by the Institute of Sociology of the Russian Academy of Sciences in collaboration with Daugavpils University (Latvia) in 2020—2021. The study aimed to identify the reasons for the disparity in the development of small towns in Latvia. A comprehensive approach was taken to integrate the results of territorial, spatial and socio-economic analyses. By employing the methodology

To cite this article: Voronov, V. V. 2022, Small towns of Latvia: disparities in regional and urban development, *Balt. Reg.*, Vol. 14, no 4, p. 39—56. doi: 10.5922/2079-8555-2022-4-3.

of indexing and ranking large-scale empirical data characterising the development of all small towns in Latvia, the authors attempt to identify the reasons for the disparity in the development rate of small towns in Latvia. The index of territorial development of regions, cities and rural settlements was developed and has been tested by the State Agency for Regional Development of Latvia since 2013. The data collected were then analysed taking into account the geographical location of small towns. The research showed that the main factors influencing the development of small towns are the level of business activity and the role of local authorities in the provision of public funding. The article describes prospects for the polycentric development of small towns and analyses the ways of reducing disparities in their development in terms of the working and living conditions of their residents.

Keywords:

regions, small towns, polycentrism, territorial development index, disparity, Latvia

References

1. Chernysh, M. F., Markin, V. V. (ed.). 2020, Prostranstvennoe razvitiye malyh gorodov: social'nye strategii i praktiki [Spatial Development of Small Towns: Social Strategies and Practices], M., 523 p., <https://doi.org/10.19181/monogr.978-5-89697-335-5.2020> (in Russ.).
2. Bolinskis, G., Butkevičs, E. 2010, Rural-urban and regional approach comparing human values in Latvia, *Research for Rural Development*, №2, p. 49—54.
3. Mihnenoka, A., Senfelde, M. 2017, The impact of national economy structural transformation on regional employment and income: The case of Latvia, *South East European Journal of Economics and Business*, vol. 12, №2, p. 47—60, <https://doi.org/10.1515/jeb-2017-0015>.
4. Biegańska, J., Środa-Murawska, S., Kruzmetra, Z., Swiaczny, F. 2018, Peri-Urban Development as a Significant Rural Development Trend, *Quaestiones Geographicae*, vol. 37, №2, p. 125—140, <https://doi.org/10.2478/quageo-2018-0019>.
5. Kuznetsova, O. V. 2021, National urban policy in Russia and the European experience, *Balt. Reg.*, vol. 13, №4, p. 7—20, <https://doi.org/10.5922/2079-8555-2021-4-1>.
6. Pule, B. 2014, *Corporate income taxes an instrument in promotion of Latvian regional development*, Jelgava, LLU, 92 p.
7. Blewitt, J. 2017, *Understanding sustainable development*, London, Routledge, 418 p., <https://doi.org/10.9774/gleaf.9781315465852>.
8. Servillo, L., Hamdouch, A., Atkinson, R. 2017. Small and Medium Sized Towns in Europe: Conceptual, Methodological and Policy Issues, *Journal of Economic and Human Geography*, vol. 08, №4, p. 365—379, <https://doi.org/10.1111/tesg.12252>.
9. Valtenbergs, V., Fermin, A., Grisel, M. et al. 2015, *Challenges of Small and Medium-Sized Urban Areas (SMUAs), their economic growth potential and impact on territorial development in the European Union and Latvia*, Valmiera, Vidzeme University, 158 p.
10. Nipers, A., Pilvere, I., Bulderberga, Z. 2017, Territorial development assessment in Latvia, *Research for Rural Development*, vol. 2, p. 126—134, <https://doi.org/10.22616/rrd.23.2017.059>.
11. Zaluksne, V., Bulderberga, Z., Rivza, B. 2016, Latvian urban system in context of transformation of health care system in economic crisis period, *International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM*, vol. 3, p. 321—326, <https://doi.org/10.5593/SGEM2016/B53/S21.041>.
12. Šipilova, V., Ostrovska, I., Aleksejeva, L., Jermolajeva, E., Oļehnovičs, D. 2017, A Review of the Literature on Smart Development: Lessons for Small Municipalities, *International Journal of Economics and Financial Issues*, vol. 7, №1, p. 460—469.
13. Aleksejeva, L., Šipilova, V., Jermolajeva, E., Ostrovska, I., Oļehnovičs, D. 2018, Regional risks and challenges in smart growth in Latgale Region (Latvia), *Journal of Security and Sustainability Issues*, vol. 7, №4, p. 727—739, [https://doi.org/10.9770/jssi.2018.7.4\(10\)](https://doi.org/10.9770/jssi.2018.7.4(10)).
14. Rivza, B., Kruzmetra, M., Sunina, L. 2018, Changes in composition and spatial distribution of knowledge-based economy in rural areas of Latvia, *Agronomy Research*, vol. 16, №3, p. 862—871, <http://dx.doi.org/10.15159/ar.18.147>.
15. Lazdiņš, A., Popluga, D. 2017, Latvijas degradēto teritoriju iesaistīšanas tautsaimniecībā iespēju risinājumi, *Sociālo Zinātņu Vēstnesis*, №2, p. 75—86.
16. Libkovska, U., Ozola, I. 2019, Attraction of investment to degraded territory revitalisation for business development in Latvia, *International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM*, vol. 19, №5.3, p. 77—84, <https://doi.org/10.5593/sgem2019/5.3/S21.010>.

17. Voronov, V. V., Ruza, O. P. 2020, Latvian Experience in Small Town Development: Opportunities and Barriers, In: Chernysh, M. F., Markin, V. V. (ed.). 2020, *Prostranstvennoe razvitie malyh gorodov: social'nye strategii i praktiki* [Spatial Development of Small Towns: Social Strategies and Practices], M., p. 422—448, <https://doi.org/10.19181/monogr.978-5-89697-335-5.2020> (in Russ.).
18. Visvaldis, V., Ainhoa, G., Ralfs, P. 2013, Selecting indicators for sustainable development of small towns: The case of Valmiera municipality, *Procedia Computer Science*, № 26, p. 21—32, <https://doi.org/10.1016/j.procs.2013.12.004>.
19. Reinholde, I., Stučka, M. 2020, Urban Governance in Latvia: Feeling Urban and Thinking Rural, *Urban Book Series*, p. 75—94, https://doi.org/10.1007/978-3-030-29073-3_4.
20. Zemlianskii, D. Yu., Kalinovskii, L. V., Makhrova, A. G., Medvednikova, D. M., Chuzhenkova, V. A. Complex socioeconomic development index of Russian cities, *Izvestiya Rossiiskoi Akademii Nauk. Seriya Geograficheskaya*, vol. 84, № 6, p. 805—818, <https://doi.org/10.31857/S2587556620060114> (in Russ.).
21. Markin, V. V., Chernysh, M. F. (ed.). 2019, *Malye goroda v social'nom prostranstve Rossii* [Small towns in the social space of Russia], M., 545 p., <https://dx.doi.org/10.19181/monogr.978-5-89697-323-2.2019> (in Russ.).
22. Markin, V., Malyshev, M., Zemlianskii, D., 2020, Small cities of Russia: an integrative monitoring of development. Part 2, *The Monitoring of Law Enforcement Journal*, № 1, p. 61—74, <https://dx.doi.org/10.21681/2226-0692-2020-1-61-74> (in Russ.).
23. Latvietē, I. 2010, Assets of the European union funds on the region development in Latvia, *Research for Rural Development*, № 2, p. 55—62.
24. Komarova, V., Selivanova-Fyodorova, N., Lonska, J. 2020, Regularities of the performance differentiation of the internal regions of the European Union countries, *Sociālo Zinātņu Vēstnesis*, № 1, p. 30—54, [https://doi.org/10.9770/szv.2020.1\(2\)](https://doi.org/10.9770/szv.2020.1(2)) (in Russ.).
25. Voronov, V. V., Rachko, E. E., Biyzhanova, E. K. 2012, Ocenka konkurentosposobnosti regionov i upravlenie faktorami ee povysheniya (opyt Evrosoyuza na primere Latvii) [Assessment of the competitiveness of regions and management of factors for its increase (experience of the European Union on the example of Latvia)], *Sociological Studies*, № 5, p. 69—78 (in Russ.).
26. Gribanova, G. I., Sootla, G., Kersten, K. 2020, Local government reforms in Estonia: institutional context, intentions and outcomes, *Baltic region*, vol. 12, № 1, p. 32—52, <https://dx.doi.org/10.5922/2079-8555-2020-1-3>.
27. Oliņa, L. 2021, Pašvaldību finanses pārmaiņu priekšā un to izaicinājumi. Rīga: Latvijas Banka, 14 p., URL: <https://www.makroekonomika.lv/pasvaldibu-finanses-parmainu-prieksa-un-izaicinajumi> (accessed 05.05.2022) (in Latvian).

The author

Prof. Viktor V. Voronov, Senior Researcher, Institute of Sociology the Federal Centre of Theoretical and Applied Sociology Russian Academy of Sciences, Russia.

E-mail: viktor.voronov@du.lv; voronov@isras.ru

<https://orcid.org/0000-0002-1022-3692>



SUBMITTED FOR POSSIBLE OPEN ACCESS PUBLICATION UNDER THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION (CC BY) LICENSE ([HTTP://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BY/4.0/](http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/))

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНТЕРНЕТА И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ЦИФРОВОЕ НЕРАВЕНСТВО В РОССИИ: ТЕНДЕНЦИИ, ФАКТОРЫ И ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ

С. П. Земцов¹ 

К. В. Демидова¹ 

Д. Ю. Кичаев²

¹Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 119571, Россия, Москва, просп. Вернадского, 82, пер. 1

²Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, 119991, Россия, Москва, Ленинские горы, 1

Поступила в редакцию 02.08.2021 г.

doi: 10.5922/2079-8555-2022-4-4

© Земцов С. П., Демидова К. В., Кичаев Д. Ю., 2022

Востребованность цифровых технологий во всем мире росла из-за смены техноэкономической парадигмы; в условиях пандемии повысилась потребность в онлайн-сервисах. Но в России существенны различия между регионами в возможностях и умениях использования подобных технологий. В 2020 г. Интернет ускоренно распространялся в большинстве регионов, хотя ранее наблюдалось замедление по мере насыщения рынков, а цифровое неравенство между регионами сократилось. В целом распространение Интернета соответствует закономерностям пространственной диффузии инноваций. Среди лидеров — крупнейшие агломерации и северные регионы, отстают территории с высокой долей сельских жителей. Приморские и приграничные регионы (Санкт-Петербург, Калининградская область, Карелия, Приморский край и др.) имеют лучший доступ к Интернету благодаря близости к центру распространения новых технологий, высокой интенсивности внешних связей. Регионы-лидеры влияют на соседние благодаря площадной диффузии. Эконометрически выявлено, что доступ к Интернету зависит от доходов, среднего возраста и уровня образования населения, а его использование — от сложившегося делового климата и факторов доступности Интернета. Если по доступу к Интернету процессы цифровизации постепенно переходят к этапу насыщения, а разрыв между регионами — двукратный, то по использованию цифровых технологий — разрыв многократный. Так, во многих регионах доля онлайн-торговли, ставшей драйвером развития экономики в период локдаунов, близка к нулю. По результатам исследования сформулированы некоторые рекомендации.

Ключевые слова:

ИКТ, цифровые технологии, цифровая экономика, регионы России, диффузия инноваций, онлайн-торговля, пандемия, эконометрическое моделирование, система уравнений

Для цитирования: Земцов С. П., Демидова К. В., Кичаев Д. Ю. Распространение Интернета и межрегиональное цифровое неравенство в России: тенденции, факторы и влияние пандемии // Балтийский регион. 2022. Т. 14, № 4. С. 57–78. doi: 10.5922/2079-8555-2022-4-4.

Введение

Последние несколько десятилетий происходит активное проникновение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)¹, в частности Интернета, во все сферы человеческой деятельности. Связанные с этим изменения последних лет в технологиях, способах производства, во взаимодействии экономических агентов принято называть *цифровизацией* [1]. Фактически речь идет о технологической революции, отдельные авторы говорят также о новой промышленной революции [2]. Внедрение цифровых технологий, распространение интернет-экономики обеспечило до трети экономического роста Швеции, Германии, Великобритании и других развитых стран [3]. За период 2010—2017 гг. цифровой сектор экономики в России вырос на 17 %, почти вдвое опережая рост ВВП [4], а затраты на развитие цифровой экономики достигли 3,7 % ВВП к 2019 г. (в развитых странах — в 2—3 раза выше) [5]. Рост числа абонентов широкополосного доступа к сети Интернет на 1 % в среднем приводит к 0,1 %-ному приросту ВРП в регионах России, а повышение интенсивности использования — к дополнительному приросту выпуска на 0,05 % [6]. Таким образом, распространение Интернета — значимый фактор экономического роста.

В 2021 г. доля пользователей Интернета превысила 59 % населения Земли, что выше, например, показателей урбанизации. Наиболее высокие значения характерны для стран Северной Европы, в том числе Балтийского региона, Северной Америки, Южной Кореи (более 80 %), а наиболее низкие — для центральноафриканских стран (в некоторых — менее 10 %). В России значение составляет около 77 % [5], но наблюдаются существенные пространственные различия [7].

Распространение (диффузия) технологий неравномерно в пространстве, а глобальный риск роста цифрового неравенства называется одним из наиболее вероятных [8]. Различия между странами, регионами, домохозяйствами в доступе к ИКТ, в умении их использовать росли. Фактически это создает ограничения для части общества в возможности участия в современных экономических процессах, уменьшает доступ к современному дистанционному образованию и телемедицине [9], ограничивает возможности бизнеса по выходу на новые рынки и пр. Так, в России в городах доступ к скоростному Интернету имели около 81 % жителей, а в сельской местности — только 65,8 %². Значимость этих различий обострилась в период внедрения карантинных мер [10].

Внедрение цифровых технологий обеспечило возможность осуществления многих повседневных процессов во время пандемии: дистанционное обучение, электронные госуслуги, доставка товаров и т. д., а также стало одним из факторов

¹ В статье под *цифровыми технологиями* понимается совокупность программно-технических средств, связанных с электронными вычислениями и преобразованием данных, которые используются для хранения и передачи больших массивов данных, обеспечивают высокую скорость вычислений. Близкое понятие «информационно-коммуникационные технологии» (ИКТ) используется в более широком контексте — это совокупность объединенных в одну цепочку программно-технических средств, процессов и методов, которые обеспечивают сбор, хранение, обработку, анализ и распространение информации. ИКТ могут быть основаны не только на цифровых, но и на аналоговых средствах обработки информации. В целом оба понятия используются в статье при описании процесса распространения и использования *Интернета* — всемирной компьютерной сети, предназначенной для хранения, обработки и передачи информации на основе цифровых технологий [1].

² Выборочное федеральное статистическое наблюдение по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей, 2021, *Росстат*, URL: https://gks.ru/free_doc/new_site/business/it/ikt20/index.html (дата обращения: 15.07.2021).

адаптации бизнеса за счет расширения интернет-торговли [11]. В мире и в России повысилась потребность в использовании онлайн-сервисов и «безлюдных» технологий [12]. При этом скорость внедрения новых технологий в мире росла и до коронакризиса [13; 14]. Если раньше, например, для распространения телевидения требовались десятилетия, а в 2020 г. новые интернет-сервисы, например программы видеоконференций (Zoom и прочие), были освоены большинством пользователей за месяцы. Повсеместными стали различные формы удаленной работы. Так, до пандемии удаленный режим работы отмечало только 2 % респондентов, а в мае 2020 г. перешли на него частично или полностью уже 16 % опрошенных³, но если в Москве и Санкт-Петербурге — 29 %, то в сельской местности — менее 10 % опрошенных.

Внедрение цифровых технологий рассматривается правительствами многих стран одновременно как инструмент антикризисных мер и как фактор долгосрочного развития. В частности, в России в план действий по восстановлению экономики в 2020—2021 гг. входили меры по переводу госуслуг в онлайн-формат, а одной из национальных целей развития⁴ обозначен рост доли домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к Интернету, до 97 % (в 2020 г. — около 77 %). Но между регионами сохраняются существенные различия, требующие проведения региональной декомпозиции национальной цели. Для этого необходимо понимание базовых факторов распространения Интернета.

В новых условиях разрыва мировых производственных цепочек в 2022 г., торговых и иных ограничений описанная выше роль цифровых технологий в России повышается. В частности, повсеместное распространение в 2022 г. получили онлайн-магазины (например, Ozon, Wildberries, «Яндекс.Маркет» и др.), обеспечивающие импорт товаров (в том числе параллельный импорт) и их доставку по всей стране. Наблюдается рекордный рост онлайн-торговли⁵.

Цель исследования — описать некоторые общие пространственные тенденции и выявить отдельные значимые факторы, определяющие различия в распространении и использовании Интернета в регионах России в последнее десятилетие. Новизна работы заключается в проведении эконометрического анализа на основе региональных данных за продолжительный период времени с учетом взаимного влияния различных групп технологий на разных уровнях цифрового неравенства. Особое внимание уделено некоторым изменениям в период пандемии.

В статье представлен краткий обзор основных закономерностей распространения новых технологий, выявленных в литературе, для обоснования гипотез эмпирического анализа. Далее рассматриваются три формы цифрового неравенства в регионах России, проводится оценка их взаимосвязей, выявляются отдельные факторы. В заключение приводятся выводы и некоторые рекомендации.

Обзор исследований

Распространение новых технологий, в том числе цифровых, между странами и регионами в целом подчиняется классическим закономерностям диффузии инноваций [15—17]. В мире накоплен большой опыт подобных исследований (см. подробный обзор в [18]).

³ ВЦИОМ: число работающих удаленно россиян во время пандемии возросло в восемь раз, 2020, ТАСС, URL: <https://tass.ru/ekonomika/8478435> (дата обращения: 14.11.2021).

⁴ О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года : указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474. 2020, *Президент России*, URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/45726> (дата обращения: 14.11.2021).

⁵ Онлайн-продажи в России за год выросли почти в 1,5 раза — до 2,3 трлн рублей, 2022, *Ведомости*, URL: <https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/08/10/935478-onlain-prodazhi-rossii-virosli> (дата обращения: 14.08.2022).

Общество в зависимости от скорости освоения новой технологии можно разделить на несколько групп (по Э. Роджерсу [15]): новаторы, ранние последователи, раннее большинство, консерваторы. Изначально распространение новой технологии во многом повторяет существующие паттерны социально-экономического неравенства и может их усилить. Если рассматривать страну как единое сообщество, то подобные закономерности можно увидеть между регионами [17; 18]. К регионам-новаторам в России обычно относятся глобальные города — Москва и Санкт-Петербург, к ранним последователям — Московская область и крупнейшие агломерации, а к отстающим — слаборазвитые регионы Северного Кавказа, Южной Сибири, сельские территории. При этом уровень проникновения новой технологии зависит от инновационно-географического положения региона, то есть близости или удаленности от источника инновации ([10]). В регионах-новаторах выше доля потенциальных пользователей, раньше начало диффузии и скорость распространения. Близость к инновационному ядру определяет особое положение приморских и отдельных приграничных регионов [18; 19], куда новые технологии могут приходиться раньше. Плотность контактов и коммуникаций с ядром в них выше, например у Северо-Западных регионов России — со странами Северной Европы.

При описании пространственных закономерностей диффузии выделяют три основных модели [18; 20]: площадную (или соседства), каскадную (или иерархическую) и сетевую (цепную). В первом случае распространение идет в ближайшие поселения, во втором — по иерархии городов, а в третьем — по сетевому принципу. Также можно выделить директивную форму распространения, когда государство определяет направления и пути внедрения технологии, например при распространении электронных госуслуг.

Неоднородность социально-экономического пространства и неравномерность процесса распространения ИКТ породили проблему *цифрового неравенства*, или *цифрового разрыва* (от англ. digital divide)⁶. Под ними понимаются различия в доступе к инфраструктуре ИКТ, навыках и целях использования цифровых технологий. Выделяются три основных уровня:

- 1) доступ в Интернет: наличие физической инфраструктуры и доступность с точки зрения стоимости подключения и абонентской платы [21; 22];
- 2) умение жителей пользоваться цифровыми технологиями: цифровая грамотность, компетенции, умение заказывать товары, услуги и т. д. [23];
- 3) умение жителей и предпринимателей применять Интернет для коммерческих целей: размещение онлайн-заказов, интернет-банкинг, электронная коммерция (e-commerce) и т. д. [24; 25].

Большая часть исследований посвящена какому-либо одному из указанных уровней [26]. Но высокая доступность технологии может и не влиять на уровень ее использования населением [23; 26]. Соответственно, наличие Интернета в конкретных поселениях может и не способствовать экономическому росту и повышению качества жизни населения, хотя именно к этому стремится государство, внедряя различного рода программы поддержки цифровизации.

Действия человека относительно новой технологии зависят и от личностных факторов (возраст, пол, опыт, склонность к риску и т. д.), и от факторов среды, например культуры местного сообщества [22; 27; 28]. Поэтому для исследования этих процессов применяют большой набор социологических [29] и статистических методов.

⁶ В нашем исследовании мы фактически используем оба понятия как синонимичные. Хотя под «разрывом» часто понимают высокое и нарастающее неравенство.

В работах по эконометрическому анализу факторов цифрового неравенства (табл. 1) в качестве зависимых переменных (факторов) чаще всего выступают различные характеристики распространения цифровых технологий, например наличие разных каналов подключения и стоимость подключения. Один из базовых факторов неравенства — различия в уровне социально-экономического развития между регионами, измеряемые, например, разницей в ВРП на душу населения. Проблема в том, что сами цифровые технологии также способны влиять на ВРП, о чем уже говорилось выше. Поэтому при построении эконометрических моделей используются различные способы избежать подобной эндогенности между переменными: обобщенный метод моментов (подход Ареллано — Бонда) или двухшаговый метод наименьших квадратов (МНК).

Таблица 1

**Обзор переменных и методов исследований
цифрового неравенства**

Авторы	Зависимая переменная, оценивающая цифровое неравенство	Независимые переменные — факторы (направление влияния)	Метод расчета
Grosso, 2007 [30]	Количество абонентов широкополосной связи	Наличие разных каналов подключения (+), ВВП на душу населения (+)	Обобщенный метод наименьших квадратов для панельных данных (Panel EGLS)
Lin, Wu, 2013 [31]	Количество абонентов широкополосной связи на душу населения	Наличие разных каналов подключения (+), стоимость подключения (-)	Обобщенный метод моментов (GMM)
Наусар et al., 2016 [32]	Уровень проникновения широкополосного доступа, %	Стоимость подключения (-), разнообразие тарифов (+), доходы населения (+), высокий уровень образования (+)	Двухшаговый метод наименьших квадратов (2SLS)
Lucendo-Monedero et al., 2019 [33]	Индекс цифрового развития домашних хозяйств и отдельных лиц	Влияние соседних регионов (+)	Индекс Морана I
Szeles, 2018 [34]	Доля интернет-пользователей и пользователей электронной коммерции, %	Высокий уровень образования (+), затраты на научные исследования (+), экономический рост (+/-)	Многоуровневое моделирование (MLM)
Vicente, López, 2011 [35]	1. Доля домохозяйств, имеющих доступ к Интернету, %. 2. Доля домохозяйств с широкополосным подключением. 3. Доля лиц, регулярно пользующихся Интернетом, %. 4. Доля лиц, заказавших товары или услуги онлайн, %	ВВП на душу населения (+), высокий уровень образования (+), возраст (-/+), занятость в услугах (+)	Факторный анализ для зависимых переменных

Окончание табл. 1

Авторы	Зависимая переменная, оценивающая цифровое неравенство	Независимые переменные — факторы (направление влияния)	Метод расчета
Pick, Sarkar, Johnson, 2015 [36]	1. Доля домохозяйств с настольным компьютером или ноутбуком, %. 2. Доля от общего числа домохозяйств с широкополосным доступом в Интернет, %.	Влияние соседних регионов (+), высокий уровень образования (+/-), индекс социального капитала Патнэма (+)	Методы: кластерный анализ (метод k-средних) индекс Морана I, МНК
Pick, Sarkar, Parrish, 2021 [37]	3. Доля лиц в возрасте 18 лет и старше, проживающих в домохозяйствах, имеющих только беспроводные телефоны, %. 4. Количество абонентов мобильных беспроводных высокоскоростных устройств на душу населения	Деловой климат (+), высокий уровень образования (+/-), индекс человеческого развития (+),	Двухшаговый МНК(2SLS)

Источник: составлено авторами на основе приведенных исследований.

Также на доступность Интернета влияют доходы населения, размер города и плотность жителей, иными словами — размер потенциального рынка для интернет-провайдеров [35]. Умение использовать Интернет зависит от доходов, уровня образования и возраста потенциальных пользователей [36]. А вот умение извлекать прибыль с помощью Интернета зависит от сложившегося делового климата, в частности конкуренции компаний на основе инноваций за рынки сбыта, в том числе в онлайн-секторе [37]. В отдельных работах [33; 36] показано влияние ситуации в соседних регионах, то есть диффузия соседства; для оценки этой связи используется, например, индекс Морана I.

Гипотезы, данные и методика исследования

Выявленные за рубежом закономерности не всегда могут быть напрямую применимы для регионов России. Среди сдерживающих факторов развития ИКТ в России отмечаются относительно низкий уровень доходов населения, неразвитость инфраструктуры в сельской местности, слабая востребованность новых технологий бизнесом на неконкурентных рынках [18; 38; 39]. При анализе отечественных данных практически не применяются эконометрические методы. Рассматривался обычно один год и одна технология.

Исходя из проведенного обзора литературы и последних тенденций нами проверялось несколько гипотез:

1. Различия между регионами России в уровне проникновения Интернета в целом соответствуют выявленным в литературе пространственным особенностям и факторам диффузии инноваций (табл. 2). В частности, на цифровое неравенство влияют различия в доходах, уровне образования, развитии бизнеса, а также географические характеристики региона: близость к источнику инноваций (диффузия соседства) и наличие крупного города (иерархическая диффузия). Доступность Интернета влияет на его использование, в частности на распространение онлайн-торговли, что ранее не анализировалось.

Таблица 2

Индикаторы и факторы цифрового неравенства

Переменная	Расшифровка	Возможное направление влияния
<i>Зависимые переменные</i>		
intern1	Удельный вес домашних хозяйств, имеющих доступ к Интернету с домашнего компьютера, %	
intern2	Доля домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к Интернету, %	
intern3	Доля населения, являющегося активными пользователями Интернет, %	
intern4	Доля населения, использовавшего Интернет для заказа товаров и/или услуг, %	
intern5	Доля продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли, %	
<i>Финансовая доступность Интернета (доходы жителей и стоимость услуг)</i>		
intprice	Отношение абонентской платы за доступ к Интернету к средним доходам населения, %	-
income	Отношение номинальных денежных доходов с учетом межрегиональных цен к прожиточному минимуму, %	+
market_inc	Сумма денежных доходов всех жителей за вычетом прожиточного минимума, млрд руб.	+
<i>Характеристики человеческого капитала</i>		
heurb	Доля занятых горожан с высшим образованием в общей численности населения региона, %	+
old	Доля постоянного населения старше трудоспособного возраста (> 59 для мужчин; > 54 для женщин), %	-
<i>Институциональные условия (деловой климат и развитие бизнеса)</i>		
SME	Число малых предприятий, включая микро, на 1000 ЭАН, ед.	+
inform	Доля занятых в неформальном секторе, %	-
<i>Экономико-географические характеристики диффузии инноваций</i>		
centr	Численность населения города — центра региона (оценка на конец года), тыс. чел.	+
intern_n	Средний уровень распространения Интернета среди домохозяйств в соседних регионах	+

Источник: составлено авторами на основе обзора литературы.

2. Распространение цифровых технологий в регионах России в 2020 г. ускорилось из-за роста востребованности удаленных сервисов в период пандемии [14]. Этот тезис широко представлен в литературе, впрочем, максимальные скорости распространения этих технологий могли быть уже достигнуты ранее, так как более половины домохозяйств используют Интернет. Согласно теории диффузии инноваций, в этом случае скорость распространения снижается.

3. Межрегиональное цифровое неравенство в России в 2020 г. выросло из-за увеличивающегося разрыва между богатыми и бедными регионами. Однако, согласно теории пространственной диффузии, неравенство могло снижаться на завершающих стадиях диффузии.

Для подтверждения гипотез подробно рассматривалась пространственная дифференциация и динамика показателей по регионам России за последний до-

ступный период 2014—2020 гг. на основе предоставляемых Росстатом данных⁷ (табл. 2). Насколько нам известно, все три уровня цифрового неравенства ранее для России подробно не анализировались. Использовалось несколько показателей для целей верификации. Первый уровень (*доступ к интернет-инфраструктуре*) измеряется через показатель доли домохозяйств, имеющих доступ с компьютера (*intern1*) [36] и широкополосный доступ к Интернету (*intern2*) [31]. Второй уровень (*умение использовать Интернет*) измеряется как интенсивность использования Интернета (не реже одного раза в неделю) (*intern3*) [35], а также его применение для заказа товаров и/или услуг (*intern4*)⁸ [34]. Для третьего уровня (*умение применять Интернет для коммерческих целей*) нами взят показатель доли онлайн-сектора в торговле⁹ (*intern5*), который ранее не использовался с этими целями. Последний показатель напрямую не связан с населением, но косвенно отражает способность жителей и предпринимателей (владельцев интернет-магазинов и точек продаж) использовать Интернет для получения экономических выгод. Других близких показателей для наших целей в статистике не обнаружено. К тому же актуальность исследования процессов распространения онлайн-торговли резко повысилась в последние годы.

Для проверки первой гипотезы также проведены эконометрические расчеты по выявлению детерминант цифрового неравенства (табл. 2). Мы предложили и применили несколько индикаторов для оценки каждого из основных факторов, выявленных в литературе: финансовая доступность Интернета [31; 32], характеристики пользователей [34—36], институциональные условия [37] и экономико-географические особенности регионов [18; 19; 33; 36]. В одной модели использовались слабо коррелирующие показатели, чтобы избежать мультиколлинеарности. В конечную модель отобраны лишь значимые переменные. Ранее для оценок на основе российских данных не использовалась система уравнений. Это позволило избежать уже упоминавшейся проблемы коррелированности эндогенных переменных и снизило смещение оценок.

В статье даны оценки изменения межрегионального цифрового неравенства под влиянием пандемии и в предшествующие годы. Для целей верификации использовано несколько индикаторов, характеризующих степень дисперсии массива данных: коэффициент вариации, отношение максимального значения к минимальному и индекс Тейла. Оценена зависимость скорости роста показателя от его базового значения в предыдущий год для проверки третьей гипотезы о дивергенции значений между регионами.

⁷ Выборочное федеральное статистическое наблюдение по вопросам использования населением информационных технологий, 2020, *Росстат*, URL: https://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/it/ikt20/index.html (дата обращения: 15.07.2021). Так как применялись результаты выборочных обследований населения, высока межгодовая вариация показателей в отдельных регионах, особенно менее развитых. Есть и определенные сомнения в корректности статистической выборки для последних в условиях слабого гражданского контроля. Искажения могут быть вызваны смещенностью выборки в сторону городских более образованных жителей, в то время как большинство жителей могли не иметь возможности или желания участвовать в опросах. Например, высоки значения по доле домохозяйств, имеющих скоростной Интернет, в Тыве (рис. 1). Но иного источника данных за продолжительный период времени по всем регионам в России нет.

⁸ В некоторых случаях показатель может использоваться для измерения и третьего уровня неравенства, так как заказы населения и размещение товаров бизнесом сильно коррелируют.

⁹ Доля продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли, 2022, *ЕМИСС*, URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/50236> (дата обращения: 15.07.2022).

Результаты исследования

География цифрового неравенства в России

Первый тип цифрового неравенства оценивался через показатели доступа к ИКТ-инфраструктуре. Основу устойчивого использования Интернета составляют технологии широкополосного доступа (ШПД): оптоволоконные кабели, выделенные линии, 4G и т.д. В 2020 г. в России доступ к быстрому Интернету имели 77 % домашних хозяйств (рис.1).

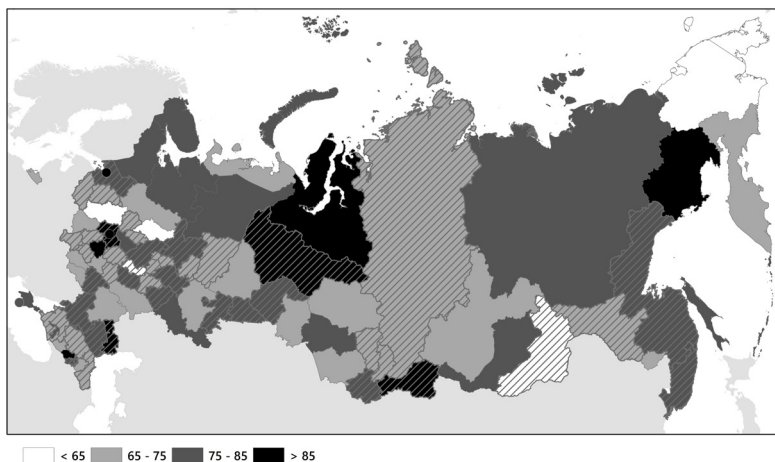


Рис. 1. Доля домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к Интернету в 2020 г., %

Примечание: штриховкой выделены регионы, в которых значение показателя выросло в 2020 г., а темп роста в 2020 г. был выше, чем в 2019 г.

В среднем больше доля в крупнейших агломерациях с повышенным спросом на соответствующие технологии и высокой конкуренцией провайдеров, снижающих цену на Интернет: Москве, Санкт-Петербурге (87%), Тюмени, Казани, Самаре, Воронеже, в соседних с ними регионах (Тульская, Московская, Ленинградская области), а также на Севере (ЯНАО, ХМАО, Магаданская, Мурманская области, Карелия), где востребованы услуги связи в условиях высокой изоляции, а также необходимость взаимодействия с «большой землей». Кроме того, в северных регионах больше доходы жителей и концентрация населения в городах, где доступ традиционно выше. Больше среднероссийского значения доля в приморских регионах: Приморском, Хабаровском краях, в Крыму, Ростовской, Сахалинской и Ленинградской областях — благодаря высокой интенсивности межрегиональных и международных взаимодействий. Хуже всего дела обстоят в Чукотском АО (46,3%), Тверской области (59,2%), Забайкальском крае (61,7%), Мордовии и Костромской области. Чукотка и Забайкалье имеют большое число удаленных поселений, а остальные регионы — сельских поселений. В них слабо развита магистральная цифровая инфраструктура, в то же время обычно больше доля пожилых жителей с низким уровнем образования и доходов, а соответственно, меньше и востребованность Интернета. В целом географическая картина соответствует выявленным в литературе закономерностям.

Второй индикатор — доля домашних хозяйств, имеющих доступ к Интернету с домашнего компьютера (ПК) (65,9% для России), — в меньшей мере связан с развитием мобильной связи и требует от домохозяйств дополнительных расходов на приобретение ПК. В целом географическая картина довольно близкая. В сельских

и горных регионах высока стоимость услуг из-за сложностей проведения линий, недоступности ПК из-за низких доходов. Поэтому в Ингушетии, Чечне, Карачаево-Черкессии значение ниже 45 %.

Второй тип (уровень) неравенства — использование цифровых технологий населением. Во время пандемии возросла доля жителей России с базовым уровнем цифровой грамотности за счет обучения наиболее отстающих¹⁰: с 66 % в 2020 г. до 70 % в 2021 г. Но важно не только умение пользоваться Интернетом, но и интенсивность его использования. Доля активных пользователей, выходящих в Интернет (дома, на работе или в любом другом месте) не реже одного раза в неделю, составляет 84,1 %. Она выше в наиболее финансово обеспеченных регионах с большим числом молодых специалистов и высокой концентрацией жителей в городах: Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком АО, Москве, Санкт-Петербурге, Московской области. Среди неожиданных лидеров — Чукотский АО, Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария, где высока доля молодых жителей, активно вовлеченных в интернет-пространство. Использовать Интернет 1-2 раза в неделю можно с рабочего компьютера, с мобильного устройства, из пунктов коллективного доступа и т. д. В слаборазвитых регионах, где выше доля занятых в бюджетном секторе (система госуправления, образование, здравоохранение), доля активно использующих Интернет может быть выше, так как эти организации обеспечены доступом благодаря различным госпрограммам¹¹.

Доля населения, использовавшего Интернет для заказа товаров или услуг, была в 2020 г. в два раза ниже — 40,3 % (рис. 2).

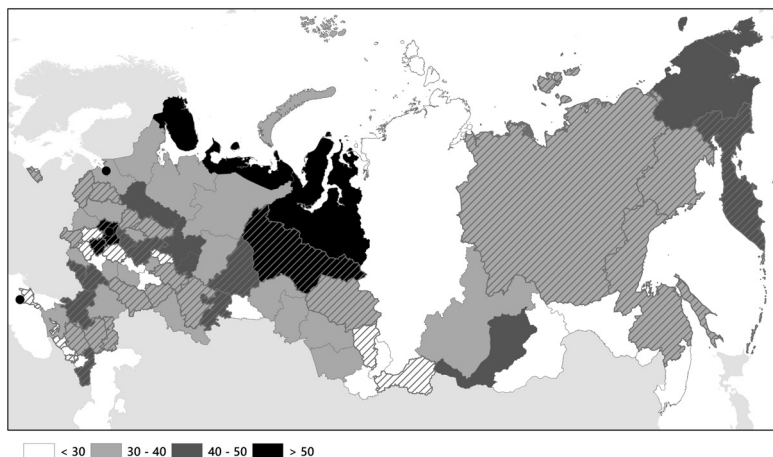


Рис. 2. Доля населения, использующего интернет для заказов товаров и услуг в 2020 г., %

Примечание: штриховкой выделены регионы, в которых значение показателя выросло в 2020 г., а темп роста в 2020 г. был выше, чем в 2019 г.

Лидерами являются те же богатые северные регионы и крупнейшие агломерации, в которых жители готовы доплачивать за подобные услуги. В Москве и Подмоскowie значение выше 60 %, что можно объяснить высоким уровнем доходов, широким распространением подобных сервисов благодаря конкуренции бизнесов. В Кабардино-Балкарии значение составляет ниже 22 % из-за слабого развития инфраструктуры, высокой доли сельских жителей в удаленных горных поселениях,

¹⁰ Вынужденная цифровизация: исследование цифровой грамотности россиян в 2021 году, 2021, *НАФИ*, URL: <https://nafi.ru/analytics/vynuzhdennaya-tsifrovizatsiya-issledovanie-tsifrovoy-gramotnosti-rossiyan-v-2021-godu/> (дата обращения: 04.07.2021).

¹¹ Например, в рамках нацпроекта «Образование» к Интернету должны быть подключены все школы страны.

распространения теневого бизнеса, не заинтересованного в использовании цифровых технологий, в том числе интернет-банкинга. Менее развита онлайн-доставка в большинстве регионов Северного Кавказа, во многих староосвоенных регионах с большой долей пожилого населения (Рязанская, Орловская, Липецкая, Ульяновская области), на внутриконтинентальных территориях с низкими доходами населения, удаленностью поселений от крупных рынков (Тыва, Хакасия, Красноярский край). Неожиданно низкий показатель отмечается в Приморском крае, где сравнительно высока стоимость Интернета (рис. 3).



Рис. 3. Доля продаж через Интернет в торговле, %

Примечание: штриховкой выделены регионы, в которых значение показателя выросло в 2020 г., а темп роста в 2020 г. был выше, чем в 2019 г.

Третий уровень цифрового неравенства связан с умением населения и предпринимателей получать экономические выгоды от пользования интернет-технологиями. В 2020 г. по сравнению с 2019 г. наблюдался значительный рост доли онлайн-продаж в России — с 2 до 3,9 %. Но в Москве доля онлайн-торговли составила около 9,3 %, а в Чечне, на Чукотке, во многих регионах СКФО, в Бурятии — около нуля.

Выше значение в крупных агломерациях (Новосибирск, Санкт-Петербург, Томск, Нижний Новгород, Казань, Самара) с хорошим доступом домохозяйств к Интернету, высокой долей студентов, платежеспособным спросом и развитым интернет-бизнесом. Молодое поколение в целом более активно используют онлайн-сервисы. На карте прослеживается и влияние бизнесов регионов с высоким уровнем цифровизации на соседние: Сибирский кластер с центром в Новосибирске, Уральский — с центром в Екатеринбурге, Москва и Подмосковье. Многие предприниматели начинают экспансию своих интернет-магазинов в соседние регионы из-за преимуществ логистики.

Факторы цифрового неравенства в регионах России

Для подтверждения первой гипотезы и описанных выше закономерностей мы разработали эконометрическую модель, учитывающую три уровня цифрового неравенства (табл. 3). На первом уровне на доступность Интернета для населения влияет стоимость подключения к Интернету и доходы населения. Увеличение доходов на 1 % ведет к росту доли домохозяйств, имеющих доступ к Интернету с домашнего компьютера, на 0,167 %, а повышение цен — снижает на 0,119 %. Важно наличие

большого потребительского рынка, куда новые технологии приходят раньше. Если в регионе сумма денежных доходов населения выше на 1 %, то в нем доступность Интернета выше на 0,023 %. Иными словами, первый уровень неравенства преимущественно определяется экономическими характеристиками.

Таблица 3

Результаты оценки факторов, влияющих на уровень распространения цифровых технологий в регионах России в 2014—2020 гг., %

Переменная	Оценки коэффициентов
Метод 2МНК	
<i>Уравнение (1). Третий уровень цифрового неравенства</i>	
Зависимая переменная (<i>intern5</i>) — доля продаж через Интернет в обороте розничной торговли. Переменная логарифмирована	
const	- 145,361***
log(<i>intern3</i>)	1,739***
log(<i>intern2</i>)	1,556*
log(<i>internn</i>)	0,141**
R ²	0,135
<i>Уравнение (2). Второй уровень цифрового неравенства</i>	
Зависимая переменная (<i>intern3</i>) — доля населения, использовавшего Интернет для заказа товаров и/или услуг. Переменная логарифмирована	
const	3,267***
log(<i>heurb</i>)	0,204**
log(<i>old</i>)	-0,334***
log(<i>inform</i>)	-0,169**
log(<i>SME</i>)	0,238***
R ²	0,172
<i>Уравнение (3). Первый уровень цифрового неравенства</i>	
Зависимая переменная (<i>intern1</i>) — удельный вес домашних хозяйств, имеющих доступ к Интернету с домашнего компьютера. Переменная логарифмирована	
const	4,019***
log(<i>income</i>) _(t-1)	0,167***
log(<i>market inc</i>) _(t-1)	0,023***
log(<i>intprice</i>)	-0,119***
R ²	0,38

Второй уровень неравенства — в использовании Интернета для заказа товаров и услуг населением — связан с уровнем образования и средним возрастом жителей. Если доля горожан с высшим образованием на 1 % выше, то доля заказывающих в Интернете среди жителей региона больше на 0,2 %. Менее образованные и возрастные жители реже пользуются подобными услугами из-за неумения и недоверия технологиям. Важны и институциональные условия [40]. Так, если плотность малого бизнеса в регионе выше на 1 %, то и доля пользователей увеличивается на 0,24 %. Предприниматели конкурируют и активнее вкладывают средства во внедрение новых технологий, освоение онлайн-рынков. Если же в регионе широко распространена неформальная занятость, ассоциирующаяся с неблагоприятной деловой средой, то и доля пользователей интернет-сервисами ниже. Предприниматели стремятся скрыться от надзорных органов, а потому не заинтересованы в цифровизации своих услуг.

Третий уровень неравенства — умение получать экономические выгоды от пользования Интернетом — связан со всеми предыдущими, а соответственно, подвержен всем выявленным выше факторам. Распространение онлайн-торговли зависит от доли населения, имеющего доступ в Интернет с домашнего компьютера, так как предполагает возможность доставки товаров на дом. Очевидно, что и умение заказывать товары и услуги напрямую влияет на объем онлайн-торговли. Кроме того, важен уровень распространения Интернета в соседних регионах, что связано с диффузией соседства и распространением торговых сетей из крупных торгово-транспортных центров, обеспечивающих доставку товаров онлайн.

Динамика распространения цифровых технологий и межрегионального цифрового неравенства в период пандемии

Для подтверждения второй гипотезы об ускорении диффузии в 2020 г. в таблице 4 обобщены данные о динамике показателей в России в 2014—2020 гг. Согласно теории диффузии нововведения, по мере насыщения цифровыми технологиями скорость распространения падает, особенно после достижения 50 %-го охвата потенциальных пользователей. Снижение темпов роста хорошо заметно по 2018—2019 гг. в большинстве показателей. Поэтому в 2020 г. темпы роста были ниже, чем в среднем за предыдущие годы, кроме распространения онлайн-торговли и широкополосного Интернета. То есть наша гипотеза об ускорении диффузии напрямую не подтверждается. Но если учитывать стадию распространения, то все не так однозначно, так как для большинства показателей в большинстве регионов темпы роста в 2020 г. были выше, чем в 2019 г. (рис. 1—3).

Высокий прирост обеспеченности широкополосным доступом в Интернет (ШПД) связан с переходом на удаленный режим работы, распространением дистанционного образования, потребностью в различных онлайн-сервисах в период пандемии [41]. Выше прирост в регионах наблюдается вблизи крупных агломераций: Рязанская, Ярославская, Ивановская, Ленинградская, Самарская области. Это может быть связано с отъездом части населения, в том числе временных работников, из плотно заселенных крупных городов. Так, например, в период самоизоляции в 2020 г. за город (преимущественно в Московскую область) выехали 18 % москвичей¹². Снижение доходов населения в 2020 г. могло привести к отказу части домохозяйств от услуг ШПД, особенно в староосвоенных и сельских регионах (в Смоленской, Саратовской, Тверской областях), где выше доля пожилых и менее обеспеченных жителей. По использованию ПК для доступа в Интернет в России максимальные значения достигнуты в 2017 г. (70,3 %), затем они несколько снизились из-за конкуренции иных форм выхода в Интернет: использование планшетов, смартфонов и т. д.

Наибольшими темпами в 2020 г. росла доля жителей, использовавших Интернет для заказа товаров/услуг, и доля онлайн-торговли, во втором случае — почти в 2 раза (с 2 до 3,9 %). В первом случае быстрее всего росли отстававшие ранее менее развитые Калмыкия, Северная Осетия, Адыгея, Дагестан, а падали существенно пострадавшие в кризис регионы, где население сокращало затраты [10]: Чукотка, Кабардино-Балкария, Тамбовская, Амурская области, Еврейская АО. Часть потребителей переключилась на онлайн-услуги, что, в свою очередь, ускорило цифровизацию бизнеса¹³ [40; 42]. Во втором случае быстрее росли регионы с высокой долей жителей молодых возрастов: Саха, Калмыкия, Камчатка и с увеличивающимся населением — Краснодарский край. Наименьшие темпы роста наблюдались в «постаревшей» Псковской области.

Третью гипотезу о росте неравенства можно считать опровергнутой, во всяком случае на уровне регионов. Практически по всем показателям в 2020 г. цифровое неравенство между регионами сократилось (табл. 5). Уровни проникновения Интернета сближались, то есть отстающие регионы росли быстрее лидеров, что видно по отрицательному значению коэффициента корреляции между приростом показателя в 2020 г. и его значением в 2019 г. Заметим также, что в среднем различия между регионами в доступе к технологиям ниже, чем в их использовании. Разрыв между регионами по доле домохозяйств, имеющих доступ в Интернет, более чем двукратный, а по доле населения, использующего Интернет для заказа товаров и услуг, — четырехкратный. Еще выше разрыв в онлайн-торговле.

¹² С начала самоизоляции 18 % жителей Москвы переехали в Подмоскovie, 2020, Российская газета, URL: <https://rg.ru/2020/05/13/reg-cfo/s-nachala-samoizoliacii-18-zhitelej-moskvy-pereehali-v-podmoskove.html> (дата обращения: 14.11.2021).

¹³ Многие предприятия в 2020 г. переходили на цифровые технологии во время пандемии вынужденно [43], чтобы выжить. Происходила цифровизация повседневных процессов: документооборот (39 %), коммуникации (24 %). Реже используются более сложные технологии управления: Agile, Lean (15 %). Четверть компаний не занималась цифровизацией.

Таблица 4

Динамика распространения цифровых технологий в России, %

Показатель	Ежегодный рост показателя, год к году							Отношение темпов роста		Значение показателя	Число регионов, где темп роста в 2020 г. > 2019 г.
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020/среднее геометрическое за 2014—2019 гг.	2020/2019		
<i>Первый уровень цифрового неравенства</i>											
Удельный вес домашних хозяйств, имеющих доступ к Интернету с домашнего компьютера	103	102	103	100	98	95	101	99,5	106,3	65,9	56
Доля домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к Интернету	113	104	106	103	101	101	105	100,4	104,0	85	51
<i>Второй уровень цифрового неравенства</i>											
Доля населения, являющегося активными пользователями Интернета	106	105	105	104	107	103	103	98,1	100,0	84,1	47
Доля населения, использующего Интернет для заказа товаров и/или услуг	116	110	118	126	119	103	113	98,2	109,7	40,3	51
<i>Третий уровень цифрового неравенства</i>											
Доля продаж через Интернет в обороте розничной торговли	0	124	138	108	131	118	195	158,1	165,3	3,9	74

Таблица 5

**Показатели уровня межрегионального цифрового неравенства
и сходимости регионов, %**

Показатель	Коэффициент вариации		Отношение максимального значения к минимальному		Индекс Тейла		Коэффициент корреляции между приростом показателя в 2020 г. и его значением в 2019 г.
	Среднее, 2014—2019 гг.	Значение, 2020 г.	Среднее, 2014—2019 гг.	Значение, 2020 г.	Среднее, 2014—2019 гг.	Значение, 2020 г.	
Первый уровень цифрового неравенства							
Доля домашних хозяйств, имеющих доступ к Интернету с домашнего компьютера	0,15	0,15	3,9	2,1	0,012	0,011	-0,4
	Доля домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к Интернету	0,14	0,1	2,7	2	0,012	0,005
Второй уровень цифрового неравенства							
Доля населения, являющегося активными пользователями Интернета	0,09	0,06	1,7	1,3	0,004	0,002	-0,54
	Доля населения, использующего Интернет для заказа товаров и/или услуг	0,39	0,28	7,96	4,6	0,076	0,037
Третий уровень цифрового неравенства							
Доля продаж через Интернет в обороте розничной торговли	1,45	0,78	Н/д	Н/д	Н/д	0,246	-0,27

Заключение и рекомендации

В соответствии с первой гипотезой удалось подтвердить закономерности, выявленные ранее в литературе. Пространственная структура распространения цифровых технологий между регионами России зависит от доходов, среднего возраста и уровня образования населения, а их использование — от сложившегося делового климата. Важны и географические факторы, в частности близость к источникам инноваций (проявление диффузии соседства) и размер центрального города (проявление иерархической диффузии). В работе выявлено, что в некоторых северо-западных регионах России (Калининградская область, Карелия, Санкт-Петербург) уровень проникновения цифровых технологий выше среднерегionalного благодаря близости европейского центра инноваций¹⁴.

В результате пандемии распространение цифровых технологий в регионах России в 2020 г. ускорилось, но только в сравнении с потенциально ожидаемым, что лишь частично подтверждает вторую гипотезу. Темпы роста должны были снижаться согласно понижательному тренду поздних стадий диффузии [15; 18].

Цифровое неравенство между регионами России в 2020 г. сократилось благодаря ускоренному распространению новых технологий в отстающих регионах (конвергенция), что опровергает третью гипотезу.

Основываясь на проведенном исследовании, можно сформулировать некоторые рекомендации для региональных властей. Для снижения цифрового неравенства потребуется поддержка создания ИКТ-инфраструктуры на наименее депопулирующих территориях отстающих регионов (Тверская область, Забайкальский край, Костромская область и другие), а также в Северо-Кавказских регионах. Поможет и разработка программ предоставления ноутбуков и ПК для наиболее социально уязвимых домохозяйств, субсидирование интернет-трафика. Важна постоянная работа центров квалификаций и центров занятости над увеличением цифровой грамотности населения, в том числе среди возрастного населения, и повышение уровня доверия цифровым технологиям. В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» возможно дальнейшее увеличение набора на цифровые специальности.

Для поддержки распространения новейших технологий в регионах-лидерах, крупнейших агломерациях необходимо субсидировать внедрение сквозных цифровых технологий (Интернет вещей, телемедицина, онлайн-образование и др.) в государственном секторе с дальнейшим распространением по стране. Повсеместно требуется улучшение доступности цифровых технологий при помощи субсидируемых программ цифровизации бизнеса с использованием типовых технологических решений [44]. Это позволит частично преодолеть проблемы низкого распространения интернет-экономики в России.

В целом рост цифровизации и занятости в ИКТ-секторе может рассматриваться как один из способов адаптации к последствиям глобальных изменений [7; 8; 44].

Исследование выполнено в рамках госзадания РАНХиГС. Авторы благодарят М. Соколову, А. Михайлова и Ш. Хлала за помощь в сборе и обработке данных.

Список литературы

1. Аброскин, А. С., Зайцев, Ю. К., Идрисов, Г. И. и др. 2019, *Экономическое развитие в цифровую эпоху*, М., Издательский дом «Дело», 88 с.

¹⁴ Классический пример — появление Интернета в Петрозаводском государственном университете (Карелия) произошло раньше, чем во многих московских вузах, благодаря сотрудничеству с финскими телекоммуникационными компаниями (например «Нокиа») и вузами. Финляндия — один из лидеров по скорости цифровизации экономики в мире.

2. Идрисов, Г. И., Княгинин, В. Н., Кудрин, А. Л., Рожкова, Е. С. 2018, Новая технологическая революция: вызовы и возможности для России, *Вопросы экономики*, № 4, с. 5—25, <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2018-4-5-25>.
3. Идрисов, Г. И., Мау, В. А., Божечкова, А. В. 2017, В поисках новой модели роста, *Вопросы экономики*, № 12, с. 5—23, <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2017-12-5-23>.
4. Гохберг, Л. М. (ред.). 2019, *Что такое цифровая экономика? Тренды, компетенции, измерение*, М., НИУ ВШЭ, 82 с.
5. Абдрахманова, Г. И., Вишневецкий, К. О., Гохберг, Л. М. и др. 2021, *Цифровая экономика: 2021: краткий статистический сборник*, М., НИУ ВШЭ, 124 с., <https://doi.org/10.17323/978-5-7598-2345-2>.
6. Пономарева, Е. А. 2021, Цифровизация экономики как движущая сила экономического роста: только ли инфраструктура имеет значение? *Журнал Новой экономической ассоциации*, № 3, с. 51—68, <https://doi.org/10.31737/2221-2264-2021-51-3-3>.
7. Миролобова, Т. В., Карлина, Т. В., Николаев, Р. С. 2020, Цифровая экономика: проблемы идентификации и измерений в региональной экономике, *Экономика региона*, т. 16, № 2, с. 377—390, <http://doi.org/10.17059/2020-2-4>.
8. The Global Risks Report 2021, 2021, *World Economic Forum*, URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2021.pdf (дата обращения: 04.07.2021).
9. Lai, J., Widmar, N. O. 2021, Revisiting the digital divide in the COVID-19 era, *Applied Economic Perspectives and Policy*, vol. 43, № 1, p. 458—464, <https://doi.org/10.1002/aep.13104>.
10. Авксентьев, Н. А. и др. 2020, *Общество и пандемия: опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России*, М., 744 с.
11. Zemtsov, S., Chepurenko, A., Mikhailov, A. 2021, Pandemic Challenges for the Technological Startups in the Russian Regions, *Foresight and STI Governance*, № 15, p. 61—77, <https://doi.org/10.17323/2500-2597.2021.4.61.77>.
12. Zemtsov, S. 2020, New technologies, potential unemployment and 'nescience economy' during and after the 2020 economic crisis, *Regional Science Policy & Practice*, vol. 12, № 4, p. 723—743, <https://doi.org/10.1111/rsp.12286>.
13. Comin, D. A., Dmitriev, M., Rossi-Hansberg, E. 2012, The spatial diffusion of technology, *National Bureau of Economic Research*, № w18534, 39 p., <https://doi.org/10.3386/w18534>.
14. Акаев, А., Рудской, А. 2014, Синергетический эффект NBIC-технологий и мировой экономический рост в первой половине XXI века, *Экономическая политика*, № 2, с. 25—46.
15. Browning, L. D., Saetre, A. S., Stephens, K., Sørnes, J.-O. 2008, Rogers' diffusion of innovations, *Information & communication technologies in action: Linking theory & narratives of practice*, p. 47—55, <https://doi.org/10.4324/9780203932445>.
16. Comin, D., Hobbijn, B., Rovito, E. 2006, Five facts you need to know about technology diffusion, *NBER*, № w11928, 54 p., <https://doi.org/10.3386/w11928>.
17. Бабурин, В. Л., Земцов, С. П. 2017, Моделирование диффузии инноваций и типология регионов России на примере сотовой связи, *Известия Российской академии наук. Серия географическая*, № 4, с. 17—30, <https://doi.org/10.7868/S0373244417100024>.
18. Бабурин, В. Л., Земцов, С. П. 2017, *Инновационный потенциал регионов России*, М., Университетская книга, 358 с.
19. Михайлов, А. С., Горочная, В. В., Хвалеи, Д. В., Гуменюк, И. С. 2020, Специфика инновационного развития приморских регионов России: дивергенция севера и юга, *Балтийский регион*, т. 12, № 3, с. 105—126, <https://doi.org/10.5922/2079-8555-2020-3-7>.
20. Блануца, В. И. 2015, Пространственная диффузия нововведений: сфера неопределенности и сетевая модель, *Региональные исследования*, № 3, с. 4—12.
21. Attewell, P. 2001, Comment: The first and second digital divides, *Sociology of education*, vol. 74, № 3, p. 252—259, <https://doi.org/10.2307/2673277>.
22. Norris, P. et al. 2001, *Digital divide: Civic engagement, information poverty, and the Internet worldwide*, Cambridge university press, 320 p., <https://doi.org/10.1017/cbo9781139164887>.
23. Ragnedda, M., Muschert, G. W. 2013, *The digital divide: The Internet and social inequality in international perspective*, Routledge, 344 p.
24. Ragnedda, M. 2018, Conceptualizing digital capital, *Telematics and Informatics*, vol. 35, № 8, p. 2366—2375, <https://doi.org/10.1016/j.tele.2018.10.006>.

25. Сафиуллин, А. Р., Моисеева, О. А. 2019, Цифровое неравенство: Россия и страны мира в условиях четвертой промышленной революции, *Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки*, т. 6, № 12, с. 26—37, <https://doi.org/10.18721/Е.12602>.
26. Scheerder, A., Van Deursen, A., Van Dijk, J. 2017, Determinants of Internet skills, uses and outcomes. A systematic review of the second-and third-level digital divide, *Telematics and informatics*, vol. 34, № 8, p. 1607—1624, <https://doi.org/10.1016/j.tele.2017.07.007>.
27. Волченко, О. В. 2016, Динамика цифрового неравенства в России, *Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены*, № 5, с. 163—182, <https://doi.org/10.14515/monitoring.2016.5.10>.
28. Аузан, А. А., Комиссаров, А. Г., Бахтигараева, А. И. 2019, Социокультурные ограничения коммерциализации инноваций в России, *Экономическая политика*, т. 14, № 4, с. 76—95, <https://doi.org/10.18288/1994-5124-2019-4-76-95>.
29. Подгорный, Б. Б. 2021, Население Калининградской области в зеркале цифровой экономики: социологический анализ, *Балтийский регион*, т. 13, № 3, с. 149—167, <https://doi.org/10.5922/2079-8555-2021-3-8>.
30. Grosso, M. 2006, Determinants of broadband penetration in OECD nations, *Australian Communications Policy and Research Forum*, p. 1—31, https://doi.org/10.1787/comms_outlook-2013-graph59-en.
31. Lin, M. S., Wu, F. S. 2013, Identifying the determinants of broadband adoption by diffusion stage in OECD countries, *Telecommunications Policy*, vol. 37, № 4—5, p. 241—251, <https://doi.org/10.1016/j.telpol.2012.06.003>.
32. Haucap, J., Heimeshoff, U., Lange, M.R. 2016, The impact of tariff diversity on broadband penetration — An empirical analysis, *Telecommunications Policy*, vol. 40, № 8, p. 743—754, <https://doi.org/10.1016/j.telpol.2015.09.005>.
33. Lucendo-Monedero, A. L., Ruiz-Rodríguez, F., González-Relaño, R. 2019, Measuring the digital divide at regional level. A spatial analysis of the inequalities in digital development of households and individuals in Europe, *Telematics and Informatics*, vol. 41, p. 197—217, <https://doi.org/10.1016/j.tele.2019.05.002>.
34. Szeles, M. R. 2018, New insights from a multilevel approach to the regional digital divide in the European Union, *Telecommunications Policy*, vol. 42, № 6, p. 452—463, <https://doi.org/10.1016/j.telpol.2018.03.007>.
35. Vicente, M. R., López, A. J. 2011, Assessing the regional digital divide across the European Union-27, *Telecommunications Policy*, vol. 35, № 3, p. 220—237, <https://doi.org/10.1016/j.telpol.2010.12.013>.
36. Pick, J. B., Sarkar, A., Johnson, J. 2015, United States digital divide: State level analysis of spatial clustering and multivariate determinants of ICT utilization, *Socio-Economic Planning Sciences*, № 49, p. 16—32, <https://doi.org/10.1016/j.seps.2014.09.001>.
37. Pick, J., Sarkar, A., Parrish, E. 2021, The Latin American and Caribbean digital divide: a geospatial and multivariate analysis, *Information Technology for Development*, vol. 27, № 2, p. 235—262, <https://doi.org/10.1080/02681102.2020.1805398>.
38. Rachinskiy, A. 2010, Mobile telecommunications' diffusion in Russia, *Applied Econometrics*, vol. 18, № 2, p. 111—122.
39. Нагирная, А. В. 2015, Развитие Интернета в регионах России, *Известия Российской академии наук. Серия географическая*, № 2, с. 41—51, <https://doi.org/10.15356/0373-2444-2015-2-41-51>.
40. Земцов, С. П., Царева, Ю. В., Салимова, Д. Р., Баринаова, В. А. 2021, Занятость в малом и среднем бизнесе в России: в поисках факторов роста, *Вопросы экономики*, № 12, с. 66—93, <https://doi.org/10.32609/10.32609/0042-8736-2021-12-66-93>.
41. Brunn, S., Gilbreath, D. (ed.). 2022, *COVID-19 and a World of Ad Hoc Geographies*, Springer, 2721 p., <https://doi.org/10.1007/978-3-030-94350-9>.
42. Кудрин, А. Л., Мау, В. А., Радыгин, А. Д., Синельников-Мурылев, С. Г. (ред.). 2022, *Российская экономика в 2021 году. Тенденции и перспективы* (вып. 43), Москва, Изд-во Ин-та Гайдара, 604 с.
43. Степанцов, П. М., Ткачева, К. А. (ред.). 2021, Цифровой поворот. Экономические последствия пандемии и новые стратегии, *РАНХиГС*, URL: https://cdto.ranepa.ru/digital_turn_research (дата обращения: 05.07.2021).

44. Audretsch, D., Belitski, M., Rejeb, N., Caiazza, R. (ed.). 2022, *Developments in Entrepreneurial Finance and Technology*, Edward Elgar Publishing, 320 p.

Об авторах

Степан Петрович Земцов, кандидат географических наук, директор Центра экономической географии и регионалистики Института прикладных экономических исследований, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Россия.

E-mail: Zemtsov@ranepa.ru

<https://orcid.org/0000-0003-1283-0362>

Ксения Викторовна Демидова, младший научный сотрудник, Международная лаборатория исследования проблем устойчивого развития Института прикладных экономических исследований, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, Россия.

E-mail: demidova-kv@ranepa.ru

<https://orcid.org/0000-0003-0061-6633>

Денис Юрьевич Кичаев, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Россия.

E-mail: deniskichaev13@gmail.com



ПРЕДСТАВЛЕНО ДЛЯ ВОЗМОЖНОЙ ПУБЛИКАЦИИ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ЛИЦЕНЗИИ CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION (CC BY) ([HTTP://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BY/4.0/](http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/))

INTERNET DIFFUSION AND INTERREGIONAL DIGITAL DIVIDE IN RUSSIA: TRENDS, FACTORS, AND THE INFLUENCE OF THE PANDEMIC

S. P. Zemtsov¹ 

K. V. Demidova¹ 

D. Yu. Kichaev²

¹RANEPa, 82, Vernadskogo av., Moscow, 119571, Russia

²Lomonosov Moscow State University, 1, Leninskie Gory St., Moscow, 119991, Russia

Received 02.08.2021

doi: 10.5922/2079-8555-2022-4-4

© Zemtsov, S. P., Demidova, K. V., Kichaev, D. Yu., 2022

The demand for digital technologies has been growing due to a shift in the technological and economic paradigm. The need for online services has increased since the beginning of the COVID pandemic. There are significant disparities between Russian regions in the digital technology accessibility and the development of computer skills. In 2020, the Internet diffused

rapidly in most regions, although previously, there had been a slowdown. As markets got saturated with digital services, the digital divide between Russian regions narrowed. Overall, the Internet use patterns are consistent with those of the spatial diffusion of innovations. Amongst the leaders, there are regions home to the largest agglomerations and northern territories of Russia, whereas those having a high proportion of rural population lag behind. Coastal and border regions (St. Petersburg, the Kaliningrad region, Karelia, Primorsky Krai, etc.) have better access to the Internet due to their proximity to the centres of technological innovations as well as the high intensity of external relations. Leading regions have an impact on their neighbours through spatial diffusion. Econometrically, access to the Internet depends on income, the average age and level of education, and its use depends on the business climate and Internet accessibility factors. Regional markets are gradually getting more saturated with digital services and technologies. The difference between regions in terms of access to the Internet is twofold, whereas, in terms of digital technology use, the gap is manifold. In many regions, the share of online commerce, which became the driver of economic development during the lockdown, is minimal. Based on the results of the study, several recommendations have been formulated.

Keywords:

ICR, digital technologies, digital economy, Russian regions, diffusion of innovations, online trade, pandemic, econometric modeling, system of equations

References

1. Abroskin, A. S., Zaitsev, Yu. K., Idrisov, G. I. et al. 2019, *Jekonomicheskoe razvitie v cifrovuju jepohu* [Economic development in the digital age, Moscow], 88 p. (in Russ.).
2. Idrisov, G. I., Knyaginina, V. N., Kudrin, A. L., Rozhkova, E. S. 2018, New technological revolution: Challenges and opportunities for Russia, *Voprosy Ekonomiki*, № 4, p. 5—25, <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2018-4-5-25> (in Russ.).
3. Idrisov, G., Mau, V., Bozhechkova, A. 2017, Searching for a New Growth Model, *Voprosy Ekonomiki*, № 12, p. 5—23, <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2017-12-5-23> (in Russ.).
4. Gokhberg, L. M. (ed.). 2019, *Chto takoe cifrovaja jekonomika? Trendy, kompetencii, izmerenie* [What is the digital economy? Trends, competencies, measurement], M., Higher School of Economics, 82 p.
5. Abdrakhmanova, G. I., Vishnevsky, K. O., Gokhberg, L. M. et al. 2021, *Digital economy: 2021: a short statistical collection*, M., Higher School of Economics, 124 p.
6. Ponomareva, E. A. 2021, Digitalization as a driver of economic growth: Does only infrastructure matters? *Journal of the New Economic Association*, № 3, p. 51—68, <https://doi.org/10.31737/2221-2264-2021-51-3-3> (in Russ.).
7. Mirolyubova, T. V., Karlina, T. V., Nikolaev, R. S. 2020, Digital Economy: Identification and Measurements Problems in Regional Economy, *Economy of region*, vol. 16, № 2, p. 377—390, <http://doi.org/10.17059/2020-2-4>.
8. The Global Risks Report 2021, 2021, *World Economic Forum*, available at: http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2021.pdf (accessed 04.07.2021).
9. Lai, J., Widmar, N. O. 2021, Revisiting the digital divide in the COVID-19 era, *Applied Economic Perspectives and Policy*, vol. 43, № 1, p. 458—464, <https://doi.org/10.1002/aep.13104>.
10. Avksent'ev, N. A. et al. 2020, *Obshestvo i pandemija: opyt i uroki bor'by s COVID-19 v Rossii* [Society and the pandemic: experience and lessons from the fight against COVID-19 in Russia], M., Printing house Pareto Print (in Russ.).
11. Zemtsov, S., Chepurensko, A., Mikhailov, A. 2021, Pandemic Challenges for the Technological Startups in the Russian Regions, *Foresight and STI Governance*, № 15, p. 61—77, <https://doi.org/10.17323/2500-2597.2021.4.61.77>.
12. Zemtsov, S. 2020, New technologies, potential unemployment and 'nescience economy' during and after the 2020 economic crisis, *Regional Science Policy & Practice*, vol. 12, № 4, p. 723—743, <https://doi.org/10.1111/rsp3.12286>.
13. Comin, D. A., Dmitriev, M., Rossi-Hansberg, E. 2012, The spatial diffusion of technology, *National Bureau of Economic Research*, № w18534, <https://doi.org/10.3386/w18534>.

14. Akaev, A., Rudskoy, A. 2014, Synergetic Effect of the NBIC-Technologies and Global Economic Growth in the First Half of the 21st Century, *Ekonomicheskaya Politika*, № 2, p. 25—46 (in Russ.).
15. Browning, L. D., Saetre, A. S., Stephens, K., Sørnes, J.-O. 2008, Rogers' diffusion of innovations, *Information & communication technologies in action: Linking theory & narratives of practice*, p. 47—55, <https://doi.org/10.4324/9780203932445>.
16. Comin, D. A., Hobijn, B., Rovito, E. 2006, Five facts you need to know about technology diffusion, *NBER Working Paper*, № w11928, 55 p., <https://doi.org/10.3386/w11928>.
17. Zemtsov, S. P., Baburin, V. L. 2017, Modeling of diffusion of innovation and typology of Russian regions: a case study of cellular communication, *Izvestiya Rossiiskoi Akademii Nauk. Seriya Geograficheskaya*, № 4, p. 17—30, <https://doi.org/10.7868/S0373244417100024> (in Russ.).
18. Baburin, V. L., Zemtsov, S. P. 2017, *Innovacionnyj potencial regionov Rossii* [Innovative potential of Russian regions], M., ID Universitetskaya kniga, 357 p. (in Russ.).
19. Mikhaylov, A. S., Gorochnaya, V. V., Hvalej, D. V., Gumenyuk, I. S. 2020, Innovative development of Russian coastal regions: north-south divergence, *Baltic region*, vol. 12, № 3, p. 105—126, <https://doi.org/10.5922/2079-8555-2020-3-7>.
20. Blanutsa, V. I. 2015, Spatial diffusion of innovations: the sphere of uncertainty and network model, *Regional Studies*, № 3, p. 4—12 (in Russ.).
21. Attewell, P. 2001, Comment: The first and second digital divides, *Sociology of education*, vol. 74, № 3, p. 252—259, <https://doi.org/10.2307/2673277>.
22. Norris, P. et al. 2001, *Digital divide: Civic engagement, information poverty, and the Internet worldwide*, Cambridge university press, 320 p., <https://doi.org/10.1017/cbo9781139164887>.
23. Ragnedda, M., Muschert, G. W. 2013, *The digital divide: The Internet and social inequality in international perspective*, Routledge, 344 p.
24. Ragnedda, M. 2018, Conceptualizing digital capital, *Telematics and Informatics*, vol. 35, № 8, p. 2366—2375, <https://doi.org/10.1016/j.tele.2018.10.006>.
25. Safiullin, A. R., Moiseeva, O. A. 2019, Digital inequality: Russia and other countries in the fourth industrial revolution, *St. Petersburg State Polytechnical University Journal. Economics*, vol. 6, № 12, p. 26—37, <https://doi.org/10.18721/JE.12602> (in Russ.).
26. Scheerder, A., Van Deursen, A., Van Dijk, J. 2017, Determinants of Internet skills, uses and outcomes. A systematic review of the second-and third-level digital divide, *Telematics and informatics*, vol. 34, № 8, p. 1607—1624, <https://doi.org/10.1016/j.tele.2017.07.007>.
27. Volchenko, O. V. 2016, Dynamics of digital inequality in Russia, *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*, № 5, p. 163—182, <https://doi.org/10.14515/monitoring.2016.5.10> (in Russ.).
28. Auzan, A. A., Komissarov, A. G., Bakhtigaraeva, A. I. 2019, Sociocultural Restrictions on the Commercialization of Innovations in Russia, *Ekonomicheskaya Politika*, vol. 14, № 4, p. 76—95, <https://doi.org/10.18288/1994-5124-2019-4-76-95> (in Russ.).
29. Podgorny, B. B. 2021, The population of the Kaliningrad region and the digital economy: a sociological analysis, *Baltic region*, vol. 13, № 3, p. 149—167 (in Russ.), <https://doi.org/10.5922/2079-8555-2021-3-8>.
30. Grosso, M. 2006, Determinants of broadband penetration in OECD nations, *Australian Communications Policy and Research Forum*, p. 1—31, https://doi.org/10.1787/comms_outlook-2013-graph59-en.
31. Lin, M. S., Wu, F. S. 2013, Identifying the determinants of broadband adoption by diffusion stage in OECD countries, *Telecommunications Policy*, vol. 37, № 4—5, p. 241—251, <https://doi.org/10.1016/j.telpol.2012.06.003>.
32. Haucap, J., Heimeshoff, U., Lange, M. R. 2016, The impact of tariff diversity on broadband penetration — An empirical analysis, *Telecommunications Policy*, vol. 40, № 8, p. 743—754, <https://doi.org/10.1016/j.telpol.2015.09.005>.
33. Lucendo-Monedero, A. L., Ruiz-Rodríguez, F., González-Relaño, R. 2019, Measuring the digital divide at regional level. A spatial analysis of the inequalities in digital development of households and individuals in Europe, *Telematics and Informatics*, vol. 41, p. 197—217, <https://doi.org/10.1016/j.tele.2019.05.002>.

34. Szeles, M.R. 2018, New insights from a multilevel approach to the regional digital divide in the European Union, *Telecommunications Policy*, vol. 42, № 6, p. 452–463, <https://doi.org/10.1016/j.telpol.2018.03.007>.
35. Vicente, M.R., López, A.J. 2011, Assessing the regional digital divide across the European Union-27, *Telecommunications Policy*, vol. 35, № 3, p. 220–237, <https://doi.org/10.1016/j.telpol.2010.12.013>.
36. Pick, J.B., Sarkar, A., Johnson, J. 2015, United States digital divide: State level analysis of spatial clustering and multivariate determinants of ICT utilization, *Socio-Economic Planning Sciences*, № 49, p. 16–32, <https://doi.org/10.1016/j.seps.2014.09.001>.
37. Pick, J., Sarkar, A., Parrish, E. 2021, The Latin American and Caribbean digital divide: a geospatial and multivariate analysis, *Information Technology for Development*, vol. 27, № 2, p. 235–262, <https://doi.org/10.1080/02681102.2020.1805398>.
38. Rachinskiy, A. 2010, Mobile telecommunications' diffusion in Russia, *Applied Econometrics*, vol. 18, № 2, p. 111–122.
39. Nagirnaya, A.V. 2015, The Development of the Internet in Russian Regions, *Izvestiya Rossiiskoi Akademii Nauk. Seriya Geograficheskaya*, № 2, p. 41–51, <https://doi.org/10.15356/0373-2444-2015-2-41-51> (in Russ.).
40. Zemtsov, S.P., Tsareva, Y.V., Salimova, D.R., Barinova, V.A. 2021, Small and medium-sized enterprises in Russia: In search of the employment growth factors, *Voprosy Ekonomiki*, № 12, p. 66–93, <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2021-12-66-93> (in Russ.).
41. Brunn, S., Gilbreath, D. (ed.). 2022, *COVID-19 and a World of Ad Hoc Geographies*, Springer, 2721 p., <https://doi.org/10.1007/978-3-030-94350-9>.
42. Kudrin, A.L., Mau, V.A., Sinelnikov-Murylev, S.G., Radygin, A.D. (ed.). 2022, *Russian Economy in 2021. Trends and Outlooks*. (Issue 43), M., Gaidar Institute Publishers, 604 p.
43. Stepantsov, P.M., Tkacheva, K.A. 2021, Digital twist. Economic impact of the pandemic and new strategies, available at: https://cdto.ranepa.ru/digital_turn_research (accessed 05.07.2021).
44. Audretsch, D., Belitski, M. (ed.). 2022, *Developments in Entrepreneurial Finance and Technology*, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 320 p.

The authors

Dr Stepan P. Zemtsov, Director of the Centre for Economic Geography and Regional Studies, Institute of Applied Economic Research, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Russia.

E-mail: Zemtsov@ranepa.ru

<https://orcid.org/0000-0003-1283-0362>

Dr Ksenia V. Demidova, Junior Researcher, International Laboratory for Sustainable Development Research, Institute of Applied Economic Research, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Russia.

E-mail: demidova-kv@ranepa.ru

<https://orcid.org/0000-0003-0061-6633>

Denis Yu. Kichaev, Lomonosov Moscow State University, Russia.

E-mail: deniskichaev13@gmail.com



ТРАНСГРАНИЧНАЯ ТУРИСТСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ В ЖИЗНИ МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ КАРЕЛЬСКОГО ПРИГРАНИЧЬЯ: ОГРАНИЧЕНИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19

С. В. Кондратьева 

Институт экономики Карельского научного центра РАН,
185030, Россия, Республика Карелия, Петрозаводск,
просп. А. Невского, 50

Поступила в редакцию 24.06.2022 г.
doi: 10.5922/2079-8555-2022-4-5
© Кондратьева С. В., 2022

Изложен подход к выявлению значимости трансграничной туристской мобильности (приграничного туризма) в жизни местного населения приграничного региона Республики Карелия в фокусе вызванных пандемией COVID-19 ограничений. Работа основывается на данных социологического исследования местного населения региона в муниципальном разрезе (575 чел.), проведенного автором в 2021 г. совместно с коллегой Е. А. Шлапеко. Анализ полученных результатов подтверждает привычность и роль трансграничной туристской мобильности в жизни местного населения карельского приграничья, что проявляется в регулярном совершении поездок в сопредельное государство, частых контактах с финскими путешественниками, в сформированных предпочтениях и сети контактов с жителями и организациями Финляндии. Показано, что в наибольшей степени ограничения отразились на жизни жителей карельского приграничья в сравнении с глубинными муниципалитетами Республики Карелия и столичным городским округом. Полученные результаты позволяют формировать комплексное представление о значимости трансграничной туристской мобильности (приграничного туризма), территориальных диспропорциях восприятия местным населением исследуемого феномена в разрезе приграничных, глубинных муниципалитетов и городского округа. Практическое применение предложенного подхода позволит расширить возможные варианты принимаемых управленческих решений, выступая в качестве инструмента региональной экономической политики в сфере туризма.

Ключевые слова:

трансграничная туристская мобильность, приграничный туризм, карельское приграничие, муниципалитет, Республика Карелия, местное население, пандемия COVID-19, Финляндия

Трансграничная туристская мобильность представляется одной из важных сфер жизнедеятельности местного населения карельского приграничья, направлением развития международного туризма Республики Карелия в целом, что подразумевает взаимные поездки жителей региона и сопредельной Финляндии с целью туризма, шопинга и отдыха. Насколько значима трансграничная туристская мобильность в жизни локального сообщества и существуют ли различия среди муниципалитетов региона (приграничные, глубинные или столичный округ)? Поиску ответов на обозначенные вопросы и посвящена настоящая статья, базирующаяся на результатах

Для цитирования: Кондратьева С. В. Трансграничная туристская мобильность в жизни местного населения карельского приграничья: ограничения пандемии COVID-19 // Балтийский регион. 2022. Т. 14, № 4. С. 79–97. doi: 10.5922/2079-8555-2022-4-5.

социологического исследования, проведенного автором с коллегой в 2021 г. в период действия ограничений пересечения российско-финляндской государственной границы под влиянием пандемии COVID-19.

Трансграничная туристская мобильность — феномен приграничья

Изучение туристских дестинаций приграничья, формируемых под влиянием не только внутренних, но и трансграничных туристских потоков, представляется сравнительно новым направлением российских научных исследований. Проблематика исследования феномена трансграничной туристской мобильности в фокусе междисциплинарных пограничных исследований обуславливается как кардинальными изменениями функций государственных границ РФ под влиянием трансформационных преобразований в государстве, так и изменениями в восприятии туристско-рекреационной сферы деятельности на уровне власти, бизнеса и общества, выстраиванием системы стратегического планирования и управления туризмом.

В теоретическом аспекте в отношении дефиниций исследуемого феномена в первую очередь следует обозначить наблюдаемую широту применяемых формулировок «трансграничная туристская мобильность» [1], «трансграничная туристская миграция» [2], «международный (въездной/выездной) туристский поток» [3], «приграничный туризм» [4–5], отражающих специфические черты современной жизни общества.

Более объемлющее понятие «трансграничная туристская мобильность», подразумевающее «совокупный въездной туристский поток иностранных граждан на территорию РФ и выездной туристский поток российских граждан на территорию других государств» [6], в настоящем исследовании будет приближено к термину «приграничный туризм» с фокусировкой исключительно на российско-финляндских обоюдных поездках жителей Республики Карелия и Финляндии с целью туризма, отдыха и/или шопинга [7]. Применение дефиниции «трансграничная мобильность» [8–9] с учетом возможных иных целей посещения сопредельных территорий обосновано влиянием данных потоков на жизнь местного населения, и в данной статье оно также будет рассмотрено в фокусе карело-финских обменов.

Обобщая теоретические и практические аспекты рассмотрения трансграничной туристской мобильности, в том числе приграничный туризм, можно обозначить следующие подходы к ее изучению на основе работы профессора Института географии РАН В. А. Колосова [7]:

— экономико-географический: оценка динамики, объемов и направлений туристских потоков, делимитация границ туристских регионов, функциональная взаимосвязанность и соотношение потенциала приграничных регионов сопредельных государств и пр.;

— экономический: экономические аспекты взаимовлияния туристской мобильности на развитие экономики приграничных регионов сопредельных государств;

— междисциплинарный пограничный (border studies): комплексный анализ феномена трансграничной туристской мобильности, включая зависимость от режима границы, институциональных, политических и иных факторов.

Наиболее подробно проблематика российских государственных границ рассмотрена в работах, посвященных российско-польскому [10–14], российско-эстонско-латвийскому [15–16] и российско-китайскому приграничью [4–5; 17]. При этом в большей степени в исследованиях представлен количественный анализ трансграничных туристских обменов (динамики, объемов и структуры) и финансовых затрат путешественников, качественный анализ происходящих в приграничье изменений встречается значительно реже.

Относительно российско-финляндского приграничья влияние трансграничной туристской мобильности российских граждан на развитие приграничных территорий сопредельного государства достаточно подробно изучено в экономическом, социокультурном и иных аспектах [18—23]. Большинство работ посвящено исследованию въездного туристского потока россиян в Финляндию, в основном с целью шопинга [12; 24—27]. Отмечается высокая степень зависимости социально-экономического развития, особенно восточного приграничья Финляндии, от предпочтений и финансовых возможностей российских туристов, предлагаются меры по стимулированию въездного потока в Финляндию. Работы по оценке трансграничной туристской мобильности финских туристов в российское приграничье встречаются реже, раскрывая отдельные аспекты феномена приграничного туризма [28—29], специфику и/или результаты трансграничных взаимодействий [30].

Проблематика воздействия трансграничной туристской мобильности на социально-экономическое, социокультурное, пространственное развитие приграничья многоаспектна и достаточно широко представлена в работах российских и зарубежных исследователей. Вместе с тем следует указать, что рассмотрение направлений влияния отражено непропорционально: большая доля разработок фокусируется на социально-экономическом эффекте для сообщества или территории, меньшая посвящена социокультурному и пространственному эффектам [8; 25; 31; 32].

Так, развитие трансграничного шопинг-туризма рассматривается в качестве ежедневной активности, улучшающей уровень и качество жизни местного населения по обе стороны государственной границы. Достопримечательности, объекты посещения, интересные культурные события, медицинские услуги представляются фактором привлечения туристов сопредельного государства [12; 26; 31].

При этом исследователи указывают, что большинство шопинг-путешественников из Польши, Эстонии, Латвии, Финляндии, въезжающие в РФ с целью приобретения топлива, достигают лишь ближайших АЗС [10; 11; 28]. Вместе с тем М. Венцовский, профессор Польской академии наук, подчеркивает роль и значимость трансграничной туристской мобильности как важного фактора развития приграничья, даже если пребывание посетителя длится всего несколько часов [1].

Коллективная работа исследователей Польши, Финляндии и России выявила, что российские шопинг-туристы обычно посещают приграничные города Финляндии, редко путешествуя в другие части сопредельного государства. При этом часто передвижения совершаются исключительно до основных супермаркетов или торговых центров в пригороде или на границе, особенно в период скидок и акций [12].

И. И. Пирожник, профессор Поморской академии Польши, выделяет два варианта влияния границы на развитие приграничного пространства: при наличии «объектов туристского интереса формируются рекреационные ландшафты, находящиеся в непосредственной близости от пунктов пересечения границы», при выполнении транзитных функций «складывается особый ландшафт, для которого характерным является наличие пунктов обмена валюты, отделений страховых компаний, ресторанов, автозаправочных станций и туристских информационных центров» [2, с. 143]. При этом в конкурентной борьбе за финансовые ресурсы туристов большое значение приобретает не столько близость населенного пункта к государственной границе, сколько его насыщенность необходимыми для потребителя товарами и услугами.

В качестве положительного экономического влияния на диверсификацию экономики обозначаются активизация местной торговли товарами и услугами, что с учетом мультипликативного эффекта оказывает влияние на рост производства продукции ряда секторов экономики и сопутствующих услуг [11; 27]. При усилении

трансграничной туристской мобильности «многие приграничные районы из заброшенной периферии, удаленной от главных центров в пределах государственных территорий, превращаются в зоны контакта хозяйства соседних стран, локомотивы интеграции и экономического развития» [8, с. 83]. В этом отношении показательна практика развития ряда приграничных городов Финляндии и воеводств на северо-востоке Польши. Так, в большинстве восточных приграничных с РФ областях Финляндии именно российские туристы формируют значительную долю туристского потока: около 80 % — Южная Карелия с центром в г. Лаппеенранта, провинция входит в тройку лидеров по величине иностранного турпотока, почти 50 % — Южное Саво, г. Миккели, более 40 % — Кюменлааксо, г. Коуволла и более 30 % — Северная Карелия, г. Йёнссу и Кайнуу [29].

Исследователи указывают, что значимым социокультурным эффектом развития трансграничного туризма становятся появление общего языка (применение одного или двух) в приграничье, возникновение постоянных контактов и формирование трансграничных социальных связей. Кроме того, посещение страны с иной культурой и стилем жизни может принести некоторые новые привычки в повседневную жизнь путешественников [12]. Исследование формирования и развития трансграничного социокультурного пространства «Карелия» показывает, что наибольшее проявление трансграничной социокультурной специфики наблюдается в сферах культуры и искусства, проектной деятельности, образования, туризма, в информационном пространстве. Уникальность трансграничной территории заключается в «эффекте соседства», который проявляется в формировании специфического социокультурного пространства с чертами локальных сообществ по разные стороны границы [32]. Так, В. А. Колосов указывает, что на рубежах РФ и ЕС «формируется особая социальная общность людей, чья повседневная жизнь по разным причинам связана с регулярным пересечением границы» [8, с. 88]. Развитие межгосударственных отношений в последние десятилетия продемонстрировало возрастание роли народной (общественной) дипломатии. Народная дипломатия укрепляет социокультурное сотрудничество, добрососедство и атмосферу безопасности, служит инструментом «мягкой силы», повышающим привлекательность региона и государства в целом, языка, культуры и образа жизни [7]. Практика российско-финляндского приграничья показывает, что основными источниками представлений жителей приграничных территорий друг о друге являются общение с родственниками и друзьями, проживающими на территории сопредельного государства или часто посещающими данную страну; СМИ; интернет-ресурсы и социальные сети, а также личный опыт посещения сопредельного государства [33].

Исследователи подчеркивают, что трансграничная туристская мобильность (приграничный туризм), обладая целым спектром положительных эффектов для социально-экономического развития территорий сопредельных государств, вместе с тем испытывает высокую степень зависимости от ряда факторов, способных иметь решающее значение в вопросе ее функционирования [7]: «Модель трансграничного взаимодействия, основанная только на использовании приграничной ренты, неустойчива» [8, с. 92]. Множество факторов могут оказать существенное воздействие на развитие (резко сократить или даже прекратить возможности трансграничных обменов) трансграничной туристской мобильности: политический, институциональный, инфраструктурный, природный и культурно-исторический, экономический, социокультурный, медико-биологический и иные. Последний становится одним из ключевых направлений современных исследований [34; 35]. Практика российско-финляндского приграничья под влиянием новой коронавирусной инфекции и вызванных ею ограничений показательна.

Резюмируя, отметим, что существуют достаточно глубокие и многоаспектные исследования финского приграничья в фокусе проблематики трансграничной туристской мобильности, в то время как территория карельского приграничья в этом аспекте практически не изучена, а имеющиеся наработки носят фрагментарный характер. За пределами научных изысканий по изучению трансграничной туристской мобильности (приграничного туризма) остается мнение местного населения, проживающего в условиях исследуемого феномена. Вместе с тем именно в периоды ограничений наиболее ярко проявляется значимость отдельных событий или явлений в жизни общества, в некоторой степени можно говорить, что пандемия COVID-19 и вызванные ею ограничения послужили началом процесса осмысления и оценки феномена приграничного туризма.

Цель работы — выявление значимости трансграничной туристской мобильности в жизни местного населения карельского приграничья на основе данных социологического исследования, проведенного в 2021 г. в условиях ограничений пересечения российско-финляндской государственной границы под влиянием пандемии COVID-19. Предполагается, что в наибольшей степени ограничения затронули жителей карельского приграничья, в меньшей — население глубинных муниципалитетов Республики Карелия и столичного городского округа в силу специфики экономико-географического положения и сформированной сети трансграничных связей и потребительских предпочтений жителей сопредельных территорий.

Материалы и методика исследования

Социологическое исследование было проведено автором совместно с коллегой Е. А. Шлапеко, канд. полит. наук, научным сотрудником ИЭ КарНЦ РАН, в 2021 г. среди жителей Республики Карелия с использованием платформы «Google-формы». Опрос включал в себя несколько блоков закрытых и открытых вопросов с целью выявления мнения местного населения относительно различных аспектов развития приграничного туризма, функционирования туристско-рекреационной деятельности в Республике Карелия. Всего для анализа было отобрано 575 полностью заполненных анкет, распределение которых по муниципальным районам в полной мере соответствует долевым соотношениям численности муниципалитетов региона.

Выявление значимости трансграничной туристской мобильности основывается на данных социологического инструментария в фокусе влияния ограничений новой коронавирусной инфекции на жизнь местного населения в ракурсе трех основных направлений:

- 1) привычный образ жизни местного населения;
- 2) благосостояние семей карельского приграничья;
- 3) преимущества и ограничения развития приграничного туризма.

В работе впервые на основе примененного социологического инструментария раскрыты взгляды местного населения приграничного региона Республики Карелия на развитие трансграничной туристской мобильности (приграничного туризма) в фокусе ограничений современных вызовов на жизнь карельского приграничья.

Работа фокусируется на феномене трансграничной туристской мобильности (приграничном туризме) и влиянии ограничений пандемии COVID-19 на ее развитие на примере карельского участка российско-финляндской государственной границы. Изменения, имевшие место на финской стороне, в настоящем исследовании не рассматриваются. Рассчитаны медианные показатели.

Исследуемая территория

Модельной площадкой исследования выступают 7 из 18 муниципальных районов сопредельного с Финляндией региона РФ — Республики Карелия. Выделенные приграничные районы объединяются в данной статье понятием «карельское приграничье». По состоянию на 1 января 2021 г. в Республике Карелия проживало 609,1 тыс. чел., из которых пятая часть (18,7 %) — на территории карельского приграничья. Муниципальные районы Республики достаточно разнообразны по географическим, социально-экономическим, транспортно-логистическим и иным характеристикам (табл. 1). На территории трех приграничных муниципалитетов функционируют многосторонние автомобильные и железнодорожные пункты пропуска: Вяртсиля — Ниирала (75 % от общего трафика на карельском участке российско-финляндской государственной границы, Сортавальский район), Люття — Вартиус (20 %, Костомукшский городской округ) и Суоперя — Куусамо (5 %, Лоухский район, только автомобильный). Кроме того, Лоухский, Калевальский национальный районы и Костомукшский городской округ входят в Арктическую зону Республики Карелия.

Таблица 1

**Общая характеристика муниципалитетов Республики Карелия
(по состоянию на 1 января 2021 г., медиана)**

Территория	Площадь, тыс. км ²	Плотность населения, чел./1 км ²	Динамика населения, 2018—2021 гг., %	Расстояние от районного центра, км	
				до ближай- шего МАПП	до г. Петрозав- водска
Петрозаводский го- родской округ	0,11	2484,2	+0,5	290,5	0
Приграничные му- ниципалитеты*	75,7	1,1	- 4,7	170	464
Глубинные муни- ципалитеты	81,1	2,7	- 5,1	250	246

Примечание: * В Лоухском районе расстояние до МАПП рассчитано от пос. Пяозерский и пос. Лоухи в силу специфики муниципалитета.

Исследуемая территория ежегодно принимает около 440 тыс. туристов и экскурсантов, преобладающая часть которых самостоятельно организует свой маршрут, посещение достопримечательностей и отдых в карельском приграничье (рис. 1). Сортавальский район обслуживает более 90 % посетителей приграничья, испытывая максимальную туристскую нагрузку в Республике Карелия. С одной стороны, на территории муниципалитета располагается десятая часть (12,5 %) объектов культурного наследия региона, включенных в Единый государственный реестр, с другой — муниципалитет характеризуется выгодным транспортно-географическим положением, включая интенсивное авто- и железнодорожное сообщение со столичными городами (Санкт-Петербург и Москва), а также функционирование до 2020 г. МАПП «Вяртсиля — Ниирала», составлявшее около 1,5 млн пересечений в год [36; 37]. Вместе с тем медиана интенсивности въездного туризма по семи приграничным муниципалитетам, составляя 500 прибытий на 1 тыс. местных жителей, значительно уступает показателю глубинных регионов (1,2 тыс. прибытий / 1 тыс. чел.).

В целом на территории карельского приграничья располагается треть (29,3 % по состоянию на 21 апреля 2022 г.) объектов культурного наследия региона, включен-

ных в Единый государственный реестр; и в потенциале — больше четверти (27,4 %) еще только выявлены, но не внесены в реестр. Приграничные муниципалитеты активно развивают культурно-познавательный (включая этнокультурный, военно-исторический, религиозной направленности и пр.), экологический, активный, событийный и иные виды туризма. Так, ежегодно Валаамский Спасо-Преображенский монастырь посещают около 100 тыс. туристов и паломников со всего мира, в 2020 г. национальный парк «Паанаярви» принял около 7 тыс. чел., только за девять месяцев 2021 г. около 460 тыс. посетителей побывали в первом в РФ горном парке «Рускеала». Кроме того, приграничные муниципалитеты испытывают нагрузку от трансграничного и транзитного туристского потока.

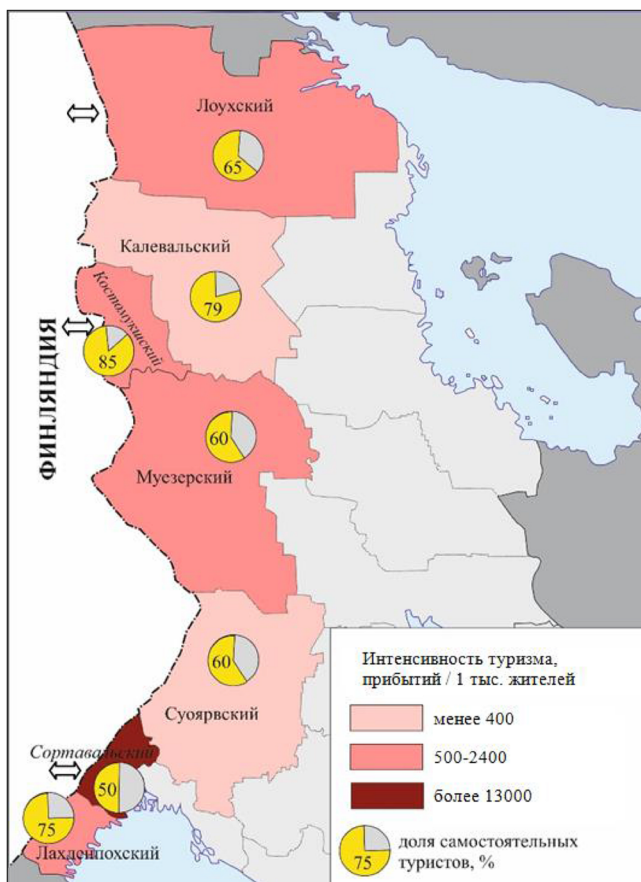


Рис. 1. Въездной туристский поток в карельское приграничье [36]

Результаты исследования

Краткая характеристика респондентов

Всего для анализа было отобрано 575 полностью заполненных анкет респондентов Республики Карелия, среди которых большинством являются женщины — 340 чел. (59 %) и меньшинством мужчины — 235 чел. (41 %), что отвечает половой структуре населения региона: 54,4 и 45,6 % соответственно. Распределение респондентов в муниципальном разрезе также коррелирует с долевыми отношениями численности местного населения районов (табл. 2).

Таблица 2

**Распределение респондентов
по муниципалитетам Республики Карелия**

Территория	Численность населения, чел.	Доля в Карелии, %	Число респондентов, чел.	Доля респондентов, %
Петрозаводский городской округ	280 711	46,1	257	44,7
Глубинные муниципалитеты	214 240	35,2	202	35,1
Приграничные муниципалитеты	114 120	18,72	116	20,1
В том числе:				
Костомукшский городской округ	30 273	5,0	26	4,5
Калевальский национальный район	6 489	1,1	8	1,4
Лахденпохский район	12 298	2,02	13	2,3
Лоухский район	10 619	1,7	12	2,1
Муезерский район	9 241	1,5	10	1,7
Сортавальский район	30 366	5,0	29	5,0
Суоярвский район	14 834	2,4	18	3,1
Республика Карелия	609 071	100	575	100

При возрастном распределении доминирует группа 30—39 лет (25,7%), равные пятые доли приходятся на группы 40—49 и 50—59 лет; возрастная группа старше 60 лет составляет 17,2% респондентов, наименьшая — молодежь в возрасте 18—29 лет (14,1%).

Приграничный туризм в жизни карельского приграничья: представление местного населения

Феномен значимости трансграничной туристской мобильности в жизни местного населения выкристаллизовывается в ответах респондентов приграничного региона Республики Карелия в период действия ограничений пересечения государственной российско-финляндской границы вследствие пандемии COVID-19.

Изменение привычного образа жизни местного населения вследствие ограничений пандемии COVID-19. Изменение привычного образа жизни местного населения, вызванное ограничениями из-за новой коронавирусной инфекции, показано при анализе двух вопросов, раскрывающих проблематику частоты посещения сопредельного государства Финляндии в допандемийный период и ограничительных мер пересечения государственной границы в период пандемии.

Согласно данным социологического исследования, жители приграничных муниципалитетов были самыми активными в Республике Карелия посетителями Финляндии с целью отдыха, шопинга и туризма до ограничений пандемии COVID-19 (табл. 3). Так, каждый третий житель карельского приграничья (29,3%) посещал сопредельное государство каждый месяц или больше 10 раз в год; каждый десятый — достаточно часто (ежегодно шесть-десять раз). При этом почти половина жителей глубинных муниципалитетов (46,0%) региона ни разу не была в соседней стране. Самый низкий показатель наблюдается в Петрозаводском городском округе, что определяется столичным статусом муниципалитета, фокусирующем административный и научно-образовательный потенциал региона.

Таблица 3

Ответы на вопрос «Как часто вы совершали (до пандемии) поездки в Финляндию с целью шопинга, туризма и отдыха?», чел./%

Территория	Очень часто (каждый месяц или больше 10 раз в год)	Достаточно часто (6–9 раз в год)	4–5 раз в год	2–3 раза в год	Раз в год	Раз в несколько лет	Никогда не был(а)
Петрозаводский городской округ	9/3,5	19/7,4	33/12,8	75/29,2	3/1,1	63/24,5	55/21,4
Приграничные муниципалитеты	34/29,3 (29,8)	12/10,3 (9,6)	10/8,6 (9,6)	9/7,8 (8,7)	0	14/12,1 (12,5)	37/31,9 (29,8)
Глубинные муниципалитеты	16/7,9	4/1,98	10/4,95	31/15,3	0	48/23,76	93/46,0
Республика Карелия	59/10,26	35/6,1	53/9,2	115/20,0	3/0,5	125/21,7	185/32,17

Примечание: в скобках указаны приграничные муниципалитеты без учета Лоухского района.

Незначительные расхождения показателей частоты посещения карельским населением Финляндии с учетом и без учета Лоухского района, характеризующегося уникальным одновременно приграничным и глубинным положением, позволяет пренебречь вторым, рассматривая муниципалитет в дальнейшем исключительно как приграничный.

Рассмотрение в муниципальном разрезе карельского приграничья выявляет специфику отдельных районов (рис. 2).

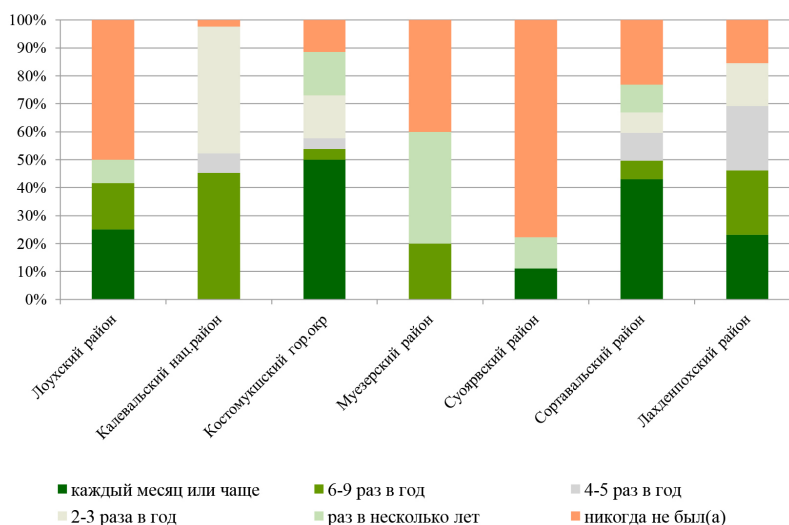


Рис. 2. Ответы на вопрос «Как часто вы совершали (до пандемии) поездки в Финляндию с целью шопинга, туризма и отдыха?», %

Примечание: здесь и далее районы расположены слева направо в последовательности с севера на юг.

Достаточно обоснованным представляется высокая трансграничная мобильность местного населения Костомукшского городского округа и Сортавальского района (каждый второй житель посещал сопредельную Финляндию почти ежемесячно), учитывая территориальную близость МАПП (соответственно 30 и 57 км), удобство их функционирования. Также следует указать на достаточно высокую активность населения Лахденпохского и Лоухского районов (соответственно 46,2 и 41,7 %). Среди муниципалитетов карельского приграничья выделяют Суоярвский район, 77,8 % жителей которого ни разу не были на территории сопредельного государства с целью шопинга, туризма или отдыха; также достаточно высока доля таковых в Муезерском (40,0 %) и Лоухском (50,0 %) районах. Отсутствие МАПП непосредственно на территории Суоярвского и Муезерского районов наряду со спецификой физико-географического положения Лоухского муниципалитета обосновывает подобное распределение ответов респондентов. Кроме того, не учитываются поездки жителей на территорию сопредельного государства с деловыми, профессиональными и иными отличными от отдыха, туризма и шопинга целями.

В вопросе оценки влияния ограничений на пересечение государственной российско-финляндской границы на жизнь местного населения (табл. 4) жители приграничья демонстрируют самую высокую в сравнении с глубинными и столичным муниципалитетами степень данного влияния. Так, каждый третий житель приграничья (32,0 %) дал ответ «да, существенно» на вопрос о степени влияния ограничений пересечения российско-финляндской государственной границы из-за пандемии на свою собственную жизнь и жизнь своей семьи. Кроме того, жизнь каждого пятого респондента карельского приграничья «скорее претерпела сильные изменения» (19,0 %). Следует обратить внимание, что совокупно влияние ограничений затронуло каждого второго жителя приграничья и столичного округа региона: 50,2 и 51,0 % соответственно. При этом почти половина местного населения глубинных муниципалитетов Республики Карелия (48,5 %) не ощутила такового воздействия на свою жизнь или жизнь своей семьи.

Таблица 4

Ответы на вопрос «Сильно ли повлияли ограничения пересечения российско-финляндской государственной границы из-за пандемии на вашу жизнь и жизнь вашей семьи?», чел./%

Территория	Да, существенно	Скорее да	Скорее нет	Нет, не повлияли
Петрозаводский городской округ	66/25,7	63/24,5	49/19,1	79/30,7
Приграничные муниципалитеты	37/32,0	22/19,0	22/19,0	35/30,0
Глубинные муниципалитеты	30/14,85	37/18,3	36/17,8	98/48,5
Республика Карелия	133/22,9	123/21,4	107/18,5	212/37,2

В муниципальном разрезе (рис. 3) самое значительное влияние наблюдается в Калевальском национальном (75,0 %), Лахденпохском (69,2 %) и Сортавальском (58,6 %) муниципалитетах, а также в Костомукшском городском округе (61,5 %). При этом больше половины жителей Суоярвского (66,7 %) района не ощутили воздействия ограничений пересечений государственной границы из-за пандемии COVID-19 на свою жизнь или жизнь своей семьи.

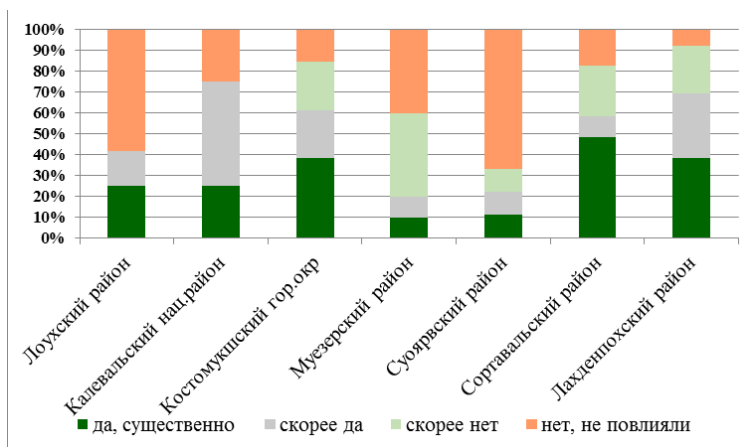


Рис. 3. Ответы на вопрос «Сильно ли повлияли ограничения пересечения российско-финляндской государственной границы из-за пандемии на вашу жизнь и жизнь вашей семьи?», %

Изменение финансового благосостояния семей в связи с ограничениями пересечения государственной российско-финляндской границы. Исследование изменения финансовой составляющей жизни местного населения из-за ограничений приграничного туризма осуществлено на основе трех вопросов, фокусирующихся на различных аспектах значимости финского въездного потока в регион и выездного турпотока в Финляндию.

Так, вопрос о приграничном туризме в качестве источника или одного из источников благосостояния для респондентов (табл. 5) выявляет отличие мнения жителей карельского приграничья от восприятия значимости трансграничной мобильности населением глубинных муниципалитетов региона. Почти треть жителей приграничных районов (30,2 %) рассматривают поездки финнов и/или свои поездки в Финляндию в качестве источника благосостояния семьи. Значение приграничного туризма в глубинных муниципалитетах и в столичном округе значительно меньше. Кроме того, в карельском приграничье (49,1 %) наблюдается самый низкий процент нейтральных оценок семейной доходности приграничного туризма; самый высокий — у жителей глубинных муниципалитетов (63,4 %). В муниципальном разрезе наибольшую зависимость от развития приграничного туризма выражают жители Лахденпохского (46,2 %), Калевальского национального (37,5 %) районов. При этом треть населения Сортавальского, Муезерского районов и Костомукшского городского округа указывает на важность приграничного туризма как источника семейного дохода.

Таблица 5

Ответы на вопрос «Является ли приграничный туризм (поездки финнов в Республику Карелия и ваши поездки в Финляндию) источником или одним из источников благосостояния для вас и вашей семьи?», чел./%

Территория	Да, полностью верно	Скорее да	Скорее нет	Нет, не является
Петрозаводский городской округ	14/5,4	36/14,0	58/22,56	149/58,0
Приграничные муниципалитеты	13/11,2	22/19,0	24/20,7	57/49,1
Глубинные муниципалитеты	12/5,9	22/10,9	40/19,8	128/63,4
Республика Карелия	39/6,6	80/13,9	122/21,2	334/58,1

Таким образом, ограничение пересечений государственной российско-финляндской границы влечет за собой изменение финансового благополучия жителей карельского приграничья.

При этом достаточно ожидаемо, что долевой показатель занятости в обслуживании финских туристов в карельском приграничье (7,8%) выше значений глубинных (5,0%) или столичного (2,7%) муниципалитетов. Кроме того, 59,4% местного населения приграничья готовы начать работу с финскими туристами, в том числе в качестве дополнительного заработка или при предложении хороших условий. Одновременно лишь пятый житель приграничных муниципалитетов не готов участвовать в обслуживании финских туристов (18,1%) против 30,7% жителей г. Петрозаводска или 26,7% глубинных муниципалитетов.

Преимущества и ограничения развития приграничного туризма: мнение жителей региона

Рассмотрение данного аспекта базируется на основе данных трех вопросов, раскрывающих личные (семейные) выгоды развития трансграничной туристской мобильности, преимущества и возможные негативные последствия развития приграничного туризма для региона.

Детализированный анализ ответов респондентов о личных и/или семейных выгодах развития финского въездного туризма в Республику Карелия (рис. 4) по большинству пунктов выделяет приграничные муниципалитеты региона. Обобщая, условно можно выделить несколько ключевых направлений, по которым наблюдается большее или меньшее превалирование преимуществ развития приграничного туризма в представлениях жителей карельского приграничья в сравнении с мнением жителей глубинных и столичного муниципалитетов: сфера профессиональных интересов, качество жизни и сфера личных интересов, отражающих ключевые аспекты жизнедеятельности человека. Таким образом, можно с некоторой долей уверенности констатировать более значимую роль приграничного туризма в жизни местного населения приграничья, чем жителей глубинных муниципалитетов или городского округа.

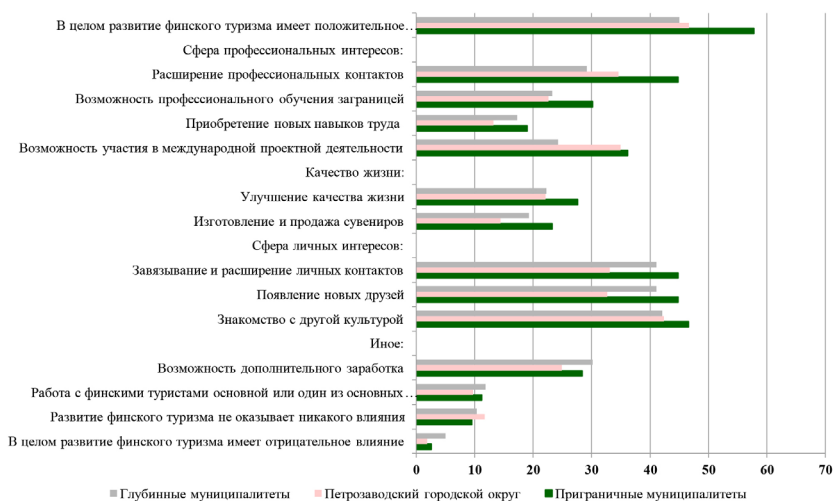


Рис. 4. Ответы на вопрос «В чем для вас лично и вашей семьи вы видите плюсы развития финского туризма в Республике Карелия?» (можно выбрать несколько вариантов ответов), %

Данные социологического исследования свидетельствуют о значимости и/или перспективности развития въездного туризма граждан сопредельной Финляндии в Республику Карелию. При этом фиксируется полное единогласие жителей приграничного региона в значимости и/или перспективности развития приграничного въездного туризма (табл. 6).

Таблица 6

Ответы на вопрос «Считаете ли вы туристские поездки финнов в Республику Карелию значимым и/или перспективным направлением туризма для социально-экономического развития региона?», чел./%

Территория	Полностью согласен (на)	Скорее да	Скорее нет	Не согласен(на)
Петрозаводский городской округ	89/34,6	130/50,6	35/13,6	3/1,2
Приграничные муниципалитеты	54/46,6	43/37,1	16/13,8	3/2,6
Глубинные муниципалитеты	62/30,7	102/50,5	33/16,3	5/2,5
Республика Карелия	205/35,7	275/47,8	84/14,6	11/1,9

Сопоставление мнения респондентов наглядно показывает значительно большую личную заинтересованность жителей приграничных муниципалитетов в развитии финского туризма в Республику Карелия (46,6 % которых полностью согласны с утверждением, что туристские поездки финнов значимы и/или перспективны для социально-экономического развития региона в сравнении с ответами респондентов столичного и глубинных районов, соответственно, 34,6 % и 30,7 %), что обусловлено экономическими, социальными, культурными, профессиональными и иными причинами.

Распределение ответов респондентов на противоположный вопрос, раскрывающий проблематику возможного негативного воздействия развития финского въездного туризма в Республику Карелия в муниципальном разрезе, достаточно показательно (рис. 5).



Рис. 5. Ответ на вопрос «В чем, на ваш взгляд, проявляется (может проявиться) негативное влияние увеличения числа финских туристов на территории вашего района, Карелии в целом?» (можно выбрать несколько вариантов ответов), %

Жители приграничных муниципалитетов чаще в силу специфики экономико-географического положения территорий встречаются с финскими гражданами при совершении взаимных регулярных поездок в социальных, культурных, семейных,

экономических целях, а также благодаря сформированным локальным социальным контактам по обе стороны государственной границы значительно менее категоричны в видении негативного влияния от возможного роста числа финских туристов в регион. Особенно заметна разница в представлении негативных последствий в ответах, характеризующих такие возможные отрицательные последствия, как изменение привычного образа жизни, появление закрытых туристских территорий и возникновение конфликтных ситуаций.

Заключение

Трансграничная туристская мобильность представляется привычным действием в образе жизни местного населения карельского приграничья, проявляясь в регулярном совершении поездок в сопредельное государство, частых контактах с финскими путешественниками, в сформированных предпочтениях и сети контактов с жителями и организациями Финляндии. Ограничения, вызванные новой коронавирусной инфекцией, внесли кардинальные изменения в трансграничную туристскую мобильность, оказав существенное влияние на жизнь приграничья по обе стороны российско-финляндской государственной границы.

Анализ данных социологического исследования местного населения Республики Карелия в муниципальном разрезе, проведенный в 2021 г. совместно с коллегой Е. А. Шлапеко, на предмет различных аспектов развития приграничного туризма позволил обосновать значимость исследуемого феномена в личной (семейной) жизни и в развитии территорий, а также подтвердить выдвинутую в начале исследования гипотезу. Действительно, в наибольшей степени ограничения под влиянием пандемии COVID-19 отразились на жизни жителей карельского приграничья и столичного городского округа, в меньшей степени затронули население глубинных муниципалитетов Республики Карелия. В этой связи, несмотря на специфику экономико-географического положения, сформированную сеть трансграничных связей и потребительских предпочтений, а также полное снятие ограничений пандемии COVID-19 при пересечении российско-финляндской государственной границы с 15 июля 2022 г., населению карельского приграничья, учитывая актуальность медико-биологических и иных факторов, целесообразно постепенно переориентироваться с внешних возможностей на внутренние ресурсы территории, осмыслить варианты выхода из возможных будущих ситуаций ограничений. Так, изменение Финляндией с 1 сентября 2022 г. порядка подачи заявлений на получение шенгенской визы представляется новым вызовом развитию трансграничной туристской мобильности. И хотя г. Петрозаводск вошел в число четырех российских городов, где можно будет подать заявление на получение туристической визы по предварительной записи, нововведение реализуется в ближайшем будущем в сокращении динамики приграничного туризма в российско-финляндском приграничье.

Дальнейшее исследование будет направлено на изучение трансформаций, адаптации и функционирования туристского бизнеса в условиях современных вызовов, поиска путей преодоления возникающих ограничений и продвижения положительного имиджа государства на мировой арене. Современные изменения требуют корректировки стратегических направлений развития международного туризма в Республике Карелия в целом и приграничных муниципалитетов региона, ориентированных на прием и обслуживание въездного туристского потока граждан сопредельного государства, в частности.

Автор выражает благодарность канд. полит. наук, научному сотруднику ИЭ КарНЦ РАН Е. А. Шлапеко за помощь в составлении и проведении социологического исследования. Статья подготовлена в рамках выполнения государственного задания ФИЦ КарНЦ РАН.

Список литературы

1. Więckowski, M. 2011, Cross-border mobility of Poles at the beginning of the 21st century, *Hungarian Studies Review*, № 1, p. 38—46.
2. Пирожник, И. И. 2015, Туристские миграции в трансграничном регионе как фактор активизации экономического сотрудничества (на примере белорусско-польского пограничья), *Проблемы безопасности российского общества*, № 2, с. 141—150.
3. Александрова, А. Ю. 2017, География туристских потоков в РФ: статистика, тренды, проблемы, *Наука. Инновации. Технологии*, № 1, с. 95—108.
4. Mikhailova, E. V. 2021, Cross-Border Tourism on the Russian–Chinese Border in 2014—2019: Customization of the Service Sectors of Border Cities for Chinese Tourists, *Reg. Res. Russ.*, № 11, p. 349—360, <https://doi.org/10.1134/S2079970521030096>.
5. Chow, C. K. W., Tsui, W. H. K. 2019, Cross-border tourism: Case study of inbound Russian visitor arrivals to China, *International Journal of Tourism Research*, <https://doi.org/10.1002/jtr.2297>.
6. Степанова, С. В. 2019, Трансграничная туристская мобильность в приграничье: теоретические и практические аспекты, *Вестник РУДН. Серия экономика*, № 3, с. 563s7. Степанова, С. В. 2019, Czynniki rozwoju turystyki przygranicznej na rosyjsko-fińskim pograniczu, *Przeegląd Geograficzny*, vol. 91, № 4, p. 573—587, <https://doi.org/10.7163/PrzG.2019.4.7>.
8. Колосов, В. А. 2016, Трансграничная регионализация и фронтальерские миграции: Европейский опыт для России?, *Региональные исследования*, № 3, с. 83—93.
9. Цапенко, И. П. 2018, Трансграничная мобильность населения: обновление формата, *Вестник Российской академии наук*, т. 88, № 11, с. 992—1002, <https://doi.org/10.31857/S086958730002332-3>
10. Anisiewicz, R., Palmowski, T. 2014, Small border traffic and cross-border tourism between Poland and the Kaliningrad oblast of the Russian Federation, *Quaestiones Geographicae*, vol. 33, № 2, p. 79—86.
11. Zaitseva, N. A., Korneevets, V. S., Semenova, L. V. 2016, Prospects for the Cross-Border Cooperation Between Russia and Poland in the Field of Tourism, *International Journal of environmental & science education*, vol. 11, № 14, p. 7166—7175.
12. Studzinska, D., Sivkoz, A., Domaniewski, S. 2018, Russian cross-border shopping tourists in the Finnish and Polish borderland, *Norsk Geografisk Tidsskrift*, vol. 72, № 2, p. 115—126, <https://doi.org/10.1080/00291951.2018.1451365>.
13. Гуменюк, И. С., Кузнецова, Т. Ю., Осмоловская, Л. Г. 2016, Местное приграничное передвижение как эффективный инструмент развития приграничного сотрудничества, *Балтийский регион*, т. 8, № 1, с. 97—117, <https://doi.org/10.5922/2074-9848-2016-1-6>.
14. Kropinova, E. G. 2020, The Role of Tourism in Cross-Border Region Formation in the Baltic Region. [In:] *Baltic Region — The Region of Cooperation. Springer Proceedings in Earth and Environmental Sciences*. Springer, Cham, p. 83—97, https://doi.org/10.1007/978-3-030-14519-4_10.
15. Манаков, А. Г., Голомидова, Е. С. 2018, Трансграничные туристско-рекреационные регионы на смежных территориях России, Эстонии и Латвии, *Географический вестник*, № 2, с. 156—166, <https://doi.org/10.17072/2079-7877-2018-2-156-166>.
16. Manakov, A. G., Golomidova, E. S. 2018, Estimating the Development of the Latvian-Estonian-Russian Transboundary Tourism and Recreation Region, *Balt. Reg.*, vol. 9, № 1, p. 130—141, <https://doi.org/10.5922/2079-8555-2018-1-8>.
17. Мирошниченко, О. В., Понкратова, Л. А. 2011, Международные туристские миграции как фактор интеграционных процессов между регионами России и Китая, *Управление экономическими системами: электронный научный журнал*, № 8, с. 1—42.
18. Honkanen, A., Pitkanen, K., Hall, M. C. 2016, A local perspective on cross-border tourism. Russian second home ownership in Eastern Finland, *International Journal of Tourism Research*, vol. 18, № 2, p. 149—158, <https://doi.org/10.1002/jtr.2041>.
19. Jakosuo, K. 2011, Russia and the Russian tourist in Finnish tourism strategies s20. Izotov, A., Laine, J. 2012, Constructing (Un)familiarity: role of tourism in identity and region building at the Finnish-Russian border, *European Planning studies*, p. 1—19, <https://doi.org/10.1080/09654313.2012.716241>.
21. Lipkina, O. 2013, Motives for Russian Second Home Ownership in Finland, *Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism*, vol. 13, № 4, p. 299—316, <https://doi.org/10.1080/15022250.2013.863039>.

22. Laine, J. 2017, Finnish-Russian border mobility and tourism: localism overruled by geopolitics, In: Hall, D. (ed.), *Tourism and geopolitics: issues and concepts from Central and Eastern Europe*. Wallingford: CABI, p. 178—190, <https://doi.org/10.1079/9781780647616.0178>.

23. Probirskaja, S. 2017, “Does anybody here speak Finnish?” Linguistic first aid and emerging translational spaces on the Finnish-Russian Allegro train, *Translation studies*, vol. 10, № 3, p. 231—246, <https://doi.org/10.1080/14781700.2017.1289861>.

24. Гурова, О. Ю. 2012, Почему петербуржцы отправляются за покупками в Финляндию? Исследование трансграничного шоппинга, *Экономическая социология*, т. 13, № 1, с. 18—37.

25. Гурова, О., Ратилайнен, С. 2015, «Турист с востока»: очерк о восприятии российского потребителя финской прессой, *Экономическая социология*, т. 16, № 3, с. 26—45.

26. Makkonen, T. 2016, Cross-border shopping and tourism destination marketing: the case of Southern Jutland, Denmark, *Scandinavian journal of hospitality and tourism*, vol. 16, Supp. 1, p. 36s27. Степанова, С. В., Шлапеко, А. Е. 2018, Тенденции развития трансграничной торговли в российско-финляндском приграничье, *Балтийский регион*, т. 10, № 4, с. 103—117, <https://doi.org/10.5922/2079-8555-2018-4-7>.

28. Бьёрн, И. 2015, Пограничная провинция: основные черты развития Северной Карелии после Второй Мировой войны) (пер. с фин. яз. Ю. М. Килина), *Studia Humanitatis Borealis*, т. 5, № 2, с. 4—16.

29. Манаков, А. Г., Кондратьева, С. В., Теренина, Н. К. 2020, Оценка степени сформированности трансграничных туристско-рекреационных регионов на карельском участке российско-финляндской границы, *Балтийский регион*, 2020, т. 12, № 2, с. 140—152, <https://doi.org/10.5922/2079-8555-2020-2-9>.

30. Lavrushina, N., Malmi, M., Tirri, S. 2021, Let’s write history of twinning between Karelian and Finnish municipalities, *Nordic and Baltic Studies Review*, № 6, <http://dx.doi.org/10.15393/j103.art.2021.2026>.

31. Kolosov, V., Więckowski, M. 2018, Border changes in Central and Eastern Europe: An introduction, *Geographia Polonica*, vol. 91, № 1, p. 5—16, <https://doi.org/10.7163/GPol.0106>.

32. Шлапеко, Е. А., Степанова, С. В. 2018, Формирование трансграничного социокультурного пространства в российско-финляндском приграничье (Республика Карелия, Россия — Северная Карелия, Финляндия), *Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки*, т. 9, № 3, с. 39—48, <https://doi.org/10.18721/JHSS.9304>.

33. Милюкова, И. А., Терентьев, Л. Ю., Такала, И. Л. и др. 2017, Финляндия глазами жителей республики Карелия: социологический опрос 2017 г., *Альманах североевропейских и балтийских исследований*, № 2, с. 504—531, <https://doi.org/10.15393/j103.art.2017.785>.

34. Luković, S., Stojković, D. 2020, COVID-19 pandemic and global tourism, *Hotel and Tourism Management*, vol. 8, № 2, p. 79—88, <https://doi.org/10.5937/menhotur2002079L%20>.

35. Manakov, A. G., Krasilnikova, I. N., Ivanov, I. A. 2022, Towards a classification of transboundary tourist and recreation mesoregions in the Baltic region, *Balt. Reg.*, vol. 14, № 1, p. 75—89, <https://doi.org/10.5922/2079-8555-2022-1-5>.

36. Степанова, С. В. 2019, Развитие туризма в приграничье: преимущества или ограничения? (Карельская практика), *Балтийский регион*, 2019, т. 11, № 2, с. 94—111, <https://doi.org/10.5922/2079-8555-2019-2-6>.

37. Stepanova, S. V. 2019, The Northern Ladoga region as a prospective tourist destination in the Russian-Finnish borderland: Historical, cultural, ecological and economic aspects, *Geographia Polonica*, vol. 92, № 4, p. 409—428, <https://doi.org/https://doi.org/10.7163/GPol.0156>.

Об авторе

Светлана Викторовна Кондратьева, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник, отдел региональной экономической политики, Институт экономики, Карельский научный центр РАН, Россия.

E-mail: svkorka@mail.ru

<https://orcid.org/0000-0001-8832-9182>



CROSS-BORDER TOURIST MOBILITY AS SEEN BY RESIDENTS OF THE KARELIAN BORDERLANDS: COVID-19 RESTRICTIONS

S. V. Kondrateva 

Institute of Economics Karelian Research Centre
Russian Academy of Sciences
50 A. Nevskogo Ave., Petrozavodsk, Republic of Karelia,
185030, Russia

Received 24.06.2022
doi: 10.5922/2079-8555-2022-4-5
© Kondrateva, S. V., 2022

This article offers a new approach to evaluating the significance of cross-border tourism for residents of the border region of Karelia amid COVID-19 restrictions. The work draws on data of a municipal-level survey of the region's population (575 people), conducted by the author in collaboration with Dr Ekaterina Shlapeko in 2021. Analysis of the survey results has confirmed the customariness of cross-border tourist mobility for the Karelians and the essential role it plays in their lives. These are manifested in regular trips to the neighbouring state, frequent contacts with Finnish travellers, marked preferences and a network of contacts with Finnish residents and organisations. The COVID-19 restrictions affected the routines of the residents of the Karelian borderlands more severely than those of people living in the inner municipalities or the regional capital. The findings of the study provide a comprehensive picture of the significance of cross-border tourist mobility (border tourism) and point to spatial differences in the perception of the study phenomenon by the residents of border, interior and urban municipalities. When applied in practice, the proposed approach gives an opportunity to widen the range of possible administrative decisions and can serve as a tool of regional economic policy on tourism.

Keywords:

cross-border tourist mobility, cross-border tourism, Karelian borderlands, municipality, Republic of Karelia, local population, COVID-19 pandemic, Finland

References

1. Więckowski, M. 2011, Cross-border mobility of Poles at the beginning of the 21st century, *Hungarian Studies Review*, № 1, p. 38–46.
2. Pirozhnik, I. I. 2015, Tourist migration in cross-border region as a factor of enhancing economic cooperation (exemplified by Belarusian-Polish borderland), *Security Problems of the Russian Society*, № 2, p. 141s3. Aleksandrova, A. Yu. 2017, Geography of tourist flows in the Russian Federation: statistics, trends, challenges, *Science. Innovations. Technologie*, № 1, p. 95–108.
4. Mikhailova, E. V. 2021, Cross-Border Tourism on the Russian-Chinese Border in 2014–2019: Customization of the Service Sectors of Border Cities for Chinese Tourists, *Reg. Res. Russ.*, № 11, p. 349–360, <https://doi.org/10.1134/S2079970521030096>.
5. Chow, C. K. W., Tsui, W. H. K. 2019, Cross—border tourism: Case study of inbound Russian visitor arrivals to China, *International Journal of Tourism Research*, <https://doi.org/10.1002/jtr.2297>.
6. Stepanova, S. V. 2019, Cross border tourist mobility in borderland: theoretical and practical aspects, *RUDN Journal of Economics*, № 3, p. 563–575, <https://doi.org/10.22363/2313-2329-2019-27-3-563-575> (in Russ.).
7. Stepanova, S. V. 2019, Czynniki rozwoju turystyki przygranicznej na rosyjsko-fińskim pograniczu, *Przegląd Geograficzny*, vol. 91, № 4, p. 573–587, <https://doi.org/10.7163/PrzG.2019.4.7>.

8. Kolosov, V. A. 2016, Cross-border regionalisation and commuters: European experience for Russia?, *Regional Studies*, № 3, p. 83—93 (in Russ.).
9. Tsapenko, I. P. 2018, Cross-border population mobility: format update, *Vestnik RAS*, vol. 88, № 11, p. 992—1002, <https://doi.org/10.31857/S086958730002332-3> (in Russ.).
10. Anisiewicz, R., Palmowski, T. 2014, Small border traffic and cross-border tourism between Poland and the Kaliningrad oblast of the Russian Federation, *Quaestiones Geographicae*, vol. 33, № 2, p. 79—86.
11. Zaitseva, N. A., Korneevets, V. S., Semenova, L. V. 2016, Prospects for the Cross-Border Cooperation Between Russia and Poland in the Field of Tourism, *International Journal of environmental & science education*, vol. 11, № 14, p. 7166—7175.
12. Studzinska, D., Sivkoz, A., Domaniewski, S. 2018, Russian cross-border shopping tourists in the Finnish and Polish borderland, *Norsk Geografisk Tidsskrift*, vol. 72, № 2, p. 115—126, <https://doi.org/10.1080/00291951.2018.1451365>.
13. Gumenyuk, I., Kuznetsova, T., Osmolovskaya, L. 2016, Local border traffic as an efficient tool for developing cross-border cooperation, *Baltic region*, vol. 8, № 1, p. 67s14. Kropinova, E. G. 2020, The Role of Tourism in Cross-Border Region Formation in the Baltic Region. [In:] *Baltic Region — The Region of Cooperation. Springer Proceedings in Earth and Environmental Sciences*. Springer, Cham, p. 83—97, https://doi.org/10.1007/978-3-030-14519-4_10.
15. Manakov, A. G., Golomidova, E. S. 2018, Transboundary tourist-recreational regions in the adjacent territories of Russia, Estonia and Latvia, *Geographical bulletin*, № 2, p. 156—166, <https://doi.org/10.17072/2079-7877-2018-2-156-166> (in Russ.).
16. Manakov, A. G., Golomidova, E. S. 2018, Estimating the Development of the Latvian-Estonian-Russian Transboundary Tourism and Recreation Region, *Baltic Region*, vol. 9, № 1, p. 130—141, <https://doi.org/10.5922/2079-8555-2018-1-8>.
17. Miroshnichenko, O. V., Ponkratova, L. A. 2011, International tourist migration as a factor of integration processes between Russian and Chinese regions, *Upravlenie ekonomicheskimi sistemami: elektronnyj nauchnyj zhurnal*, № 8, p. 1—42 (in Russ.).
18. Honkanen, A., Pitkanen, K., Hall, M. C. 2016, A local perspective on cross-border tourism. Russian second home ownership in Eastern Finland, *International Journal of Tourism Research*, vol. 18, № 2, p. 149—158, <https://doi.org/10.1002/itr.2041>.
19. Jakosuo, K. 2011, Russia and the Russian tourist in Finnish tourism strategies s20. Izotov, A., Laine, J. 2012, Constructing (Un) familiarity: role of tourism in identity and region building at the Finnish-Russian border, *European Planning studies*, p. 1—19, <https://doi.org/10.1080/09654313.2012.716241>.
21. Lipkina, O. 2013, Motives for Russian Second Home Ownership in Finland, *Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism*, vol. 13, № 4, p. 299—316, <https://doi.org/10.1080/15022250.2013.863039>.
22. Laine, J. 2017, Finnish-Russian border mobility and tourism: localism overruled by geopolitics, In: Hall, D. (ed.), *Tourism and geopolitics: issues and concepts from Central and Eastern Europe*. Wallingford: CABI, p. 178—190, <https://doi.org/10.1079/9781780647616.0178>.
23. Probirskaja, S. 2017, “Does anybody here speak Finnish?” Linguistic first aid and emerging translational spaces on the Finnish-Russian Allegro train, *Translation studies*, vol. 10, № 3, p. 231—246, <https://doi.org/10.1080/14781700.2017.1289861>.
24. Gurova, O. Yu. 2012, A Study of Cross-Border Shopping: Why Inhabitants of St. Petersburg Prefer to Do Shopping in Finland?, *Journal of Economic Sociology*, vol. 13, № 1, p. 18—37 (in Russ.).
25. Gurova, O., Ratilainen, S. 2015, “Eastern Tourist”: A Review of Images of Russian Consumers in Finnish Media, *Journal of Economic Sociology*, vol. 16, № 3, p. 26—45 (in Russ.).
26. Makkonen, T. 2016, Cross-border shopping and tourism destination marketing: the case of Southern Jutland, Denmark, *Scandinavian journal of hospitality and tourism*, vol. 16, Supp. 1, p. 36s27. Shlapenko, E. A., Stepanova, S. V. 2018, Trends in the development of cross-border trade in the Russian-Finnish borderlands, *Balt. Reg.*, vol. 10, № 4, p. 103—117, <https://doi.org/10.5922/2079-8555-2018-4-7>.
28. Björn, I. 2015, Border province: the main features of the development of North Karelia after World War II, *Studia Humanitatis Borealis*, vol. 5, № 2, p. 4—16 (in Russ.).

29. Manakov, A. G., Kondrateva, S. V., Terenina, N. K. 2020, Development of cross-border tourist and recreational regions on the Karelian section of the Russian-Finnish border, *Balt. Reg.*, 2020, vol. 12, № 2, p. 140—152, <https://doi.org/10.5922/2079-8555-2020-2-9>.
30. Lavrushina, N., Malmi, M., Tirri, S. 2021, Let's write history of twinning between Karelian and Finnish municipalities, *Nordic and Baltic Studies Review*, № 6, <http://dx.doi.org/10.15393/j103.art.2021.2026>.
31. Kolosov, V., Więckowski, M. 2018, Border changes in Central and Eastern Europe: An introduction, *Geographia Polonica*, vol. 91, № 1, p. 5—16, <https://doi.org/10.7163/GPol.0106>.
32. Shlapenko, E. A., Stepanova, S. V. 2018, Formation of cross-border socio-cultural space of Karelia (Republic of Karelia, Russia — North Karelia, Finland), *St. Petersburg State Polytechnical University Journal. Humanities and Social Sciences*, vol. 9, № 3, p. 39—48, <https://doi.org/10.18721/JHSS.9304> (in Russ.).
33. Miljukova, I. A., Terentyev, K. Yu., Takala, I. R. et al. 2017, Finland through the eyes of the residents of the republic of Karelia: survey 2017, *Nordic and Baltic Studies Review*, № 2, p. 504—531, <https://doi.org/10.15393/j103.art.2017.785>.
34. Luković, S., Stojković, D. 2020, COVID-19 pandemic and global tourism, *Hotel and Tourism Management*, vol. 8, № 2, p. 79—88, <https://doi.org/10.5937/menhottur2002079L%20>.
35. Manakov, A. G., Krasilnikova, I. N., Ivanov, I. A. 2022, Towards a classification of trans-boundary tourist and recreation mesoregions in the Baltic region, *Balt. Reg.*, vol. 14, № 1, p. 75—89, <https://doi.org/10.5922/2079-8555-2022-1-5>.
36. Stepanova, S. V. 2019, Tourism development in border areas: a benefit or a burden? The case of Karelia, *Balt. reg.*, 2019, vol. 11, № 2, p. 94—111, <https://doi.org/10.5922/2079-8555-2019-2-6>.
37. Stepanova, S. V. 2019, The Northern Ladoga region as a prospective tourist destination in the Russian-Finnish borderland: Historical, cultural, ecological and economic aspects, *Geographia Polonica*, vol. 92, № 4, p. 409—428, <https://doi.org/https://doi.org/10.7163/GPol.0156>.

The author

Svetlana V. Kondrateva, Senior Researcher, Department of Regional Economic Policy, Institute of Economics Karelian Research Centre of the Russian Academy of Sciences, Russia.

E-mail: svkorka@mail.ru

<https://orcid.org/0000-0001-8832-9182>



SUBMITTED FOR POSSIBLE OPEN ACCESS PUBLICATION UNDER THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION (CC BY) LICENSE ([HTTP://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BY/4.0/](http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/))

БЕЖЕНЦЫ ИЗ СИРИИ И ИРАКА В ШВЕЦИИ: ОСОБЕННОСТИ РАССЕЛЕНИЯ В ПЕРИОД МИГРАЦИОННОГО КРИЗИСА

М. М. Агафошин 

С. А. Горохов 

Р. В. Дмитриев 

Институт Африки РАН,
123001, Россия, Москва, ул. Спиридоновка, 30/1

Поступила в редакцию 27.07.2022 г.
doi: 10.5922/2079-8555-2022-4-6
© Агафошин М. М., Горохов С. А.,
Дмитриев Р. В., 2022

В условиях аномального увеличения численности вынужденных мигрантов в период Европейского миграционного кризиса на первый план для стран, аккумулирующих беженцев, вышли вопросы их приема и размещения. Цель исследования состоит в выявлении изменений в пределах Швеции расселения мигрантов из Сирии и Ирака в период 2014–2019 гг. Авторская методика базируется на использовании индекса Херфиндаля — Хиримана, изменение значений которого отражает уровень и направленность территориальной концентрации — деконцентрации мигрантов, а также индекса Рябцева, позволяющего определить степень близости структур расселения мигрантов и шведов. Установлено, что в кризисный период — особенно в его повышательной фазе — происходила организованная властями деконцентрация мигрантов по территории страны, которую в понижательной фазе кризиса и по его окончании сменил обратный процесс, самоорганизованный мигрантами. Деконцентрация иракцев и сирийцев привела к конвергенции структуры их расселения с таковой у шведов; концентрация — к дивергенции, сопровождающейся формированием на периферии крупнейших городов страны территорий с высокой долей мигрантов в населении. Формирование таких уязвимых с точки зрения властей страны районов, характеризующихся высоким уровнем криминализации, оказывает негативное влияние на процесс интеграции выходцев из Сирии и Ирака в шведское общество.

Ключевые слова:

Европейский миграционный кризис, Швеция, беженцы, расселение, уязвимые районы

Введение

По данным Международной организации по миграции (МОМ), за последние двадцать лет численность мигрантов в мире выросла более чем на 100 млн человек и в 2022 г. составляет 281 млн¹; крупнейшая группа в их составе (около $\frac{2}{3}$) — тру-

¹ World Migration Report 2022, 2022, IOM, URL: <https://publications.iom.int> (дата обращения: 10.07.2022).

Для цитирования: Агафошин М. М., Горохов С. А., Дмитриев Р. В. Беженцы из Сирии и Ирака в Швеции: особенности расселения в период миграционного кризиса // Балтийский регион. 2022. Т. 14, № 4. С. 98–112. doi: 10.5922/2079-8555-2022-4-6.

довые мигранты². Одновременно в последние десятилетия резко возросло число вынужденных мигрантов: трудности в их адаптации в принимающее общество наряду со слабой контролируемостью потоков беженцев делают миграцию одним из наиболее острых вопросов современности.

Ярким примером, иллюстрирующим сложность решения миграционных вопросов, стало стремительное увеличение мощности потоков беженцев в страны Европы с 2014 г., положившее начало Европейскому миграционному кризису³. На пике кризиса, в 2015—2016 гг., на территорию Европейского союза прибыли 2,5 млн беженцев, при этом лишь на две страны Ближнего Востока — Сирию и Ирак — пришлось около 40% их числа⁴. Столь беспрецедентное увеличение миграционной нагрузки стало серьезным системным вызовом для стран ЕС, выявившим существующие изъяны в реализации его миграционной и региональной политики [1; 2]. Неравномерность миграционной нагрузки на страны ЕС привела к появлению директив по перераспределению мигрантов из Греции и Италии⁵: последние, согласно Дублинскому регламенту⁶, как страны, через территорию которых проходили основные миграционные маршруты из стран Ближнего Востока в ЕС, оказались ответственными за рассмотрение ходатайств основной массы просителей убежища. Предложенная инициатива стала серьезным вызовом внутриевропейской солидарности, вызвав негативную реакцию в первую очередь восточноевропейских стран ЕС, которые фактически отказались принимать беженцев в соответствии с этими директивами [3; 4]. События Европейского миграционного кризиса обнажили не только противоречия политического характера на уровне ЕС в целом, но и социокультурные проблемы адаптации мигрантов-мусульман на уровне стран, принявших большое количество переселенцев — Германии, Швеции, Австрии, Нидерландов, Бельгии, Дании [5—9].

Один из наиболее важных факторов интеграции инокультурных иммигрантов — структура их расселения по территории принимающего государства [10]. В большинстве случаев она отличается высокой неравномерностью [11]: вследствие повышенной концентрации мигрантов в пределах крупных городских агломераций Европы формируются районы, представляющие собой территориальную форму эксклюзии и социальной сегрегации пришлых этнических и конфессиональных групп [12; 13].

Цель исследования состоит в выявлении изменений в пределах Швеции расселения мигрантов из Сирии и Ирака в период 2014—2019 гг. Исходя из поставленной цели исследования в работе решаются следующие задачи: 1) определить различия в расселении, с одной стороны, мигрантов из Сирии и Ирака и, с другой, шведского населения, сложившиеся в результате миграционного кризиса; 2) выявить изменения миграционной политики шведских властей, обусловленные необходимостью принятия и расселения значительного числа переселенцев.

² Global Issues. Migration, 2022, *United Nations*, URL: <https://www.un.org/en/global-issues/migration> (дата обращения: 10.07.2022).

³ В настоящем исследовании хронологические рамки Европейского миграционного кризиса охватывают период 2014—2019 гг.

⁴ Asylum and first time asylum applicants by citizenship, age and sex — annual aggregated data (rounded), 2022, *Eurostat*, URL: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/migr_asyarpctza (дата обращения: 01.05.2022).

⁵ Council Decision (EU) 2015/1601 of 22 September 2015 establishing provisional measures in the area of international protection for the benefit of Italy and Greece, 2015, *EUR-Lex*, URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2015/1601/oj> (дата обращения: 19.02.2022).

⁶ Regulation (EU) No. 604/2013 of the European Parliament and of the Council, 2013, *EUR-Lex*, URL: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/604/2013-06-29> (дата обращения: 10.04.2022).

Материалы и методы исследования

Выбор Швеции в качестве территориального полигона исследования связан со следующими причинами.

1. Страна имеет длительную историю принятия и расселения инокультурных мигрантов. До начала 1980-х гг. в структуре иммиграционного потока в Швецию преобладали трудовые мигранты из стран Северной, Западной и Южной Европы [14]. Рычаги миграционной политики находились в руках Совета по рынку труда, который занимался вопросами найма иммигрантов, их интеграции и предоставления места жительства [15]. В результате интенсификации потоков беженцев в страну и увеличения миграционной нагрузки на крупнейшие шведские города в 1980-е гг. была создана Миграционная служба Швеции, которая в 1985 г. начала реализацию «Стратегии всей Швеции» («Hela Sverige strategin»). Цель «Стратегии» состояла в ускорении интеграции беженцев посредством их более равномерного расселения из крупных в средние и малые по численности населения коммуны страны, имевшие необходимые объемы жилищного фонда и свободных рабочих мест [16]. Лицам, получившим убежище, предоставляли социальное жилье в определенной коммуне, где они должны были проживать в течение 18-месячного периода, однако штрафы или другие наказания в случае их переезда предусмотрены не были.

От «Стратегии всей Швеции» власти страны отказались в 1994 г., приняв закон о приеме просителей убежища⁷, который открыл последним возможность размещения как в социальном жилье («Anläggningsboende», АВО), предоставленном властями коммуны, так и в самостоятельно выбранном («Eget boende», ЕВО). Беженцы, предпочитавшие вариант АВО, не имели возможности выбора муниципалитета проживания и, как правило, размещались властями в небольших коммунах страны; выбравшие ЕВО обычно селились у друзей или родственников в крупных коммунах [17–19]. Все категории беженцев, независимо от выбранного ими варианта проживания, получали финансовую помощь от государства. Однако выбравшие ЕВО имели право только на суточные пособия, а расходы на жилье должны были в значительной степени покрывать самостоятельно. Власти страны ожидали, что лишь небольшая часть новоприбывших беженцев самостоятельно найдет жилье, однако, как показали исследования, в докризисный период 1998–2010 гг. более половины вынужденных мигрантов выбирали именно ЕВО, что привело к формированию в Швеции сегрегированных территорий с высокой долей мигрантского населения [20; 21].

Усиление миграционной нагрузки на Швецию в период Европейского миграционного кризиса, проблемы расселения беженцев, обострившиеся на фоне криминализации районов с повышенной концентрацией мигрантов, требовали обновления миграционной политики страны. Одним из шагов в этом направлении стал принятый 1 марта 2016 г. закон о приеме вновь прибывших иммигрантов, согласно которому все муниципалитеты Швеции были обязаны размещать у себя беженцев⁸. Количество беженцев, которое должна была принять та или иная коммуна, определялось исходя из ситуации на рынке труда, размера территории и числа уже находившихся в ней просителей убежища. В 2020 г. в результате внесения поправок в Закон 1994 г.⁹ прибывающие в страну беженцы, желающие самостоятельно поселиться в выделенных властями 32 «социально и экономически уязвимых» районах, теряли финансовую поддержку со стороны государства [22].

⁷ Lag om mottagande av asylsökande m.fl, 1994, *SFS-nummer 1994:137*, URL: <https://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=1994:137> (дата обращения: 12.05.2022).

⁸ Lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning, 2016, *SFS-nummer 2016:38* URL: <https://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=2016:38> (дата обращения: 12.05.2022).

⁹ Lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl, 2019, *SFS-nummer 2019:1204*. URL: <https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2019-12/SFS2019-1204.pdf> (дата обращения: 12.05.2022).

2. Основываясь на принципах своей миграционной политики, Швеция, позиционирующая себя как «гуманитарная сверхдержава» [23], приняла наибольшее среди стран ЕС количество беженцев из Сирии и Ирака в расчете на душу населения в период миграционного кризиса [24], а по абсолютным показателям прибывших в страну за данный период (более 140 тыс. человек) в ЕС она уступает только Германии.

3. Прием преимущественно инокультурных мигрантов, в том числе из Сирии и Ирака, приводит в Швеции к росту численности мусульманской общины, которая стала фактически «вторым большинством» в стране. Так, доля мусульман в религиозном населении Швеции составляет почти 14 %, а их численность, по нашим подсчетам, составляет 950 тыс. человек [14]. Шведские власти одними из первых в ЕС признали наличие в стране территорий с высоким уровнем преступности и повышенной долей мигрантов в структуре населения — «уязвимых районов»¹⁰, в которых фактически утрачена государственная монополия на власть.

Информационной базой исследования послужили официальные данные Статистического управления Швеции (SCB), содержащие сведения о структуре миграции в Швецию, происхождении населения и размещении мигрантов на территории страны по административно-территориальным единицам разного уровня¹¹.

Трансформация структуры размещения мигрантов на определенной территории обусловлена интенсивностью процессов их территориальной концентрации — деконцентрации. В качестве основного показателя, характеризующего структуру размещения мигрантов в Швеции (на уровне административно-территориальных единиц первого порядка — ленов), используется индекс Херфиндала — Хиршмана (НН1):

$$НН1 = \sum_{i=1}^N S_i^2,$$

где S_i — доля лена в общей численности мигрантов на территории страны, %; N — количество ленов.

Этот индекс принимает значения от $10000/N$ до 10000 и позволяет оценить степень концентрации мигрантов, а сравнение соответствующих значений индекса за рассматриваемый временной интервал — ее изменение. В случае увеличения значения индекса имеет место усиление территориальной концентрации мигрантов, и наоборот.

Сложившиеся особенности передвижения вынужденных мигрантов из Сирии и Ирака в Швецию в период миграционного кризиса, связанные с тем, что переселенцы попадали в страну преимущественно не воздушным, а сухопутным транспортом через территорию Дании, а также особенности внутренних перемещений мигрантов и миграционной политики шведских властей, направленные на равномерное расселение беженцев, привели к отличиям в расселении шведов и мигрантов. Для выявления уровня этих отличий в 2014—2019 гг. использовался индекс структурных сдвигов Рябцева (I_r):

$$I_r = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (k_m - k_{ш})^2}{\sum_{i=1}^n (k_m + k_{ш})^2}},$$

где n — количество административно-территориальных единиц второго уровня (коммун); k_m — доля каждой из n коммун в численности мигрантского населения из Сирии и/или Ирака; $k_{ш}$ — доля каждой из n коммун в численности граждан Швеции.

¹⁰ Utsatta områden — polisens arbete, *Polisen*, 2022, URL: <https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/utsatta-omraden> (дата обращения 15.06.2022).

¹¹ *Statistiska centralbyrån (SCB)*, 2022, URL: <https://www.scb.se> (дата обращения: 25.06.2022).

Преимущество I_r в сравнении с другими показателями абсолютных и относительных структурных сдвигов состоит помимо прочего в наличии шкалы значений в интервале [0; 1], позволяющей качественно интерпретировать полученные результаты [25]. Чем ниже значение этого индекса, тем в большей степени — при прочих равных условиях — структура расселения мигрантов по коммуна́м близка таковой для шведов.

Для выявления особенностей размещения мигрантов из Сирии и Ирака по отношению к гражданам Швеции, что наиболее ярко проявилось в период миграционного кризиса, все 290 коммун страны были объединены нами в 10 групп — децилей, примерно одинаковых по общей численности населения. При анализе различий в расселении не рассматривался 1-й дециль, представленный одной коммуной (Стокгольм), по причине аномальности переднего «хвоста» распределения — по аналогии с таковым в рамках правила Зипфа. Его образование — следствие распределения коммун по группам снизу, когда вклад каждой последующей группы все более отличается от идеальной 10 %-ной доли (особенно для первого дециля).

Результаты и их обсуждение

Согласно данным SCB, первые иракцы и сирийцы прибыли в страну в 1950—1960 гг., однако к 1980 г. их численность составляла лишь несколько более 2,2 тыс. человек. С 1980-х гг. начался период более активной иммиграции в Швецию (табл. 1), связанный с приемом нескольких волн беженцев — в первую очередь из Ирака, в результате обострения политической и экономической обстановки в ближневосточном регионе [26], а также военных конфликтов: ирано-иракской войны 1980—1988 гг., войны в Персидском заливе 1990—1991 гг., вторжения коалиции стран в Ирак в 2003 г. и последовавшей за этим иракской войны 2003—2011 гг. [27; 28].

Таблица 1

Численность сирийцев и иракцев в Швеции в 1950—2020 гг., чел.

Страна происхождения иммигрантов	Год							
	1950	1960	1970	1980	1990	2000	2010	2020
Сирия	0	6	100	1606	5874	14 162	20 758	193 594
Ирак	5	16	108	631	9818	49 372	121 761	146 440

Источник: составлено авторами по данным Folkmängd Efter Födelseland¹².

К началу миграционного кризиса в 2014 г. на территории Швеции проживали 197,8 тыс. граждан Ирака и Сирии в соотношении 2:1. Сложившаяся предшествующими десятилетиями структура их расселения характеризовалась значительной неравномерностью: 64,2 % иракцев и 50,8 % сирийцев проживали в 3 из 21 лена страны — Стокгольме, Вестра-Гёталанде и Сконе¹³.

В результате Европейского миграционного кризиса к 2019 г. сирийцы и иракцы стали крупнейшими этническими меньшинствами в Швеции, отеснив на третье место финнов, которые лидировали по этому показателю с начала прошлого столетия. Несмотря на то что к окончанию кризисного периода упомянутые выше лены по-прежнему лидировали в стране по доле сирийцев и иракцев (рис. 1), для каждой из этих общин за предшествующее пятилетие была в целом характерна деконцентрация по территории страны (табл. 2).

¹² Folkmängd Efter Födelseland 1900—2021, *Statistiska Centralbyrån (SCB), 2022*, URL: <https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/utrikes-fodda--medborgarskap-och-utlandskvensk-bakgrund/folkmangd-efter-fodelseland-19002021/> (дата обращения: 10.02.2022).

¹³ В этих же ленах проживали 50,3 % шведов.

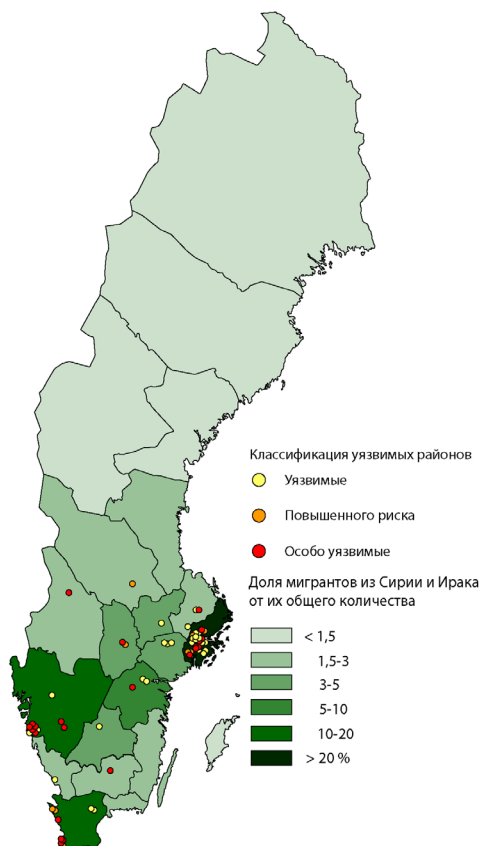


Рис. 1. Структура размещения мигрантов из арабских стран Азии по ленам и «уязвимые районы» Швеции, 2019 г.

Источник: рассчитано и составлено авторами по данным *Folkmängden efter region, födelseland och kön*¹⁴; *Kriminell påverkan i lokalsamhället*¹⁵.

Таблица 2

Показатели территориальной концентрации мигрантов из Ирака и Сирии, а также граждан Швеции по территории ленов, 2014–2019 гг.

Значение <i>НИИ</i> по группам населения	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Мигранты из Ирака	1640,2	1639,0	1630,1	1608,3	1606,2	1599,8
Мигранты из Сирии	1149,6	988,4	898,7	932,5	937,4	936,0
Граждане Швеции	1027,4	1032,1	1035,7	1038,1	1040,5	1042,9

Источник: здесь и далее, если не указано иное, расчетные данные приводятся по *Folkmängden efter region, födelseland och kön*¹⁶.

¹⁴ *Folkmängden efter region, födelseland och kön. År 2000–2021, Statistiska Centralbyrån (SCB), 2022*, URL: https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START_BE_BE0101_BE0101E/FolkmRegFlandK/ (дата обращения: 14.03.2022).

¹⁵ *Kriminell påverkan i lokalsamhället — En lägesbild för utvecklingen i utsatta områden, Polisen, 2019*, URL: https://polisen.se/siteassets/dokument/ovriga_rapporter/kriminell-paverkan-i-lokalsamhallet.pdf (дата обращения: 13.07.2022).

¹⁶ *Folkmängden efter region, födelseland och kön. År 2000 — 2021, Statistiska Centralbyrån (SCB), 2022*, URL: https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START_BE_BE0101_BE0101E/FolkmRegFlandK/ (дата обращения: 14.03.2022).

Наиболее значительной деконцентрация была у сирийцев — в связи с резким уменьшением доли лена Стокгольм в общей численности сирийцев Швеции (с 24,6 % в 2014 г. до 16,0 % в 2019 г.) и увеличением таковой для южных ленов (Ско-не, Халланд, Кальмар, Крунеберг, Йёнчёпинг), а также с тем, что в период кризиса мигранты попадали на территорию Швеции с юга — из Дании. Примечательно, что максимальной деконцентрация сирийцев была по ленам страны не до или после, а на пике кризиса — в 2016 г. — вследствие более равномерного расселения беженцев после принятия в этом году закона о приеме вновь прибывших иммигрантов.

Более высокий уровень концентрации иракцев по сравнению с сирийцами связан с их более высокой численностью и устойчивой структурой расселения по территории страны. Снижение этого уровня в период кризиса обусловлено падением в иракском населении Швеции доли ленов Стокгольм (с 31,3 до 30,7 %), Эребру и Евлеборг и увеличением (на 2 %) — лена Даларна, произошедшем за счет активного перераспределения беженцев [29].

Изменения в размещении мигрантов из Сирии и Ирака наблюдались не только на уровне ленов Швеции, но и на уровне коммун. Так, миграционный кризис инициировал конвергенцию распределений шведов и мигрантов по коммуна, сменившуюся дивергенцией по его окончании (табл. 3). Сближение структур расселения сирийцев и шведов достигло своего максимума в 2017 г. — в первый год снижения мощности миграционного потока из Сирии. Этому способствовала деятельность Шведского миграционного агентства, нацеленная на более равномерное расселение сирийских беженцев в предоставляемое коммунами социальное жилье (АВО). В рамках организованного расселения беженцы распределялись в первую очередь в малые коммуны страны (8, 9-й и 10-й дециль), доля которых в общей численности беженцев в Швеции выросла с 28,6 % в 2014 г. до 39,0 % в 2016 г. (рис. 2).

Таблица 3

Степень различия между структурами расселения шведов и мигрантов из Сирии и Ирака по коммуна Швеции за период 2014—2019 гг.

Год	Средние границы численности населения групп коммун, человек			Значения I_r по совокупностям мигрантов и шведов, расселенных по коммуна страны		
	Крупные (2—4-й децили)	Средние (5—7-й децили)	Малые (8—10-й децили)	Мигранты из Сирии	Мигранты из Ирака	Совокупность мигрантов из Сирии и Ирака
2014				0,376	0,348	0,319
2015				0,351	0,345	0,295
2016	93 567—	33 484—	2445—	0,329	0,342	0,266
2017	560 199	91 238	33 130	0,298	0,334	0,256
2018				0,305	0,331	0,258
2019				0,311	0,328	0,262

Источник: рассчитано и составлено авторами.

Рост различий в расселении шведов и мигрантов с 2018 г. связан с активизацией процессов самоорганизации в размещении сирийцев по территории Швеции. Проведенное нами исследование дальнейшего расселения сирийских беженцев в Швеции подтверждает выводы, полученные стокгольмскими учеными, согласно которым беженцы, размещенные в АВО в период 2005—2009 гг., уже в первые годы нахождения в стране достаточно часто переезжают из небольшого города/сельского района в крупный городской район [30]. Таким образом, можно констатировать долговременный характер данного тренда в самоорганизации расселения беженцев в Швеции.

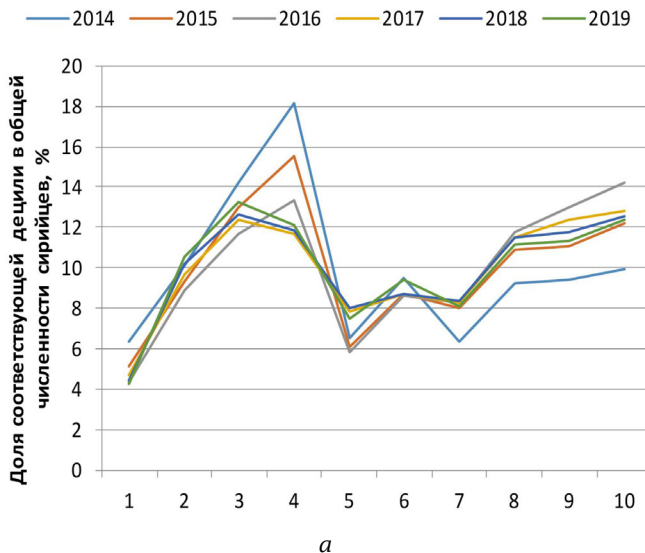


Рис. 2. Распределение сирийцев (а) и иракцев (б) по децилям коммун Швеции в 2014—2019 гг.

Размещение иракцев по децилям коммун к началу кризиса характеризовалось еще большей, чем у сирийцев, концентрацией в крупных коммунах. Однако само их распределение в период 2014—2019 гг. было более равномерным (при незначительном росте в этот период малых коммун), что связано с относительно незначительным числом приехавших мигрантов из Ирака в период кризиса по сравнению с таковым в 2000-х гг. Значительный рост числа иракцев в средних по численности коммунах (5-й дециль) в 2016—2017 гг. объясняется переходом в эту группу некоторых коммун 4-го дециля. Таким образом, перераспределение иракцев в пределах Швеции в период миграционного кризиса во многом было обусловлено траекторией, сформированной еще до его начала.

Размещение сирийцев и иракцев в пределах крупных городских коммун прежде всего трех «столичных» ленов Швеции (рис. 2), преобладание в структуре переселенцев

ленцев инокультурного, прежде всего мусульманского, контингента затрудняет интеграцию иммигрантов в шведское общество, характеризующееся высоким уровнем секуляризованности [31; 32].

Именно в крупнейших городских агломерациях страны располагается большинство уязвимых районов¹⁷ (см. рис. 1). Они представляют собой шведский вариант «запретных зон»¹⁸, распространившихся в последнее время во многих городских кварталах Европы, которые можно рассматривать как форму территориальной эксклюзии мигрантского, преимущественно мусульманского населения в странах ЕС [33]. Институализация понятия «уязвимый район» со стороны правительства Швеции произошла именно в результате резкого увеличения численности беженцев в стране в 2014 г. Официальные власти разделили выделенные районы на три категории, исходя из степени остроты в них социальных проблем и уровня криминализации общества: уязвимые, повышенного риска и особо уязвимые.

В настоящее время в пределах уязвимых районов Швеции проживают 27,5 % иракцев и 15,8 % сирийцев¹⁹, что свидетельствует о высокой степени территориальной эксклюзии мигрантов из этих стран. Наиболее высок ее уровень в пределах трех «столичных» ленов: в уязвимых районах Стокгольма проживают 47,1 % иракцев и 37,7 % сирийцев лена; Вестра-Гёталанда — 56,0 и 48,5 %, Сконе — 34,4 и 30,3 % соответственно. К категории особо уязвимых правительством отнесены 22 района с общей численностью населения 200 тыс. человек — Хусбю в Стокгольме, Рона/Гелета/Лина в Сёдертаље, Эльбо в Гётеборге, Русенгорд в Мальмё, Кроногорден в Трольхеттане и ряд других, в которых значительную часть населения образуют выходцы из Ирака и Сирии²⁰. Контроль за этими районами со стороны шведских властей фактически потерян, а надзорные функции переходят к представителям этнических и религиозных меньшинств²¹.

Заключение

Лавинообразное увеличение мощности потоков беженцев из Сирии и Ирака в страны Европы продемонстрировало несовершенство механизмов миграционной и региональной политики ЕС, страны которого так и не смогли прийти к единому решению по принципиальным вопросам о распределении потоков беженцев и расселении последних по территории Союза. Результатом нерешенности этих проблем стало обострение политической и социальной напряженности в странах региона.

Для Швеции, принявшей самое большое в Европе число беженцев на душу населения, в период Европейского миграционного кризиса была характерна территориальная деконцентрация мигрантов по ленам страны. Этот процесс наиболее ярко проявился именно для сирийских мигрантов, достигнув своего максимума в 2016 г., после чего сменился концентрацией. В свою очередь, расселение иракцев характеризовалось более равномерной деконцентрацией на протяжении всего периода.

Сравнение совокупностей граждан Швеции и мигрантов из Сирии и Ирака указывает на то, что конвергенция в их расселении по коммунах страны имела ме-

¹⁷ Швед. utsatta områden.

¹⁸ Англ. no-go-zones.

¹⁹ И лишь 1,9 % ее коренных жителей.

²⁰ *Fakta för förändring: demografi och boende*, 2019, Stockholm: Stiftelsen The Global Village, 84 p. URL: <https://theglobalvillage.se/wp-content/uploads/2021/03/Fakta-för-förändring-Final-version.pdf> (дата обращения: 13.07.2022).

²¹ *Kriminell påverkan i lokalsamhället — En lägesbild för utvecklingen i utsatta områden, Polisen*, 2019, URL: https://polisen.se/siteassets/dokument/ovriga_rapporter/kriminell-paverkan-i-lokalsamhallet.pdf (дата обращения: 13.07.2022).

сто именно в период наиболее активной фазы миграционного кризиса — с 2015 по 2016 г. — и достигла своего максимума в 2017 г. — в первый год сокращения миграционного потока в страну. Сближение структур расселения мигрантов и шведов происходило за счет перераспределения в период активной фазы кризиса беженцев в малые коммуны, осуществлявшегося Шведским миграционным агентством. В дальнейшем, с 2018 г., началась резкая дивергенция в расселении этих групп населения, связанная с возрастанием роли самоорганизации в расселении сирийцев и иракцев по территории Швеции, которые предпочитали селиться в крупных по численности населения городских коммунах страны.

Отличительной чертой внутренней миграции выходцев из Сирии и Ирака стало увеличение их концентрации в периферийных районах крупнейших шведских городов. Именно такие определяемые властями уязвимые районы, характеризующиеся высоким уровнем криминализации, неприятием норм и ценностей принимающего общества, распространением фундаментальных мусульманских ценностей, радикальных идей стали формой территориальной эксклюзии мигрантского населения из Сирии и Ирака.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-18-00123.

Список литературы

1. Потемкина, О. Ю. 2019, После кризиса: «новый старт» миграционной политики ЕС, *Современная Европа*, № 6, с. 18—30, <http://dx.doi.org/10.15211/soveurope620191829>.
2. Войников, В. В. 2019, От Средиземноморья до Балтики: проблема имплементации принципа солидарности в рамках политики ЕС в области иммиграции и убежища, *Балтийский регион*, т. 11, № 2, с. 17—31, <https://doi.org/10.5922/2079-8555-2019-2-2>.
3. Бабынина, Л. О. 2015, Страны Центральной Европы в ЕС: особенности регионального участия, *Современная Европа*, № 6, с. 32—35, <http://dx.doi.org/10.15211/soveurope620153235>.
4. Малахов, В. С., Касцян, К. А. 2020, Евросоюз перед лицом вынужденной миграции: политическое и юридическое измерение, *Полис. Политические исследования*, № 4, с. 139—151, <https://doi.org/10.17976/jpps/2020.04.10>.
5. Андреева, Л. А. 2019, Исламизация Германии: «параллельное» мусульманское общество и светское государство, *Современная Европа*, № 5, с. 110—122, <https://doi.org/10.15211/soveurope52019110121>.
6. Капицын, В. М., Магомедов, А. К., Шапаров, А. Е. 2022, Иммиграционная политика и интеграция мигрантов в Королевстве Дания в начале XXI века, *Балтийский регион*, т. 14, № 1, с. 98—114, <https://doi.org/10.5922/2079-8555-2022-2-7>.
7. Плевако, Н. С., Чернышева, О. В. 2019, *Можно ли стать шведом? Политика адаптации и интеграции иммигрантов в Швеции после Второй мировой войны*, Москва, КРАСАНД, 326 с.
8. Zorlu, A., Mulder, C. H. 2008, Initial and Subsequent Location Choices of Immigrants to the Netherlands, *Regional Studies*, vol. 42, № 2, p. 245—264, <https://doi.org/10.1080/00343400601145210>.
9. Van der Bracht, K., Van de Putte, B., Verhaeghe, P.-P., Van Kerckem, K. 2014, Ethnic Diversity in Belgium: Old and New Migration, Old and New Developments, *DiGeSt. Journal of Diversity and Gender Studies*, vol. 1, № 1, p. 3—81, <https://doi.org/10.11116/jdivegendstud.1.1.0073>.
10. Berry, J. 1997, Immigration, Acculturation, and Adaptation, *Applied Psychology: An International Review*, vol. 46, № 1, p. 5—34, <https://doi.org/10.1111/j.1464-0597.1997.tb01087.x>.
11. Viñuela, A. 2022, Immigrants' spatial concentration: Region or locality attractiveness? *Population, Space and Place*, vol. 28, № 2, <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/psp.2530>.
12. Andersen, H. S. 2015, Explanations for Special Neighbourhood Preferences among Ethnic Minorities, *Housing, Theory and Society*, vol. 32, № 2, p. 196—217, <https://doi.org/10.1080/14036096.2015.1012593>.

13. Musterd, S., Andersson, R., Galster, G., Kauppinen, T. M. 2008, Are Immigrants' Earnings Influenced by the Characteristics of Their Neighbours? *Environment and Planning A: Economy and Space*, vol. 40, № 4, p. 785—805, <https://doi.org/10.1068/a39107>.

14. Агафошин, М. М., Горохов, С. А. 2020, Влияние внешней миграции на формирование конфессиональной структуры населения Швеции, Балтийский регион, т. 12, № 2, с. 84—99, <https://doi.org/10.5922/2079-8555-2020-2-6>.

15. Haberfeld, Y., Birgier, D. P., Lundh, C., Elldér, E. 2019, Selectivity and Internal Migration: A Study of Refugees' Dispersal Policy in Sweden, *Front. Sociol.*, vol. 4, № 66, <https://doi.org/10.3389/fsoc.2019.00066>.

16. Åslund, O., Edin, P., Fredriksson, P., Grönqvist, H. 2011, Peers, Neighborhoods, and Immigrant Student Achievement: Evidence from a Placement Policy, *Am. Econ. J.: Appl. Econ.*, vol. 3, № 2, p. 67—95, <https://doi.org/10.1257/app.3.2.67>.

17. Malmberg, B., Andersson, E. K., Nielsen, M. M., Haandrikman, K. 2018, Residential Segregation of European and Non-European Migrants in Sweden: 1990—2012, *Eur. J. Population*, vol. 34, p. 169—193, <https://doi.org/10.1007/s10680-018-9478-0>.

18. Wennström, J., Öner, Ö. 2020, Political Hedgehogs: The Geographical Sorting of Refugees in Sweden, *Statsvetensk Tidskr.*, № 122, p. 671—685, <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.32828.59522>.

19. Vogiazides, L., Mondani, H. 2020, A Geographical Path to Integration? Exploring the Interplay between Regional Context and Labour Market Integration among Refugees in Sweden, *Journal of Ethnic and Migration Studies*, vol. 46, № 1, p. 23—45, <https://doi.org/10.1080/1369183X.2019.1588717>.

20. Bevelander, P., Mata, F., Pendakur, R. 2019, Housing Policy and Employment Outcomes for Refugees, *Int. Migr.*, № 57, p. 134—154, <https://doi.org/10.1111/imig.12569>.

21. Myrberg, G. 2017, Local Challenges and National Concerns: Municipal Level Responses to National Refugee Settlement Policies in Denmark and Sweden, *International Review of Administrative Sciences*, vol. 83, № 2, p. 322—339, <https://doi.org/10.1177/0020852315586309>.

22. Emilsson, H., Öberg, K. 2022, Housing for Refugees in Sweden: Top-Down Governance and its Local Reactions, *Int. Migration & Integration*, vol. 23, p. 613—631, <https://doi.org/10.1007/s12134-021-00864-8>.

23. Гришин, И. В. 2019, Интеграция иммигрантов в Швеции (социально-политический аспект), *Южно-российский журнал социальных наук*, т. 20, № 1, с. 40—56, <https://doi.org/10.31429/26190567-20-1-40-56>.

24. Henrekson, M., Öner, Ö., Sanandaji, T. 2020, 'The Refugee Crisis and the Reinvigoration of the Nation-State: Does the European Union Have a Common Asylum Policy?' In: Bakardjieva Engelbrekt, A., Leijon, K., Michalski, A., Oxelheim, L. (eds.), *The European Union and the Return of the Nation State*, Palgrave Macmillan, Cham, https://doi.org/10.1007/978-3-030-35005-5_4.

25. Рябцев, В. М., Чудилин, Г. И. 2001, *Региональная статистика*, Москва, ООО «Московский издательский дом», 380 с.

26. Агафошин, М. М. 2017, Факторы миграции населения арабских стран Азии в ЕС, *Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Естественные науки*, № 2 (18), с. 56—64, <https://doi.org/10.21685/2307-9150-2017-2-7>.

27. Волков, А. М. 2018, Мигранты в странах северной Европы: шведский подход, *Вестник Института экономики Российской академии наук*, № 4, с. 104—119, <https://doi.org/10.24411/2073-6487-2018-00063>.

28. Сарабьев, А. В. 2021, Трудовые мигранты с арабского Востока в Швеции: изменение парадигмы, *Балтийский регион*, т. 13, № 4, с. 95—110, <https://doi.org/10.5922/2079-8555-2021-4-6>.

29. Galera, G., Giannetto, L., Membretti, A., Noya, A. 2018, Integration of Migrants, Refugees and Asylum Seekers in Remote Areas with Declining Populations, *OECD Local Economic and Employment Development (LEED) Papers, № 2018/03*, London, OECD Publishing, <https://doi.org/10.1787/84043b2a-en>.

30. Vogiazides, L., Mondani, H. 2021, Geographical Trajectories of Refugees in Sweden: Uncovering Patterns and Drivers of Inter-Regional (Im)mobility, *Journal of Refugee Studies*, vol. 34, № 3, p. 3065—3090, <https://doi.org/10.1093/jrs/feaa074>.

31. Балабейкина, О. А., Мартынов, В. Л. 2017, Конфессиональное пространство современной Швеции: христианские деноминации, *Балтийский регион*, т. 9, № 3, с. 113—127, <https://doi.org/10.5922/2074-9848-2017-3-6>.

32. Gorokhov, S. A., Dmitriev, R. V. 2016, Experience of Geographical Typology of Secularization Processes in the Modern World, *Geography and Natural Resources*, vol. 37, № 2, p. 93–99, <https://doi.org/10.1134/S1875372816020013>.

33. Агафшин, М. М., Горохов, С. А., Дмитриев, Р. В. 2020, Сомалийцы в Швеции: региональное измерение, *Современная Европа*, № 7, с. 132–143, <https://doi.org/10.15211/soveurope72020150161>.

Об авторах

Максим Михайлович Агафшин, кандидат географических наук, старший научный сотрудник Центра глобальных и стратегических исследований, Институт Африки РАН, Россия.

E-mail: agafoshinmm@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-0245-0481>

Станислав Анатольевич Горохов, доктор географических наук, ведущий научный сотрудник Центра глобальных и стратегических исследований, Институт Африки РАН, Россия.

E-mail: stgorohov@yandex.ru

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9984-6054>

Руслан Васильевич Дмитриев, доктор географических наук, научный сотрудник Центра глобальных и стратегических исследований, Институт Африки РАН, Россия.

E-mail: dmitrievrv@yandex.ru

<https://orcid.org/0000-0003-4018-9832>



ПРЕДСТАВЛЕНО ДЛЯ ВОЗМОЖНОЙ ПУБЛИКАЦИИ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ЛИЦЕНЗИИ CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION (CC BY) ([HTTP://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BY/4.0/](http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/))

REFUGEES FROM SYRIA AND IRAQ IN SWEDEN: RESETTLEMENT DURING THE MIGRATION CRISIS

M. M. Agafoshin 

S. A. Gorokhov 

R. V. Dmitriev 

¹Institute for African Studies of the Russian Academy of Sciences
30/1 Spiridonovka St., Moscow, 123001, Russia

Received 27.07.2022

doi: 10.5922/2079-8555-2022-4-6

© Agafoshin, M. M., Gorokhov, S. A.,
Dmitriev, R. V., 2022

The vast increase in the number of forced migrants during the European migration crisis has compelled the receiving countries to concentrate on the issues of migrant reception and accommodation. This study aims to demonstrate how the patterns of settlement of Syrian and Iraqi migrants changed in 2014–2019. We propose a new methodology, building on the Her-

To cite this article: Agafoshin, M. M., Gorokhov, S. A., Dmitriev, R. V. 2022, Refugees from Syria and Iraq in Sweden: resettlement during the migration crisis, *Balt. Reg.*, Vol. 14, no 4, p. 98–112. doi: 10.5922/2079-8555-2022-4-6.

findahl-Hirschman index, an indicator of the level and direction of the spatial concentration–deconcentration of migrants, and the Ryabtsev index, which is used to measure the proximity between the settlement structures of migrants and the Swedes. It is established there was a deconcentration of migrants during the crisis (especially in its ascendant phase), carried out by the Swedish authorities. However a reverse process took place in the descendant phase, as a result of self-arranged migrants' resettlement. The deconcentration of Iraqis and Syrians led to the convergence between the settlement structure typical of immigrants and the Swedes, whilst concentration resulted in divergence accompanied by the emergence of close-knit immigrant communities on the outskirts of Sweden's largest cities. The formation of such communities, seen as vulnerable by the national authorities and marked by a high crime rate, impedes the integration of Syrian and Iraqi immigrants into Swedish society.

Keywords:

European migration crisis, Sweden, refugees, resettlement, vulnerable areas

References

1. Potemkina, O. Yu. 2019, After the Crisis: “A New Start” of the EU Migration Policy, *Contemporary Europe*, № 6, p. 18–30, <http://dx.doi.org/10.15211/soveurope620191829>. (in Russ.).
2. Voynikov, V. V. 2019, From the Mediterranean to the Baltic: The Problem of Implementing the Principle of Solidarity in the EU Area of Immigration and Asylum, *Balt. Reg.*, vol. 11, № 2, p. 17–31, <https://doi.org/10.5922/2079-8555-2019-2-2>.
3. Babynina, L. O. 2015, Central European countries in the EU: the peculiarities of regional participation, *Contemporary Europe*, № 6, p. 32–35, <http://dx.doi.org/10.15211/soveurope620153235> (in Russ.).
4. Malakhov, V. S., Kastsyan, K. A. 2020, The EU's Migration Dilemma: Legal and Political Dimensions, *Polis. Political Studies*, № 4, p. 139–151, <https://doi.org/10.17976/jpps/2020.04.10> (in Russ.).
5. Andreeva, L. A. 2019, Islamization of Germany: “Parallel” Muslim Society vs. Secular State, *Contemporary Europe*, № 5 (91), p. 110–122, <https://doi.org/10.15211/soveurope52019110121> (in Russ.).
6. Kapitsyn, V. M., Magomedov, A. K., Shaparov, A. E. 2022, Immigration Policy and Integration of Migrants in the Kingdom of Denmark at the Beginning of the XXI Century, *Balt. Reg.*, vol. 14, № 2, p. 98–114, <https://doi.org/10.5922/2079-8555-2022-2-7>.
7. Plevako, N. S., Chernysheva, O. V. 2019, *Mozhno li stat' shvedom? Politika adaptatsii i integratsii immigrantov v Shvetsii posle Vtoroi mirovoi voiny [Is it possible to become a Sweden? Immigrant Adaptation and Integration Policy in Sweden after World War II]*, vol. 2, Moscow, KRASAND (in Russ.).
8. Zorlu, A., Mulder, C. H. 2008, Initial and Subsequent Location Choices of Immigrants to the Netherlands, *Regional Studies*, vol. 42, № 2, p. 245–264, <https://doi.org/10.1080/00343400601145210>.
9. Van der Bracht, K., Van de Putte, B., Verhaeghe, P.-P., Van Kerckem, K. 2014, Ethnic Diversity in Belgium: Old and New Migration, Old and New Developments, *DiGeSt. Journal of Diversity and Gender Studies*, vol. 1, № 1, p. 3–81, <https://doi.org/10.11116/jdivegendstud.1.1.0073>.
10. Berry, J. 1997, Immigration, Acculturation, and Adaptation, *Applied Psychology: An International Review*, vol. 46, № 1, p. 5–34, <https://doi.org/10.1111/j.1464-0597.1997.tb01087.x>.
11. Viñuela, A. 2022, Immigrants' spatial concentration: Region or locality attractiveness? *Population, Space and Place*, vol. 28, № 2, <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/psp.2530>.
12. Andersen, H. S. 2015, Explanations for Special Neighbourhood Preferences among Ethnic Minorities, *Housing, Theory and Society*, vol. 32, № 2, p. 196–217, <https://doi.org/10.1080/14036096.2015.1012593>.
13. Musterd, S., Andersson, R., Galster, G., Kauppinen, T. M. 2008, Are Immigrants' Earnings Influenced by the Characteristics of Their Neighbours? *Environment and Planning A: Economy and Space*, vol. 40, № 4, p. 785–805, <https://doi.org/10.1068/a39107>.
14. Agafoshin, M. M., Gorokhov, S. A. 2020, Impact of External Migration on Changes in the Swedish Religious Landscape, *Balt. Reg.*, vol. 12, № 2, p. 84–99, <https://doi.org/10.5922/2079-8555-2020-2-6>.

15. Haberfeld, Y., Birgier, D.P., Lundh, C., Ellmér, E. 2019, Selectivity and Internal Migration: A Study of Refugees' Dispersal Policy in Sweden, *Front. Sociol.*, vol. 4, № 66, <https://doi.org/10.3389/fsoc.2019.00066>.
16. Åslund, O., Edin, P., Fredriksson, P., Grönqvist, H. 2011, Peers, Neighborhoods, and Immigrant Student Achievement: Evidence from a Placement Policy, *Am. Econ. J.: Appl. Econ.*, vol. 3, № 2, p. 67—95, <https://doi.org/10.1257/app.3.2.67>.
17. Malmberg, B., Andersson, E.K., Nielsen, M.M., Haandrikman, K. 2018, Residential Segregation of European and Non-European Migrants in Sweden: 1990—2012, *Eur. J. Population*, vol. 34, p. 169—193, <https://doi.org/10.1007/s10680-018-9478-0>.
18. Wennström, J., Öner, Ö. 2020, Political Hedgehogs: The Geographical Sorting of Refugees in Sweden, *Statsvetensk Tidskr.*, № 122, p. 671—685, <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.32828.59522>.
19. Vogiazides, L., Mondani, H. 2020, A Geographical Path to Integration? Exploring the Interplay between Regional Context and Labour Market Integration among Refugees in Sweden, *Journal of Ethnic and Migration Studies*, vol. 46, № 1, p. 23—45, <https://doi.org/10.1080/1369183X.2019.1588717>.
20. Bevelander, P., Mata, F., Pendakur, R. 2019, Housing Policy and Employment Outcomes for Refugees, *Int. Migr.*, № 57, p. 134—154, <https://doi.org/10.1111/imig.12569>.
21. Myrberg, G. 2017, Local Challenges and National Concerns: Municipal Level Responses to National Refugee Settlement Policies in Denmark and Sweden, *International Review of Administrative Sciences*, vol. 83, № 2, p. 322—339, <https://doi.org/10.1177/0020852315586309>.
22. Emilsson, H., Öberg, K. 2022, Housing for Refugees in Sweden: Top-Down Governance and its Local Reactions, *Int. Migration & Integration*, vol. 23, p. 613—631, <https://doi.org/10.1007/s12134-021-00864-8>.
23. Grishin, I.V. 2019, Integration of Immigrants in Sweden (Socio-political Aspect), *South-Russian Journal of Social Sciences*, vol. 20, № 1, p. 40—56, <https://doi.org/10.31429/26190567-20-1-40-56> (in Russ.).
24. Henrekson, M., Öner, Ö., Sanandaji, T. 2020, 'The Refugee Crisis and the Reinvigoration of the Nation-State: Does the European Union Have a Common Asylum Policy?' In: Bakardjieva Engelbrekt, A., Leijon, K. Michalski, A., Oxelheim, L. (eds.), *The European Union and the Return of the Nation State*, Palgrave Macmillan, Cham, https://doi.org/10.1007/978-3-030-35005-5_4.
25. Ryabtsev, V.M., Chudilin, G.I. 2001, *Regional'naya statistika* [Regional Statistics], Moscow, OOO «Moskovskii izdatel'skii dom» (in Russ.).
26. Agafoshin, M.M. 2017, Factors of Migration of Population from Asian Arab Countries into the EU, *University proceedings. Volga region. Natural sciences*, № 2 (18), p. 56—64, <https://doi.org/10.21685/2307-9150-2017-2-7> (in Russ.).
27. Volkov, A.M. 2018, Migrants in the Nordic Countries: Swedish Approach, *The Bulletin of the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences*, № 4, p. 104—119, <https://doi.org/10.24411/2073-6487-2018-00063> (in Russ.).
28. Sarabiev, A.V. 2021, Labour Migrants from the Middle East Arab Countries in Sweden: a Paradigm Shift, *Balt. Reg.*, vol. 13, № 4, p. 95—110, <https://doi.org/10.5922/2079-8555-2021-4-6>.
29. Galera, G., Giannetto, L., Membretti, A., Noya, A. 2018, Integration of Migrants, Refugees and Asylum Seekers in Remote Areas with Declining Populations, *OECD Local Economic and Employment Development (LEED) Papers*, № 2018/03, London, OECD Publishing, <https://doi.org/10.1787/84043b2a-en>.
30. Vogiazides, L., Mondani, H. 2021, Geographical Trajectories of Refugees in Sweden: Uncovering Patterns and Drivers of Inter-Regional (Im)mobility, *Journal of Refugee Studies*, vol. 34, № 3, p. 3065—3090, <https://doi.org/10.1093/jrs/feaa074>.
31. Balabeykina, O.A., Martynov, V.L. 2017, The Denominational Space of Modern Sweden: Christianity, *Balt. Reg.*, vol. 9, № 3, p. 87—98, <https://doi.org/10.5922/2079-8555-2017-3-6>.
32. Gorokhov, S.A., Dmitriev, R.V. 2016, Experience of Geographical Typology of Secularization Processes in the Modern World, *Geography and Natural Resources*, vol. 37, № 2, p. 93—99, <https://doi.org/10.1134/S1875372816020013>.
33. Agafoshin, M.M., Gorokhov, S.A., Dmitriev, R.V. 2020, Somalis in Sweden: Regional Dimension, *Contemporary Europe*, № 7, p. 132—143, <https://doi.org/10.15211/soveurope72020150161> (in Russ.).

The authors

Maksim M. Agafoshin, Senior Research Fellow, Institute for African Studies, Russian Academy of Sciences, Russia.

E-mail: agafoshinmm@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-0245-0481>

Stanislav A. Gorokhov, Leading Research Fellow, Institute for African Studies, Russian Academy of Sciences, Russia.

E-mail: stgorohov@yandex.ru

<https://orcid.org/0000-0001-9984-6054>

Ruslan V. Dmitriev, Research Fellow, Institute for African Studies, Russian Academy of Sciences, Russia.

E-mail: dmitrievrv@yandex.ru

<https://orcid.org/0000-0003-4018-9832>



SUBMITTED FOR POSSIBLE OPEN ACCESS PUBLICATION UNDER THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION (CC BY) LICENSE ([HTTP://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BY/4.0/](http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/))

ОРГАНИЗАЦИИ ЭТНИЧЕСКИХ МЕНЬШИНСТВ В РОССИИ И ПОЛЬШЕ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ СРАВНЕНИЯ

П. В. Осколков 

Институт Европы РАН,
125009, Россия, Москва, ул. Моховая, 11-3
МГИМО МИД России,
119454, Россия, Москва, просп. Вернадского, 76

Поступила в редакцию: 17.07.2022 г.
doi: 10.5922/2079-8555-2022-4-7
© Осколков П. В., 2022

Предлагается модель классификации организаций этнических меньшинств, основанная на сочетании дискурсивных и недискурсивных критериев и профиля политических возможностей. Одна диаспоральная и одна недиаспоральная организации были выбраны для сравнения в России и в Польше. Диаспоральность определяется на основе критериев У. Сафрана и триадической конфигурации Р. Брубейкера. Российские кейсы — «Коми Войтыр» и «Конгресс поляков в России», польские кейсы — «Движение за автономию Силезии» и «Белорусский дом». Проанализировав статус, охват деятельности, внешнее и внутреннее политическое влияние, локализацию и роль в триадической конфигурации, мы видим, что, хотя все рассматриваемые кейсы — ассоциации этнических меньшинств, их правовой статус и охват деятельности существенно различаются. Их внутривнутриполитические возможности незначительны. Из четырех кейсов лишь одна организация активно участвует в «треугольнике» Брубейкера, однако ее роль нетрадиционна для соответствующего «угла». Хотя обе российские ассоциации имеют определенный официальный статус, их деятельность сводится к культурно-языковой сфере и направлена в основном «вовнутрь». Обе польские ассоциации действуют на международной арене как группы интересов, и их деятельность не сводима к языку и культуре. Предлагаемая рамка сравнения не претендует на универсальность, но, надемся, способна разнообразить методологический инструментарий сравнительных этнополитических исследований.

Ключевые слова:

этническое меньшинство, этническая ассоциация, этническая политика, диаспора, Движение за автономию Силезии, Коми Войтыр, триадическая конфигурация

Литература, методология и методы

Организации этнических меньшинств в России (а также национализм как одну из составляющих соответствующего дискурса) подробно исследовали многие авторы, среди которых можно выделить, в частности, Дмитрия Горенбурга [1], Гузель Юсупову [2], Константина Замятина [3], Марата Илиясова [4]; работы таких выдающихся ученых, как Рэймонд Пирсон [5], Уилл Кимлика [6], Майкл Китинг [7], были посвящены национализму этнических меньшинств в других странах и регионах. Тем не менее в данной статье мы хотели бы пролить свет на сложности, которые возникают при попытке классифицировать этнические ассоциации: они, очевидно, различаются по многим критериям, и для того чтобы сравнить несколько кейсов даже внутри одной политики, необходимо принять во внимание множество дискурсивных, политических и правовых характеристик. Несмотря на то что в академической литературе политизации этничности и деятельности организаций этни-

Для цитирования: Осколков П. В. Организации этнических меньшинств в России и Польше: методологические вызовы сравнения // Балтийский регион. 2022. Т. 14, № 4. С. 113–127.
doi: 10.5922/2079-8555-2022-4-7.

ческих меньшинств традиционно придается большое значение [8], известно не так уж много попыток сгруппировать и классифицировать упомянутые организации в соответствии с относительно универсальными критериями. Помимо стандартного разделения этнических ассоциаций на ассоциации этнического меньшинства и этнического большинства [9], мы можем назвать всего несколько успешных и широко распространенных классификаций: например, расположение этнических сообществ в матрице, образованной институциональными ресурсами (ограниченными или существенными) и границами сообщества (проницаемыми или непроницаемыми) [10], или классификация коалиций этнических меньшинств в соответствии с характером этнической аффилиации (внутриэтническая либо межэтническая), уровнем функционирования (локальный, национальный, региональный либо глобальный), сектором публичной политики, в котором действует коалиция, и заявленной целью [11]. В данной статье мы хотели бы предложить рамку для сравнения и классификации, основанную на комбинации различных критериев, связанных с политическими возможностями организации в той или иной политической системе; рамку, объединяющую дискурсивные и недискурсивные, субъективные и объективные характеристики. Хотя предлагаемая схема не претендует на то, чтобы быть универсальной, а любое сравнение социальных объединений а priori проблематично в силу их изменчивой природы, мы надеемся, что данная работа может внести определенный вклад в инструментарий сравнения организаций этнических меньшинств.

Вслед за Бенедиктом Андерсоном мы понимаем этническое сообщество как «воображаемое» — нам приходится его воображать, поскольку мы не в состоянии лично знать каждого члена группы [12]. Также мы согласны с Уолкером Коннором в том, что этническая группа может рассматриваться как форма «расширенного родства» [13, р. 202]. Этнически активные индивиды, как правило, действуют в рамках «теории рационального выбора» [14], хотя нельзя не признать, что рациональное в этническом сознании сосуществует с немалой долей иррациональности.

Выбирая кейсы для рассмотрения в данной работе, необходимо найти исследовательский дизайн, который соответствовал бы комплексной природе этнических структур Восточной Европы. Ни MDSO, ни MSDO как дизайны исследования в чистом виде не подошли бы в силу важной роли эндогенных и экзогенных факторов. Поэтому для каждой из двух рассматриваемых стран мы избрали две организации меньшинств — одну диаспоральную и одну недиаспоральную. Уолкер Коннор определил диаспору как «сегмент народа, живущий за пределами своей родины» [15, р. 16]. Уточнить это определение возможно, приняв критерии диаспоры, выделенные Уильямом Сафраном: распространение группы с первоначальной территории происхождения во внешние регионы, коллективная память о стране происхождения, чувство отчуждения от общества-реципиента, миф о возможном возвращении в страну происхождения [16, р. 83—84]. Эти определения диаспоры не предполагают неизбежно «этнической» природы диаспоральной группы; все идентичности диаспоры динамичны и имеют множество измерений, и их «этнический» компонент может быть подменен иными индикаторами «диаспоральности». Тем не менее стоит признать, что «диаспора сама по себе рассматривает этнические связи как центральный, хотя и динамичный, элемент социальной организации» [17, р. 576]. Иными словами, диаспора — действительно этнический феномен, однако сами границы «этнического» необходимо понимать весьма широко, не ограничиваясь примордиалистским взглядом (см. также: [18; 19]).

Дополнительный критерий мы позаимствовали из трудов Нины Глик Шиллер: она предположила, что диаспоральным сообществам свойствен «удаленный национализм», то есть «набор идентитарных практик, которые соединяют людей, живущих в различных географических регионах, с конкретной территорией, понимаемой ими как их исторический дом», вне зависимости от того, как далеко этот «дом» расположен от их нынешнего места жительства [20, р. 570]. Наконец, еще один

критерий стало возможным применить в силу географической близости стран, рассматриваемых в статье. По мысли Роджерса Брубейкера, если государство стремится стать «национальным» и в нем проживает этническое меньшинство, важно, имеет ли это меньшинство «внешнюю национальную родину», которая способна защищать его права [21]. Подобная триадическая конфигурация может возникнуть, если этническое меньшинство пользуется поддержкой соседнего государства, являющегося его «внешней национальной родиной».

Другой важный аспект изучения этнических меньшинств — степень их институционализированности. Источником вдохновения здесь может служить типология степеней этнической инкорпорации, разработанная Доном Хандельманом. Он предложил разделять этнические организации на «этнические категории», «этнические сети», «этнические ассоциации» и «этнические сообщества». Чтобы сформировать сообщество, необходимо наличие стандартизированных этнических характеристик, сотрудничества в соответствии с этническими границами, корпоративной организации с общими целями и территориальной базы [22]. Применяя эти критерии к избранным кейсам, мы видим, что у диаспоральных организаций редко есть собственная «территориальная база»; тем не менее все рассматриваемые в статье организации соответствуют критериям этнической ассоциации.

Итак, мы собираемся изучить возможности классификации организаций этнических меньшинств на примере диаспоральных и недиаспоральных этнических ассоциаций, частично вписанных в триадическую конфигурацию Брубейкера. Для исследования были выбраны в России — «Коми Войтыр», недиаспоральная организация, представляющая интересы народа коми, и диаспоральный «Конгресс поляков в России»; в Польше — «Движение за автономию Силезии» (недиаспоральное) и «Белорусский дом» (диаспоральный). Россия и Польша были избраны как соседние страны с долгой традицией сосуществования в Российской империи и в «Восточном блоке», в то же время существенно различающиеся с точки зрения современных политических систем. В предыдущие столетия часть Восточной Польши была включена в российскую территорию; в послевоенный период СССР оказал прямое влияние на политическую систему Польской народной республики, которая заимствовала от восточного соседа много ключевых черт, включая плановую экономику, господствующую идеологию и репрессивный аппарат. Сейчас, когда Польша стала членом НАТО и ЕС, она традиционно воспринимается (и конструируется) как один из главных оппонентов российского влияния в Восточной Европе. Ее политическая система считается намного более демократичной, чем российская; однако под управлением партии «Право и справедливость» в последние годы в Польше начали наблюдаться тенденции, сходные с российскими, — авторитарный стиль деятельности исполнительной власти, ограничения на работу законодателей и судебной системы, дискурс «защиты традиционных ценностей» и общий «нелиберальный биополитический консерватизм» [23]. Сложно утверждать, что из всех возможных примеров этнических ассоциаций избранные кейсы наиболее типические. Тем не менее, по нашему мнению, они обладают теми характеристиками, которые позволяют нам продемонстрировать, с одной стороны, сложности, связанные с кросс-национальным сравнением этнических ассоциаций, с другой — возможную применимость предлагаемого здесь алгоритма сравнения.

Итак, учитывая вышеописанные критерии, мы остановились на четырех кейсах. Вышеприведенная категориальная рамка позволяет нам оценить (1) применимость концепта «диаспоры» к соответствующей организации, (2) характеристики организации, раскрывающие дискурсивное обоснование ее деятельности, (3) границы и возможности внешней поддержки, которой организация может воспользоваться, (4) организационную структуру — то есть может ли в конкретном случае применяться категория «этнической ассоциации». Основные черты рассматриваемых организаций, повлиявшие на их выбор в качестве кейсов, представлены в таблице 1.

Таблица 1

Кейсы, рассматриваемые в статье, и критерии выборки

Кейс	Критерий					
	Коллективная память (Сафран)	Чувство отчуждения (Сафран)	Миф о возвращении (Сафран)	Удаленный национализм (Глик Шиллер)	Наличие внешней национальной родины (Брубойкер)	Этническая ассоциация (Хандельман)
«Коми Войтыр»	+	+	-	-	-	+
«Конгресс поляков в России»	+	+	+	+	+	+
«Движение за автономию Силезии»	+	+	-	-	-	+
«Белорусский дом»	+	+	+	+	+	+

В статье мы рассматриваем политические возможности каждой из четырех организаций. При этом речь не идет о классическом концепте структуры политических возможностей (СПВ), предложенном Сидни Тэрроу [24]. По мнению Тэрроу, СПВ включает в себя открытость политической системы, стабильность политических связей, наличие потенциальных партнеров и внутриэлитных конфликтов. Очевидно, что эти факторы непосредственно обуславливают динамические изменения, которые могут быть либо подавлены, либо осуществлены в полной мере. Однако наша цель — выявить ключевые черты, определяющие статус ассоциации как таковой, не углубляясь в окружающий ее контекст политической системы (хотя в определенной степени такое «углубление» необходимо). Мы все же называем это политическими возможностями, потому что рассматриваем в том числе то, какие шаги по максимизации политического влияния позволяет предпринимать этническим ассоциациям их структурная позиция. Тем не менее мы считаем важным отметить, что данное исследование не следует классическому пониманию СПВ.

В работе применяется метод структурированного и фокусированного сравнения кейс-стади (см. [25]). Сравнение основывается на анализе внешнего и внутреннего контекстов деятельности ассоциаций, в частности правового статуса, охвата сфер активности, внутреннего и внешнего политического влияния, роли в триадической конфигурации и локализации (более подробно параметры сравнения описаны в разделе «Сравнение»). Эти параметры позволяют нам создать профиль политических возможностей каждого из кейсов и поместить их в аналитическую рамку сравнительного анализа организаций этнических меньшинств.

Кейсы

«Коми Войтыр» («народ коми» на языке коми) была основана в 2002 г. в результате правовой коллизии: республиканский закон «О статусе съезда коми народа» был признан не соответствующим федеральному законодательству, потому как «съезд не может иметь монопольного права представлять весь коми народ, поскольку является общественной структурой» [26, с. 196]. Теперь в соответствии с уставом это «межрегиональное общественное движение», не стремящееся к политическому представительству. У «Коми Войтыр» есть отделения во всех районах Республики Коми и в некоторых других регионах России, где имеется этническое присутствие коми (Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Мурманская область, Санкт-Петербург, Москва) [27, с. 60]. В соответствии со ст. 75 региональной конституции Республики Коми, принятой в 1994 г., у «Коми Войтыр» есть право законодательной инициативы как у исполнительного органа съездов народа коми;

естественно, это право относится только к Республике Коми. Фактически, у организации консультативный статус, сравнимый с таковым у Ассоциации ненецкого народа «Ясавэй» в Ненецком автономном округе [28].

Республиканские власти поддерживают деятельность «Коми Войтыр» при условии, что она не вмешивается в реальную политическую борьбу [29; 30]. Основная цель организации — поддержка и популяризация культуры коми в республике и за ее пределами; таким образом, для региональных властей это орган, который помогает поддерживать образ «этнической особенности» и способствует внутреннему туризму, а также вносит вклад в формирование «особого отношения» к региону как к этническому. В 1990-е гг. «Коми Войтыр» активно принимала участие в процессе принятия решений, особенно в сфере использования и распределения природных ресурсов и разработки культурной и языковой политики в республике¹. Тем не менее сейчас ее деятельность ограничивается почти исключительно сферой культуры и языка². Консультативный статус не позволяет организации действовать как независимый политический актор, выдвигающий кандидатов на выборах и расширяющий свою повестку; также она не может трансформироваться в политическую партию, поскольку создание этнических и региональных партий запрещено российским законодательством. В соответствии со ст. 9.3 федерального закона «О политических партиях», принятого в 2001 г., «не допускается создание политических партий по признакам профессиональной, расовой, национальной или религиозной принадлежности». Несмотря на это, у «Коми Войтыр» есть возможность действовать на международной арене как одного из представителей российской «Финно-Угрии», — хотя позиция «Коми Войтыр» на международных финно-угорских конгрессах, как правило, совпадает с официальной позицией российских федеральных властей.

«Конгресс поляков в России» был основан в 1992 г. как часть всемирной «Полонии» [32; 33]. Он объединяет 48 польских организаций в различных городах страны. «Окно возможностей» Конгресса еще уже, чем у «Коми Войтыр». Он обладает статусом «федеральной национально-культурной автономии» в соответствии с федеральным законом «О национально-культурной автономии» от 1996 г., и всякая возможность политических действий для него исключена. Как группа интересов Конгресс тоже вряд ли может функционировать в связи со спецификой российских политических практик. Хотя председатель Конгресса Галина Романова — член Консультативного совета по делам национально-культурных автономий при Федеральном агентстве по делам национальностей и Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ, эти позиции имеют лишь символическое значение. Конгресс *de facto* не включен в триадическую конфигурацию из-за невозможности политической деятельности. Поскольку польское этническое меньшинство дисперсно распределено по территории России, деятельность Конгресса не сводится к конкретному региону. Хотя и «Коми Войтыр», и «Конгресс поляков в России» официально зарегистрированы и имеют определенный официальный статус, их активность ограничена культурной и языковой сферой³ и происходит преимущественно внутри России.

Деятельность силезского этнического движения основана на конструктивистском понимании силезского народа, который считает себя потомком коренного

¹ Некоторые крупные компании, чья деятельность способна нанести вред экологической ситуации в Республике Коми, все же предпочитают заручиться поддержкой «Коми Войтыр», чтобы избежать даже небольших рисков. К примеру, в 2015 г. республиканское отделение энергетической корпорации «Лукойл» подписало с организацией соглашение о сотрудничестве (подобное же соглашение было подписано с вышеупомянутой ассоциацией «Ясавэй» в НАО). Подробнее см. [31, p. 13].

² См.: Межрегиональное общественное движение «Коми Войтыр», 2022, URL: <http://komivoityr.ru> (дата обращения: 15.07.2022).

³ См.: Конгресс поляков в России, 2022, URL: <http://www.poloniarosji.ru/ru> (дата обращения: 15.07.2022).

славянского населения Силезии — исторического региона, располагающегося преимущественно на территории Польши (Вроцлав, Катовице), а также частично в Германии и Чехии. В ходе переписи населения Польши 2011 г. около 809 тыс. граждан заявили о себе как о силезцах⁴. Юзеф Кождонь, один из основателей силезского националистического движения, писал: «Я не немец, но я и не поляк, и не хочу им быть... Языковое сообщество — это не национальное сообщество. Главный фактор — это сообщество духовное» [35, s. 31]. «Движение за автономию Силезии» (*Ruch Autonomii Śląska*) сформировалось в 1990 г. как группа интересов, его целью было восстановление автономии польской части Силезии, существовавшей до Второй мировой войны [36]. Официально организация представляет собой социальное объединение, а не политическую партию; однако «Движение» участвует в выборах в качестве зарегистрированной группы интересов.

Основа идеологии «Движения за автономию Силезии» — этнорегионализм, то есть требования большей автономии регионов, основанные на этнических особенностях их населения [37—39]. Его нельзя назвать эксклюзивистским националистическим движением, поскольку идеологи «Движения» считают силезский народ «инклюзивным, плюралистическим и вариативным сообществом» [40, s. 266]. В этом отношении «Движение» сходно, к примеру, с «Шотландской национальной партией», по мнению которой, «если ты живешь в Шотландии, то автоматически становишься частью “шотландского проекта” и считаешься шотландцем» [41].

Один из важнейших аспектов деятельности «Движения за автономию Силезии» — организация «Маршей за автономию», первый из которых состоялся в 2007 г. Поскольку статус ДАС достаточно близок к статусу политической партии, оно способно оказывать прямое воздействие на польскую политическую систему. Тем не менее его программа направлена исключительно на узкий круг силезских этнических активистов, и оно не представлено на национальном уровне — активность движения ограничивается рамками Силезского воеводства. Однако даже в Сеймике Силезского воеводства «Движение» было представлено лишь в 2010—2018 гг., имея 3—4 места. В действующем составе Сеймика оно не представлено вообще. «Движение» также является одним из основателей Силезской региональной партии (*ŚPR*, основана в 2017 г.), которая не представлена ни на одном из уровней управления. Программа партии охватывает различные аспекты самоуправления и, таким образом, выходит за рамки культурно-лингвистической повестки. «Движение» активно и на наднациональном уровне — в рамках «Европейского свободного альянса», «зонтичной» организации, объединяющей сепаратистские и регионалистские партии Европы [42; 43]; «Альянс» представлен в Европейском парламенте как составная часть политической группы «Зеленые — ЕСА» (хотя силезские регионалисты и не представлены в парламенте непосредственно). У «Движения» есть несколько партнерских организаций в других европейских странах, к примеру, «Инициатива за силезскую автономию» в Германии и «Силезское движение за автономию» в Великобритании.

«Белорусский дом» имеет официальный статус «фонда» (*fundacja*, неправительственная организация), основанного в Варшаве в 2012 г. Он поддерживает тесные связи с другими сообществами белорусской диаспоры. Как неправительственная организация, «Дом» не имеет возможности напрямую влиять на внутреннюю политику Польши, однако активно действует в качестве группы интересов и позиционирует себя как «альтернативное посольство» — в противовес представителям официального Минска. Его основная провозглашенная цель — «служить Беларуси,

⁴ *Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. Podstawowe informacje o sytuacji demograficzno-społecznej ludności Polski oraz zasobach mieszkaniowych*. Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, 2012. S. 18. В ходе переписи 2021 г. отсутствовала возможность автоматически выбрать из списка предлагаемых этнических аффилиаций силезскую. Это привело не только к определенному искажению действительного числа силезцев, но и к недогованию силезских этнических активистов [34].

а не диаспоре» [44]. «Белорусский дом» представляет собой активную часть триадической конфигурации, хотя его роль несколько нетрадиционна для организации этнического меньшинства; скорее даже белорусское государство в рамках этой конфигурации не выполняет классических функций «внешней национальной родины». Как правило, между этими двумя элементами «треугольника» предполагается определенное сотрудничество. В случае польско-белорусского треугольника речь идет не о сотрудничестве, а о соперничестве — поскольку действующий политический режим в Беларуси имеет репрессивный характер, и «Белорусский дом» стремится создать альтернативный образ страны, который бы не ассоциировался с властью Александра Лукашенко [45].

По результатам протестов, захлестнувших Беларусь после объявления официальных итогов президентских выборов в 2020 г., «Белорусский дом» организовал широкую кампанию финансовой, медицинской и правовой поддержки политических заключенных и оппозиционных активистов. Также «Дом» организовал встречу лидера оппозиции Светланы Тихановской с представителями диаспоры в Варшаве. Фонд организует множество культурных и образовательных мероприятий — к примеру, образовательные поездки в Польшу для белорусских граждан, встречи с белорусскими писателями и журналистами, живущими за рубежом, а также акции солидарности с народом Беларуси. «Белорусский дом» действует и на международной арене, особенно в рамках различных программ Европейского союза, таких как Erasmus⁵. К примеру, только за лето 2022 г. «Дом» организовал образовательную поездку белорусских граждан в Европейский парламент, встречу с послом США в Польше, членами польского и литовского парламентов, а также конкурс EU4Belarus — SALT. На первый взгляд может показаться, что деятельность «Дома» не охватывает широкие слои белорусской диаспоры в Польше; тем не менее очевидно, что его активность не ограничивается мероприятиями для молодежи и студентов, а направлена на различные сегменты диаспоры, включая пенсионеров и детей. Хотя и у «Движения за автономию Силезии», и у «Белорусского дома» есть определенный официальный статус, их влияние на внутреннюю политику стран пребывания достаточно небольшое; однако обе организации действуют как международные политические группы интересов, и их деятельность несводима к вопросам культуры и языка.

Сравнение

Для сравнения кейсов мы составили таблицу с основными критериями и их значением (табл. 2). В качестве критериев были выбраны такие категории, как правовой статус, охват деятельности, внутреннее и внешнее политическое влияние, роль в триадической конфигурации и локализация. Вероятно, сравнение бы обогатила количественная операционализация политического влияния, но для целей данного исследования этот шаг представляется избыточным. Поэтому предложенные критерии и соответствующие результаты основаны на анализе информации, в сокращенном виде изложенной в предыдущем разделе. Критерии правового статуса (к какой категории организация относится, согласно документам), охвата деятельности (различных сфер, в которых организация активна) и локализации (географическая представленность) основаны на фактах и официальных документах. Напротив, оценка внешнего и внутреннего политического влияния (масштаб достижений организации в сфере внутренней и внешней политики, права, которыми организация официально наделена, степень представленности в органах управления), а также роли в триадической конфигурации (соответствия профиля организации «стороне треугольника» в модели Брубейкера) в большей степени основана на наших субъективных суждениях. Тем не менее в этой субъективной оценке мы ориентируемся на данные веб-сайтов, информацию на страницах в социальных медиа и материалы СМИ.

⁵ Беларускі Дом Варшава, 2022, URL: <https://belaruskidom.eu> (дата обращения: 15.07.2022).

Таблица 2

**Профиль политических возможностей этнических ассоциаций,
рассмотренных в статье**

Этническая ассоциация	Правовой статус	Охват деятельности	Внутреннее политическое влияние	Внешнее политическое влияние	Роль в триадиической конфигурации	Локализация
«Коми Войтыр»	Межрегиональное общественное движение	Культурная и языковая сфера	Право законодательной инициативы, закрепленное в региональной конституции Республики Коми, но в настоящий момент de facto сведенное к сфере культуры	Представитель народа коми на международных финно-угорских конгрессах; в настоящее время повестка совпадает с официальным курсом РФ	Отсутствует, так как нет «внешней национальной родины»	В основном Республика Коми; есть несколько отделений в регионах с существенным присутствием коми, но там возможности политической деятельности отсутствуют даже в культурной сфере
«Конгресс поляков в России»	Федеральная национально-культурная автономия	Культурная и языковая сфера, также частично образовательная	Консультативный статус при Федеральном агентстве по делам национальностей, поддерживается от деятельности в сфере публичной политики	Отсутствует	Несущественная. Хотя все «углы треугольника» присутствуют, поскольку организация не принимает участия в политическом процессе, она не может рассматриваться как активный участник конфигурации	Распределена по примерно 50 городам России с существенным присутствием польского меньшинства. Не концентрируется в конкретном регионе

Окончание табл. 2

Этническая ассоциация	Правовой статус	Охват деятельности	Внутреннее политическое влияние	Внешнее политическое влияние	Роль в триадической конфигурации	Локализация
«Движение за автономию Силезии»	Социальное движение, действующее на региональном уровне в качестве аналога политической партии в связке с Силезской региональной партией	Регионалистская, региональная. Программа включает основные вопросы национальной политики, актуальные для Силезского воеводства	Группа интересов за расширение автономии Силезии. В 2010—2018 гг. была незначительно представлена на региональном уровне власти. На настоящий момент подсобного представительства не имеет	Активный член Европейского свободного альянса. Осуществляет взаимодействие с другими этнорегионалистскими политическими движениями и партиями в Европе, включая силезские объединения, действующие за пределами Польши	Отсутствует, так как нет «внешней национальной родины»	Силезское воеводство
«Белорусский дом»	Неправительственная организация, фонд (fundacja)	Защита прав человека, образование, политический лоббизм	Формально отсутствует; неформально — центр белорусской диаспоры и оппозиции режиму Лукашенко на территории Польши	Самоопределяется как «альтернативное посольство Беларуси» в Польше, поддерживает связи с институтами ЕС и различными международными проектами, включая образовательные и правозащитные	Весьма существенная. Действует преимущественно как внешний актор по отношению к действующему белорусскому режиму, демонстрируя возможные альтернативы; способствует поддержанию международных связей белорусской оппозиции. Тем не менее роль в «треугольнике» негражданская (не защита прав меньшинства в национализирующемся государстве)	Штаб-квартира в Варшаве; также активен в других городах Польши с белорусским населением

Заключение

Хотя все четыре избранных для анализа кейса представляют собой ассоциации этнических меньшинств, их правовой статус и охват деятельности существенно различаются. За исключением «Конгресса поляков в России» рассмотренные ассоциации играют активную роль во внешней политике, в то время как во внутриполитической жизни их политические возможности не слишком значительны. Из четырех кейсов только одна организация активно участвует в триадической конфигурации Брубейкера. Тем не менее роль «Белорусского дома» далека от традиционных функций, отводимых в «треугольнике» этническому меньшинству. Вместо защиты интересов условного «угнетаемого меньшинства» (белорусов) в «национализирующем государстве» (Польше) при поддержке «внешней национальной родины» (Беларуси) «Дом» оказывает влияние на двусторонние польско-белорусские отношения, действуя в качестве группы интересов и фасилитатора политических реформ и оппозиционной борьбы в упомянутой «внешней родине». Если отдельно сравнить две ассоциации, действующие в России, их деятельность сводится к культурно-языковой сфере и ориентирована «вовнутрь». Обе рассматриваемые ассоциации, действующие в Польше, также имеют официальный статус, хотя их внутриполитическое влияние незначительно. Однако обе действуют на международной арене как группы интересов, и их деятельность несводима к культурно-языковой сфере.

Представленная выборка далека от широкой репрезентативности; при этом именно подробный анализ индивидуальных случаев позволяет нам осмыслить сложности, связанные с категоризацией и классификацией различных ассоциаций меньшинств и соотношением их с «идеальными типами». Выше мы продемонстрировали, что индивидуальные черты и структуру возможностей необходимо принимать во внимание, рассматривая общий контекст деятельности организации и пытаясь осуществить генерализацию. Выводы этого небольшого исследования, очевидно, следует в дальнейшем подкрепить более глубоким тематическим и дискурс-анализом, а также количественным анализом более обширной кросснациональной выборки. Однако мы надеемся, что стратегия сравнения, основанная на сочетании формальных и дискурсивных характеристик, связанных с профилем политических возможностей, может иметь определенную «добавленную стоимость» для сравнительных исследований организационных структур, формируемых этническими меньшинствами.

Статья подготовлена в рамках гранта, предоставленного Министерством науки и высшего образования Российской Федерации (Соглашение о предоставлении гранта № 075-15-2022-327 от 22.04.2022 г.).

Список литературы

1. Gorenburg, D. 2003, *Minority Ethnic Mobilization in the Russian Federation*, Oxford, Oxford University Press, <https://doi.org/10.1017/CBO9780511550348>.
2. Yusupova, G. 2017, Cultural nationalism and everyday resistance in an illiberal nationalising state: ethnic minority nationalism in Russia, *Nations and Nationalism*, vol. 24, № 3, p. 624—647, <https://doi.org/10.1111/nana.12366>.
3. Zamyatin, K. 2016, An Ethnopolitical Conflict in Russia's Republic of Mari El in the 2000s: The Study of Ethnic Politics under the Authoritarian Turn, *Finnisch-Ugrische Forschungen*, № 63, p. 214—253, <https://doi.org/10.33339/fuf.86125>.
4. Iliyassov, M. 2018, Chechen ethnic identity: assessing the shift from resistance to submission, *Middle Eastern Studies*, vol. 54, № 3, p. 475—493, <https://doi.org/10.1080/00263206.2018.1423967>.

5. Pearson, A. 1983, *National minorities in Eastern Europe, 1848–1945*, London, Macmillan.
6. Kymlicka, W. 2001, Immigrant Integration and Minority Nationalism. In: Keating, M., McGarry, J. (eds.), *Minority Nationalism and the Changing International Order*, Oxford, Oxford University Press, p. 61–79, <https://doi.org/10.1093/0199242143.003.0004>.
7. Keating, M. 2013, Minority nationalism and the state: the European case. In: Watson, M. (ed.), *Contemporary Minority Nationalism*, Taylor and Francis, p. 174–193, <https://doi.org/10.4324/9781315001708>.
8. Weber, A., Hiers, W., Flesken, A. 2016, *Politicized Ethnicity: A Comparative Perspective*, London, Palgrave Macmillan.
9. Тэвдой-Бурмули, А.И. 2018, *Этнополитическая динамика Европейского союза*, Москва, Аспект Пресс.
10. Orum, A. M. 2005, Circles of Influence and Chains of Command: The Social Processes Whereby Ethnic Communities Influence Host Societies, *Social Forces*, vol. 84, №2, p. 921–939, <https://doi.org/10.1353/sof.2006.0025>.
11. Germane, M. 2015, Minority coalition-building and nation-states, *Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe*, vol. 14, №2, p. 51–75.
12. Anderson, B. 1983, *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, London, Verso.
13. Connor, W. 1994, *Ethnonationalism: A Quest for Understanding*, Princeton, NJ, Princeton University Press.
14. Banton, M. 2004, Are Ethnicity and Nationality Twin Concepts? *Journal of Ethnic and Migration Studies*, vol. 30, №4, p. 807–814, <https://doi.org/10.1080/13691830410001699621>.
15. Connor, W. 1986, The Impact of Homelands upon Diasporas. In: Sheffer, G. (ed.), *Modern Diasporas in International Politics*, London, Croom Held, p. 16–46.
16. Safran, W. 1991, Diasporas in Modern Societies: Myths of Homeland and Return, *Diaspora: A Journal of Transnational Studies*, vol. 1, №1, p. 83–99, <https://doi.org/10.1353/dsp.1991.0004>.
17. Anthias, F. 1998, Evaluating 'Diaspora': Beyond Ethnicity? *Sociology*, vol. 32, №3, p. 557–580, <https://doi.org/10.1177/0038038598032003009>.
18. Cohen, R. 1996, Diasporas and the State: From Victims to Challengers, *International Affairs*, vol. 72, №3, p. 507–520.
19. Chiang, Ch. 2019, Diasporic Theorizing Paradigm on Cultural Identity, *Intercultural Communication Studies*, vol. 19, №1, p. 29–46.
20. Glick Schiller, N. 2005, Long-Distance Nationalism. In: Ember, M., Ember, C., Skogsgard, I. (eds.), *Encyclopedia of Diasporas. Immigrant and Refugee Cultures Around the World*, Boston, Springer, p. 570–580, https://doi.org/10.1007/978-0-387-29904-4_59.
21. Brubaker, R. 1995, National Minorities, Nationalizing States, and External National Homelands in the New Europe, *Daedalus*, vol. 124, №2, p. 107–132.
22. Handelman, D. 1977, The Organization of Ethnicity, *Ethnic Groups*, vol. 1, №1, p. 187–200.
23. Yatsyk, A. 2019, Biopolitical conservatism in Europe and beyond: the cases of identity-making projects in Poland and Russia, *Journal of Contemporary European Studies*, vol. 27, №4, p. 463–478, <https://doi.org/10.1080/14782804.2019.1651699>.
24. Tarrow, S. 1989, *Struggle, politics, and reform: collective action, social movements and cycles of protest*, Ithaca, N. Y., Cornell University Press.
25. George, A. L., McKeown, T. J. 1985, Case Studies and Theories of Organizational Decision Making, *Advances in Information Processing in Organizations*, vol. 2, №1, p. 21–58.
26. Шабаев, Ю.П. 2015, «Коми Войтыр». В: Садохин, А., Шабаев, Ю. (ред.), *Уральская языковая семья: народы, регионы и страны*, Москва, Директ Медиа, с. 259–264.
27. Марков, В. 2012. Этнокультурное развитие национальных меньшинств в Республике Коми. В: Строгальщикова, З. (ред.), *Этнокультурное развитие национальных меньшинств на Северо-Западе России, в северных странах и странах Балтии*. Петрозаводск, Совет министров Северных стран, с. 54–64.
28. Oskolkov, P. 2020, Merging Russia's Autonomous Entities: Ethnic Aspect, *ICELDS*, URL: <https://www.icelds.org/2020/06/15/merging-russias-autonomous-entities-ethnic-aspect/> (дата обращения: 15.07.2022).

29. Prozes, J. 2015, *Kas Putin on vepslane*, Tallinn, Argo.
30. Taagepera, R. 1999, *Finno-Ugric Republics and the Russian State*, London, C. Hurst & Co, <https://doi.org/10.4324/9781315022574>.
31. Wilson, E., Istomin, K. 2019, Beads and Trinkets? Stakeholder Perspectives on Benefit-sharing and Corporate Responsibility in a Russian Oil Province, *Europe-Asia Studies*, vol. 71, № 8, p. 1285—1313, <https://doi.org/10.1080/09668136.2019.1641585>.
32. Stecula, D., Radzilowski, Th. 2013, *Polonia: Today's Profile, Tomorrow's Promise*, Ham-track, Piast Institute.
33. Fiń, A., Nowak, W. 2015, Między absencją a zaangażowaniem. Diaspora polska wobec organizacji polonijnych (komunikat z badan), *Studia Migracyjne — Przegląd Polonijny*, № 2, p. 145—164.
34. Ciastoch, M. 2021, Spis Powszechny nie uwzględnia narodowości śląskiej. Twardoch: To szykany, *Nozz.pl*, URL: <https://noizz.pl/spoleczenstwo/spis-powszechny-nie-uwzględnia-narodowosci-slaskiej-twardoch-to-szykany/> (дата обращения: 15.07.2022).
35. Jerczyński, D. 2006, *Historia Narodu Śląskiego. Prawdziwe dzieje ziem śląskich od średniowiecza do progu trzeciego tysiąclecia*. Łędziny, Instytut Ślůnskiej Godki.
36. Zweifel, Ł. 2013, Ruch Autonomii Śląska, *Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica*, № XI, p. 178—199.
37. Lynch, P., De Winter, L. 2008, The Shrinking Political Space of Minority Nationalist Parties in an Enlarged Europe of the Regions, *Regional & Federal Studies*, vol. 18, № 5, p. 583—606, <https://doi.org/10.1080/13597560802351606>.
38. Fagerholm, A. 2016, Ethnic and Regionalist Parties in Western Europe: A Party Family? *Studies in Ethnicity and Nationalism*, vol. 16, № 2, p. 304—339, <https://doi.org/10.1111/sena.12191>.
39. Newth, J. 2021, Populism and nativism in contemporary regionalist and nationalist politics: A minimalist framework for ideologically opposed parties, *Politics*, vol. 41, № 1, p. 1—22, <https://doi.org/10.1177/0263395721995016>.
40. Slenzok, N. 2019, Śląski nacjonalizm? Myśl polityczna ruchu autonomii Śląska, *Wrocławskie Studia Erazmiańskie*, № XIII, p. 249—268, <https://doi.org/10.34616/wse.2019.13.249.268>.
41. Kennedy, A. L. 2014, Scotland's Radically Inclusive Nationalism: Why I Would Vote for Independence, *The New Republic*, URL: <https://newrepublic.com/article/119413/scottish-referendum-yes-vote-vote-against-empire> (дата обращения: 15.07.2022).
42. De Winter, L., Gomez-Reino Cachafeiro, M. 2002, European Integration and Ethnoregionalist Parties, *Party Politics*, vol. 8, № 4, p. 483—503, <https://doi.org/10.1177/1354068802008004007>.
43. Осколков, П. В. 2021, Этнорегионалистские партии ЕС: феномен Европейского свободного альянса, *Современная Европа*, № 1, с. 141—150, <http://dx.doi.org/10.15211/soveurope12021141150>.
44. Chapman, A. 2013, Belarusian Warsaw — ghetto or gilded cage? *OpenDemocracy*, URL: <https://www.opendemocracy.net/en/odr/belarusian-warsaw-ghetto-or-gilded-cage/> (дата обращения: 15.07. 2022).
45. Wilson, A. 2021, *Belarus: The Last European Dictatorship*, New Haven, Yale University Press.

Об авторе

Петр Викторович Осколков, кандидат политических наук, руководитель Центра этнополитических исследований, Институт Европы РАН, Россия; эксперт, НЦМУ «Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала», МГИМО МИД России, Россия.

E-mail: petroskolkov@yandex.ru

<https://orcid.org/0000-0002-4501-9042>



ETHNIC MINORITY ORGANISATIONS IN RUSSIA AND POLAND: A COMPARISON CHALLENGE

P. V. Oskolkov 

Institute of Europe, Russian Academy of Science
11-3 Mokhovaya St., Moscow, 125009, Russia
MGIMO-University
76 Vernadsky Ave., Moscow, 119454, Russia

Received 17.07.2022
doi: 10.5922/2079-8555-2022-4-7
© Oskolkov, P. V., 2022

This article proposes a framework for classifying ethnic minority organisations based on a broad combination of discursive and non-discursive criteria rooted in their political opportunities profile. One diasporic and one non-diasporic organisation were chosen for Russia and Poland, respectively. Diasporicity is understood according to William Safran's criteria and Rogers Brubaker's triadic configuration. The Russian study cases are Komi Voityr and the Russian Polish Congress; the Polish, the Silesian Autonomy Movement and the Belarussian House. The analysis of their status, activities, domestic and external political impact, localisation and role in the 'triadic configuration' has shown that the four cases are ethnic minority associations, and their legal status and scope of activities differ significantly. Their domestic political opportunities are rather scarce. Out of the four cases, just one organisation is an active part in Brubaker's classical triadic configuration; its role is not traditional, ascribed to the respective 'angle'. Although both Russian associations enjoy an official status, their activities are limited to the cultural, memorial and linguistic domains, primarily at the national level. In Poland, both associations act internationally as advocacy groups, and their activities are not confined to culture and language. Far from being universally applicable, the proposed classification framework can still add to the comparative ethnic politics toolkit.

Keywords:

ethnic minority, ethnic association, ethnic politics, diaspora, Silesian Autonomy Movement, Komi Voityr, triadic configuration

References

1. Gorenburg, D. 2003, *Minority Ethnic Mobilization in the Russian Federation*, Oxford, Oxford University Press, <https://doi.org/10.1017/CBO9780511550348>.
2. Yusupova, G. 2017, Cultural nationalism and everyday resistance in an illiberal nationalising state: ethnic minority nationalism in Russia, *Nations and Nationalism*, vol. 24, № 3, p. 624–647, <https://doi.org/10.1111/nana.12366>.
3. Zamyatin, K. 2016, An Ethnopolitical Conflict in Russia's Republic of Mari El in the 2000s: The Study of Ethnic Politics under the Authoritarian Turn, *Finnisch-Ugrische Forschungen*, № 63, p. 214–253, <https://doi.org/10.33339/fuf.86125>.
4. Iliyassov, M. 2018, Chechen ethnic identity: assessing the shift from resistance to submission, *Middle Eastern Studies*, vol. 54, № 3, p. 475–493, <https://doi.org/10.1080/00263206.2018.1423967>.
5. Pearson, A. 1983, *National minorities in Eastern Europe, 1848–1945*, London, Macmillan.
6. Kymlicka, W. 2001, Immigrant Integration and Minority Nationalism. In: Keating, M., McGarry, J. (eds.), *Minority Nationalism and the Changing International Order*, Oxford, Oxford University Press, p. 61–79, <https://doi.org/10.1093/0199242143.003.0004>.

To cite this article: Oskolkov, P. V. 2022, Ethnic minority organisations in Russia and Poland: a comparison challenge, *Balt. Reg.*, Vol. 14, no. 4, p. 113–127. doi: 10.5922/2079-8555-2022-4-7.

7. Keating, M. 2013, Minority nationalism and the state: the European case. In: Watson, M. (ed.), *Contemporary Minority Nationalism*, Taylor and Francis, p. 174–193, <https://doi.org/10.4324/9781315001708>.
8. Weber, A., Hiers, W., Flesken, A. 2016, *Politicized Ethnicity: A Comparative Perspective*, London, Palgrave Macmillan.
9. Тэвдой-Бурмули, А.И. 2018, *Этнополитическая динамика Европейского союза*, Москва, Аспект Пресс.
10. Orum, A.M. 2005, Circles of Influence and Chains of Command: The Social Processes Whereby Ethnic Communities Influence Host Societies, *Social Forces*, vol. 84, № 2, p. 921–939, <https://doi.org/10.1353/sof.2006.0025>.
11. Germane, M. 2015, Minority coalition-building and nation-states, *Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe*, vol. 14, № 2, p. 51–75.
12. Anderson, B. 1983, *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, London, Verso.
13. Connor, W. 1994, *Ethnonationalism: A Quest for Understanding*, Princeton, NJ, Princeton University Press.
14. Banton, M. 2004, Are Ethnicity and Nationality Twin Concepts? *Journal of Ethnic and Migration Studies*, vol. 30, № 4, p. 807–814, <https://doi.org/10.1080/13691830410001699621>.
15. Connor, W. 1986, The Impact of Homelands upon Diasporas. In: Sheffer, G. (ed.), *Modern Diasporas in International Politics*, London, Croom Held, p. 16–46.
16. Safran, W. 1991, Diasporas in Modern Societies: Myths of Homeland and Return, *Diaspora: A Journal of Transnational Studies*, vol. 1, № 1, p. 83–99, <https://doi.org/10.1353/dsp.1991.0004>.
17. Anthias, F. 1998, Evaluating ‘Diaspora’: Beyond Ethnicity? *Sociology*, vol. 32, № 3, p. 557–580, <https://doi.org/10.1177/0038038598032003009>.
18. Cohen, R. 1996, Diasporas and the State: From Victims to Challengers, *International Affairs*, vol. 72, № 3, p. 507–520.
19. Chiang, Ch. 2019, Diasporic Theorizing Paradigm on Cultural Identity, *Intercultural Communication Studies*, vol. 19, № 1, p. 29–46.
20. Glick Schiller, N. 2005, Long-Distance Nationalism. In: Ember, M., Ember, C., Skogsgard, I. (eds.), *Encyclopedia of Diasporas. Immigrant and Refugee Cultures Around the World*, Boston, Springer, p. 570–580, https://doi.org/10.1007/978-0-387-29904-4_59.
21. Brubaker, R. 1995, National Minorities, Nationalizing States, and External National Homelands in the New Europe, *Daedalus*, vol. 124, № 2, p. 107–132.
22. Handelman, D. 1977, The Organization of Ethnicity, *Ethnic Groups*, vol. 1, № 1, p. 187–200.
23. Yatsyk, A. 2019, Biopolitical conservatism in Europe and beyond: the cases of identity-making projects in Poland and Russia, *Journal of Contemporary European Studies*, vol. 27, № 4, p. 463–478, <https://doi.org/10.1080/14782804.2019.1651699>.
24. Tarow, S. 1989, *Struggle, politics, and reform: collective action, social movements and cycles of protest*, Ithaca, N. Y., Cornell University Press.
25. George, A. L., McKeown, T. J. 1985, Case Studies and Theories of Organizational Decision Making, *Advances in Information Processing in Organizations*, vol. 2, № 1, p. 21–58.
26. Shabaev, Yu. 2015, Komi Voityr. In: Sadokhin, A., Shavaev, Yu. (eds.), *Uralskaya Yazykovaya Semya: Narody, Regiony i Strany* [Uralic Language Family: Peoples, Regions, and Countries], Moscow, Direct Media, p. 259–264 (in Russ.).
27. Markov, V. 2012, Ethnocultural Development of Ethnic Minorities in the Komi Republic. In: Strogalschikova, Z. (ed.), *Ethnokulturnoye razvitiye national'nykh men'shinstv na Severo-Zapade Rossii, v severnykh stranakh i stranakh Baltii* [Ethno-Cultural Development of National Minorities in North-West Russia, Nordic and Baltic Countries], Petrozavodsk, Nordic Councils of Ministers, p. 54–64 (in Russ.).
28. Oskolkov, P. 2020, Merging Russia’s Autonomous Entities: Ethnic Aspect, *ICELDS*, URL: <https://www.icelds.org/2020/06/15/merging-russias-autonomous-entities-ethnic-aspect/> (accessed 15.07.2022).
29. Prozes, J. 2015, *Kas Putin on vepslane*, Tallinn, Argo.
30. Taagepera, R. 1999, *Finno-Ugric Republics and the Russian State*, London, C. Hurst & Co, <https://doi.org/10.4324/9781315022574>.

31. Wilson, E., Istomin, K. 2019, Beads and Trinkets? Stakeholder Perspectives on Benefit-sharing and Corporate Responsibility in a Russian Oil Province, *Europe-Asia Studies*, vol. 71, № 8, p. 1285—1313, <https://doi.org/10.1080/09668136.2019.1641585>.
32. Stecula, D., Radzilowski, Th. 2013, *Polonia: Today's Profile, Tomorrow's Promise*, Ham-track, Piast Institute.
33. Firń, A., Nowak, W. 2015, Między absencją a zaangażowaniem. Diaspora polska wobec organizacji polonijnych (komunikat z badan), *Studia Migracyjne — Przegląd Polonijny*, № 2, p. 145—164.
34. Ciastoch, M. 2021, Spis Powszechny nie uwzględnia narodowości śląskiej. Twardoch: To szykany, *Nozz.pl*, URL: <https://noizz.pl/spoleczenstwo/spis-powszechny-nie-uwzględnia-narodowosci-slaskiej-twardoch-to-szykany/> (accessed 15.07.2022).
35. Jerczyński, D. 2006, *Historia Narodu Śląskiego. Prawdziwe dzieje ziem śląskich od średniowiecza do progu trzeciego tysiąclecia*. Łędziny, Instytut Ślůnskij Godki.
36. Zweiffel, Ł. 2013, Ruch Autonomii Śląska, *Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica*, № XI, p. 178—199.
37. Lynch, P., De Winter, L. 2008, The Shrinking Political Space of Minority Nationalist Parties in an Enlarged Europe of the Regions, *Regional & Federal Studies*, vol. 18, № 5, p. 583—606, <https://doi.org/10.1080/13597560802351606>.
38. Fagerholm, A. 2016, Ethnic and Regionalist Parties in Western Europe: A Party Family? *Studies in Ethnicity and Nationalism*, vol. 16, № 2, p. 304—339, <https://doi.org/10.1111/sena.12191>.
39. Newth, J. 2021, Populism and nativism in contemporary regionalist and nationalist politics: A minimalist framework for ideologically opposed parties, *Politics*, vol. 41, № 1, p. 1—22, <https://doi.org/10.1177/0263395721995016>.
40. Slenzok, N. 2019, Śląski nacjonalizm? Myśl polityczna ruchu autonomii Śląska, *Wrocławskie Studia Erazmiańskie*, № XIII, p. 249—268, <https://doi.org/10.34616/wse.2019.13.249.268>.
41. Kennedy, A. L. 2014, Scotland's Radically Inclusive Nationalism: Why I Would Vote for Independence, *The New Republic*, URL: <https://newrepublic.com/article/119413/scottish-referendum-yes-vote-vote-against-empire> (accessed 15.07.2022).
42. De Winter, L., Gomez-Reino Cachafeiro, M. 2002, European Integration and Ethnoregionalist Parties, *Party Politics*, vol. 8, № 4, p. 483—503, <https://doi.org/10.1177/1354068802008004007>.
43. Oskolkov, P. 2021, Ethnoregionalist Parties in the EU: The European Free Alliance Phenomenon, *Sovremennaya Evropa*, № 1, p. 141—150, <http://dx.doi.org/10.15211/soveurope12021141150> (in Russ.).
44. Chapman, A. 2013, Belarusian Warsaw — ghetto or gilded cage? *OpenDemocracy*, URL: <https://www.opendemocracy.net/en/odr/belarusian-warsaw-ghetto-or-gilded-cage/> (accessed 15.07.2022).
45. Wilson, A. 2021, *Belarus: The Last European Dictatorship*, New Haven, Yale University Press.

The author

Dr Petr V. Oskolkov, Head of the Center for the Studies of Ethnic Politics, Institute of Europe Russian Academy of Sciences, Russia; expert, Human Capital Multidisciplinary Research Center, MGIMO-University, Russia.

E-mail: petroskolkov@yandex.ru

<https://orcid.org/0000-0002-4501-9042>



ПОЛИТИКА ПАМЯТИ

СНЕСТИ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ: КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПОЛИТИКИ ПАМЯТИ СТРАН БАЛТИИ В ОТНОШЕНИИ СОВЕТСКИХ ПАМЯТНИКОВ В МЕСТАХ МАССОВОГО НАСИЛИЯ

М. Е. Мегем 

Балтийский федеральный университет им. И. Канта,
236016, Россия, Калининград, ул. А. Невского, 14

Поступила в редакцию 10.06.2022 г.
doi: 10.5922/2079-8555-2022-4-8
© Мегем М. Е., 2022

Очередной раунд советского «памятникопада» в странах Балтии, который начался еще в начале 1990-х гг., мы наблюдаем в 2022 г. Вместе с тем этот процесс не коснулся советских мемориалов, расположенных в местах массового насилия, совершенного во время немецкой оккупации Прибалтики. Цель статьи — рассмотреть основные тенденции политики памяти стран Балтии по отношению к советским памятникам, воздвигнутым в местах массового насилия. Официальная политика стран Балтии в отношении этих мест памяти во многом предопределялась внешнеполитической повесткой, а также сюжетами, которые они отражали. Так, в период евроатлантического дрейфа в концепции прошлого Прибалтийских государств был интегрирован сюжет о Холокосте, что привело к перекодировке символического пространства советских мест памяти о преступлениях против евреев и включению их в государственную коммеморативную культуру. Советские мемориалы, которые были открыты на местах, касающихся собственно трагедии местных народов, были без изменений интегрированы в государственный мемориальный ландшафт, но в случае с Литвой восприняты с большим недоверием со стороны властей по причине той советской контрпамяти, которую они сохранили. Памятники, посвященные советским военнопленным, несмотря на то, что воспринимались и воспринимаются как «чужие» места памяти, оказались под охраной законов стран Балтии, что, правда, не спасло мемориалы от регулярных неофициальных актов вандализма. Кроме того, можно отметить наличие желания пересмотра той правовой базы в Прибалтике, которая обеспечивает их сохранность.

Ключевые слова:

политика памяти, места памяти о массовом насилии, страны Балтии, советские памятники, Понары, Саласпилский мемориал, Пирчюпис, Клоога

Введение

Отношения между государствами Балтии и России после распада Советского Союза развивались по нисходящей. Отдельные периоды разрядки, как правило, сменялись еще более глубокими витками напряженности. Помимо ряда факторов, связанных с конкретными эпизодами межгосударственного взаимодействия, а так-

Для цитирования: Мегем М. Е. Снести нельзя оставить: ключевые тенденции политики памяти стран Балтии в отношении советских памятников в местах массового насилия // Балтийский регион. 2022. Т. 14, № 4. С. 128–145. doi: 10.5922/2079-8555-2022-4-8.

же внутривнутриполитическими процессами, на эскалации отношений непосредственно сказались события на Украине в 2014 и 2022 гг. Политическая элита стран Балтии в рамках украино-российских кризисов однозначно заняла проукраинскую позицию, выступая одним из ключевых глашатаев санкционного давления на РФ.

Отметим, что границы политики памяти в странах Балтии во многом предопределяются внешнеполитической повесткой, а ее базис основывается на антироссийском историческом нарративе, в котором Россия фигурирует как правопреемница Советского Союза, несущая прямую ответственность, по мнению прибалтийской политической элиты, за «советскую оккупацию»¹. Наглядным примером, иллюстрирующим антироссийскую направленность официального исторического дискурса в странах Балтии, служит политика памяти по отношению к советским мемориальным объектам, которые в большом количестве по сей день остаются на территории Латвии, Литвы и Эстонии.

Цель данной статьи — выявить ключевые тенденции политики памяти в странах Балтии по отношению к советским мемориальным объектам, расположенным на их территории в местах массового насилия, совершенного во время немецкой оккупации².

Латвийская, Литовская и Эстонская ССР находились под немецкой оккупацией с 1941 по 1944 г. За это время, согласно акту судебно-медицинской экспертизы, составленному 20 января 1946 г., на территории Прибалтики нацистами были убиты более 1 млн человек (в том числе советские военнопленные): в Литве — 666 тыс., в Латвии — 314 тыс., в Эстонии — 61 тыс. [1, с. 231]. В годы Великой Отечественной войны в Прибалтике в том числе с помощью коллаборационистов гитлеровцами было практически полностью уничтожено местное еврейское население³. Вследствие тяжелых условий содержания, систематических истязаний и расстрелов в дулагах, шталагах и офлагах массово погибали советские военнопленные. В концлагерях умирали угнанные из западных регионов СССР советские граждане. Кроме того, нацисты и их пособники проводили специальные репрессивные акции в отношении местного прибалтийского населения, в ходе которых осуществлялись поджоги деревень и многочисленные расправы⁴.

В советское время во многих местах массовых преступлений в Прибалтике в тот или иной период были установлены различного рода мемориальные объекты (отдельные памятники, мемориальные доски и камни или целые мемориальные ансамбли), служившие напоминанием о произошедших здесь трагедиях. Эти памятники, как правило, имели свои собственные эстетические и семиотические особенности, выделявшие их на фоне многочисленного «героического» советского наследия, связанного с Великой Отечественной войной. В большинстве своем ме-

¹ Нарратив о «советской оккупации» является фундаментом официальных исторических концепций стран Балтии. Согласно ему, Латвия, Литва и Эстония не по своей воле были присоединены к Советскому Союзу, а также понесли людские и материальные потери за время нахождения в его составе. Именно по этой причине в странах Балтии периодически принимаются различного рода документы с требованиями возместить ущерб от «советской оккупации».

² Под местами массового насилия в рамках данного исследования мы понимаем конкретные территории, на которых нацисты, а также их пособники совершали многочисленные убийства мирного населения и военнопленных или создавали специальные условия, способствовавшие их смерти.

³ Отметим, что информация о точном количестве погибшего еврейского населения в Прибалтике сильно разнится. В данном случае сошлемся на исследования авторитетного историка Холокоста Антона Вейс-Вендта, согласно которому с 1941 по 1944 г. на территории Эстонии было уничтожено 8,5 тыс. евреев, в Латвии — 61 тыс., а в Литве — 195 тыс. [2].

⁴ Подробнее об этом см.: Прибалтика. Под знаком свастики (1941—1945). Сборник документов, 2009, М., Объединенная редакция МВД РФ, Кучково поле, 464 с.

мемориальные объекты, установка которых на местах массовых насилий была инициирована именно советской властью, а не полуофициальными акторами, появляются в Латвийской, Литовской и Эстонской ССР с 1960-х гг., когда в советской прибалтийской политике воспоминаний отчетливо проявилась тенденция, связанная с акцентированием внимания на мотиве скорби и жертвах среди местного населения в годы военного лихолетья. То есть предметно стал проявляться национальный подтекст «монументальной памяти» о войне, при этом в текстах надписей на памятниках национальная характеристика отсутствовала: гибли не латыши, литовцы, эстонцы, русские и евреи, а советские люди.

Мощная волна «памятничкопада» в отношении советского наследия, которая обрушилась на Латвию, Литву и Эстонию в начале 1990-х гг., не коснулась советских мест памяти массового насилия. Скорее всего, это было связано со спецификой темы, которую отражали памятники. В дальнейшем в зависимости от того, какому конкретно сюжету был посвящен тот или иной мемориал, акторы официальной политики памяти в странах Балтии применяли к ним определенную стратегию, направленную либо на интеграцию наследия, либо на основательную переработку пространства вокруг него, либо на забвение.

Историография

В историографии нет специальных работ, посвященных изучению советского мемориального присутствия на местах массовых трагедий в странах Балтии. Тем не менее судьба такого рода советских памятников рассматривалась некоторыми зарубежными историками в контексте характеристики официальной политики памяти по отношению к советскому мемориальному наследию в целом. Здесь прежде всего стоит отметить книги немецкого историка Е. Махотиной из Боннского университета, которая выпустила ряд работ на русском и немецких языках, посвященных истории советских музеев, мемориалов и военных памятников в Литве в досоветский и постсоветский периоды [3—6]. Кроме того, в Литве советское военное мемориальное наследие анализируется в коллективной монографии «Солдаты. Бетон. Миф. Места захоронений советских воинов Второй мировой войны в Литве», в которой авторы рассуждают о конфликтном потенциале советских памятников [7]. Под влиянием рефлексии по поводу событий, связанных с «Бронзовым солдатом» в 2008 г., в Эстонии вышел ряд общих обзорных исследований, касающихся советских памятников в стране и отношения к ним эстонской власти и общества [8—10]. Из латвийских работ стоит отметить исследование В. Зельче, в котором автор представляет советские памятники как пространство, способствующее институционализации политической деятельности местного русскоязычного сообщества [11, р. 30]. Фокус внимания отечественной историографии направлен на изучение общих тенденций в политике памяти стран Балтии [12; 13] и, как правило, затрагивает тему советских памятников вскользь и преимущественно в рамках истории, касающейся «Бронзового солдата» [14; 15]. Отдельные аспекты официальной мемориальной политики в Латвии рассмотрены В. В. Симиндеем [16], а в Литве — О. А. Романовой и Т. С. Гузенковой [17].

Тотальная перекодировка: судьба советских мест памяти, связанных с Холокостом

Как уже было отмечено выше, отношение к советским памятникам в местах массовых насилий в странах Балтии зависело прежде всего от той тематики, которую они репрезентировали. Для начала остановимся на особой группе мест памяти, которая связана с Холокостом.

Во время немецкой оккупации в Литве, Латвии и Эстонии было уничтожено большое количество еврейского населения. Однако данная проблематика в советском общесоюзном и региональных дискурсах, как и эпизоды о коллаборационизме литовцев, латышей и эстонцев, широко не рассматривалась. Тем не менее на территории советской Прибалтики располагались официальные места памяти, которые напрямую были связаны с Холокостом. В Эстонии это был памятник в Клооге, в Латвии — мемориальная доска в Румбуле, в Литве — мемориальные объекты, посвященные жертвам в IX форте в Каунасе и в Понарах, что неподалеку от Вильнюса. При этом стоит учитывать, что в советском варианте сюжеты о Холокосте трактовались как преступления немецко-фашистских захватчиков против граждан Советского Союза без какого-либо акцента на этнической составляющей. Именно такого рода интерпретацию и канализировали эти места памяти.

«Памятникопад» начала 1990-х гг. не коснулся советского наследия, так или иначе связанного с темой Холокоста, даже несмотря на то, что эти мемориалы, во-первых, имели «плохую» советскую родословную, во-вторых, отражали события прошлого — антиеврейские акции, в которых принимало участие коренное население. В середине 1990-х гг. параллельно полуофициальной коммеморации, инициаторами которой были местные еврейские организации, произошел важный прецедент символического толка: президент Литвы А. Бразаускас покаялся за совершенные в годы войны местными жителями преступления. Однако в официальном дискурсе это травматическое прошлое не столько перерабатывалось, сколько придавалось забвению [18, с. 436]. Наоборот, упор делался на коллективную виктимизацию, основой которой был нарратив о том, что именно литовцы, латыши и эстонцы являются основными «жертвами» немецкой и «советской» оккупаций на территории Прибалтики. Ситуация изменилась после того, как был запущен процесс евроатлантической интеграции, которая подразумевала под собой и включение в государственную концепцию истории сюжетов большого европейского нарратива о Холокосте. Чтобы имидж стран Балтии соответствовал европейским демократическим стандартам, далее начался процесс присвоения и мемориализации мест памяти, связанных с трагедией евреев, что напрямую затронуло нескольких советских архитектурных объектов, «охраняющих» память о преступлениях фашистов.

В эстонской Клооге на месте массовых захоронений одноименного концентрационного лагеря в 1951 г. был открыт памятник, на котором была нанесена надпись: «Вечная память жертвам фашизма». Здесь проходили государственные памятные мероприятия, связанные с преступлениями нацистов, при этом тематика Холокоста напрямую не фигурировала. В 1994 г. по инициативе Еврейской общины Эстонии рядом с советским монументом появились памятные камни, а с него самого была демонтирована пятиконечная звезда. Кроме того, на нем были установлены новые мемориальные таблички, в которых произошедшие 50 лет назад события уже связывались конкретно с Холокостом. Вместе с тем основные шаги по официальной мемориализации объекта были проделаны как раз в период активной евроатлантической интеграции: на этой территории появились уже собственно эстонские памятники, посвященные трагедии еврейского народа [19]. В 2013 г. мемориальный комплекс был реконструирован, также на его территории появилась музейная экспозиция под открытым небом «Лагерь Клоога и Холокост» [20]. На сегодняшний день это главное место памяти в стране, связанное с Холокостом. Оно официально интегрировано в эстонскую коммеморативную культуру и максимально дистанцировано от советского наследия. Примечательно, что на поставленном в советское время памятнике вместо убранной пятиконечной звезды теперь находится звезда Давида [19].

Ключевым советским латвийским местом трагедии, затрагивающим Холокост, был Румбульский лес, расположенный неподалеку от Риги, где в конце 1941 г. совершались массовые расстрелы евреев. По инициативе еврейских активистов на территории леса в 1964 г. был уставлен камень в память о произошедших событиях. Текст, который был выгравирован на камне, гласил: «Жертвам фашизма». Все это соответствовало официальному советскому дискурсу, игнорировавшему этническую референцию преступлений нацистов. Правда, было и небольшое послабление: надпись на камне была нанесена не только на русском и латышском языках, но также и на идише. В период активного евроатлантического дрейфа пространство этого места памяти было существенно переработано. В 2002 г. на деньги латвийского государства и зарубежных общественных организаций здесь был воздвигнут полноценный мемориальный ансамбль⁵. Удивительно другое. На входе в комплекс расположены плиты, на которых на латышском, немецком, английском и идише рассказывается о совершенных на этом месте убийствах⁶. В то же время русскому языку с учетом большой русскоязычной общины в Латвии места здесь не нашлось.

В Литве находится большое количество мемориальных объектов, связанных с Холокостом, что неудивительно, так как во время немецкой оккупации в стране погибло более 90 % местного еврейского населения [21]. В советское время в республике одним из ключевых мест памяти о массовом насилии были Понары, где немцы и коллаборанты долгое время расстреливали еврейское население, советских военнопленных, а также всех неугодных. После войны на деньги еврейской общины в 1948 г. здесь был открыт обелиск, реконструированный через четыре года. Его уникальность заключалась в том, что на нем одновременно присутствовали надписи на трех языках: русском, идише и иврите. Вдобавок отмечалось, что этот памятник был посвящен убитым «виленским и другим евреям». По этому поводу в адрес местных властей в Москве поднялась волна критики, и в начале 1960-х гг. памятник был советизирован: на новом обелиске на русском и литовском языках уже указывалось, что он воздвигнут в память о жертвах фашизма [5, с. 99—101]. Параллельно здесь начал функционировать «Музей фашистского террора» [5, с. 69].

В начале 1990-х гг. это место памяти трансформировалось из официального советского и полуофициального еврейского в многонациональное. Значимость места трагедии в Понарах обусловила появление здесь в течение пяти лет различного рода мемориальных объектов в память об убитых тут евреях, литовцах, поляках и советских военнопленных⁷. Так это «место памяти» стало многослойным: одновременно и демократическим в силу своей полифонии, и конфликтным из-за разрозненности символов и образов жертв [5, с. 197]. При этом такая эклектичность сформировалась автономно, а не в результате целенаправленной политики [22, с. 101].

В свою очередь, для литовской государственной стратегии управления памятью в Понарах характерна амбивалентность. С одной стороны, в рамках этой политики Понары преподносятся как интегрированное в коммеморативный литовский нарратив место трагедии евреев, очищенное от советского мемориального налета⁸, с дру-

⁵ Мемориал в Румбуле, 2022, *Latvijas Ebreju Kopiena*, URL: <https://jews.lv/еврейские-кладбища-и-памятные-места/мемориал-в-румбуле/> (дата обращения: 12.06.2022).

⁶ *Memoriāls nacisma upuru piemiņai*, 2020, *Cita Rīga*, URL: <https://www.citariga.lv/lat/rumbula/memorials/> (дата обращения: 16.06.2022).

⁷ *Panerių memorialo ekspozicija*, 2022, *Vilniaus Gaono žydų Istorijos muziejus*, URL: <https://www.jmuseum.lt/lt/ekspozicija/i/188/paneriu-memorialo-ekspozicija/> (дата обращения: 21.06.2022).

⁸ На данный момент памятник евреям в Понарах — это главный мемориал в этом комплексе, который также является основным официальным местом памяти жертв Второй мировой войны в Литве. Именно сюда 8 мая, в День памяти и примирения, приезжают представители правительства Литвы [5, с. 196].

гой — как место трагедии самих литовцев. В 1990 г. в Понарах был поставлен крест в память о литовцах, пострадавших от немецкой оккупации, а в 2004 г. — полноценный памятник, посвященный расстрелянным здесь в 1944 г. нацистами литовским солдатам-добровольцам из Литовского территориального корпуса П. Плехавичюса⁹. В условиях, когда в уничтожении евреев в Понарах активное участие принимало местное литовское население, в данном случае была предпринята попытка разбавить этот сюжет страданиями собственно литовского народа: не только евреи здесь были жертвами, но и «мы сами». Вместе с тем сложность сюжетов еврейской истории для культурной памяти Литвы наглядно иллюстрируют периодические осквернения еврейского памятника в Понарах.

Массовые убийства евреев в Литве во время войны также происходили в Каунасе на территории IX форта. В послевоенное время неподалеку от форта был установлен камень в память о жертвах фашизма с надписью на литовском языке, а в 1959 г. произошла музеефикация этих событий. Экспозиции музея IX форта рассказывали как о преступлениях нацистов, так и о 16-й Литовской дивизии, воевавшей в рядах Красной армии, и коммунистическом подполье в межвоенной Литве. В рамках тематики об ужасах немецкой оккупации речь шла также и о евреях как об одной из групп жертв фашистского террора [5, с. 78—81]. В 1984 г. частью музейного пространства стал 32-метровый мемориал под названием «Путь смерти», который был на тот момент одним из крупнейших в Европе¹⁰. По словам Е. Махотиной, «эта скульптура являет собой необычный, не имеющий аналогов для советской монументальной скульптуры стиль» [5, с. 81]. Исследователь полагает, что этот монумент выступает наглядным примером «литуанизации» советской монументальной памяти в республике [6, с. 269].

В 1990-е гг. территория вокруг советского мемориала за авторством известного литовского скульптора А. В. Амбразюнаса была тотально перекодирована. Так, советский музей стал функционировать под вывеской «Музея оккупации», а его концепция полностью изменилась: теперь ключевой акцент был сделан на преступлениях советской власти. Согласно такой логике нарратив о евреях как жертвах Холокоста был задвинут на второй план. Философия музейных экспозиций была выстроена таким образом, что центральным сюжетом стала тема геноцида литовского народа¹¹. В довершение всего помимо официальных актов коммеморации, касающихся Холокоста, около комплекса проводятся ритуалы поминовения литовцев, пострадавших в советское время: 14 июня — День скорби и надежды и 23 августа — День памяти жертв тоталитаризма [5, с. 139—144]. В итоге получается, что советский монумент, посвященный жертвам фашизма, находится в символическом пространстве, рассказывающем об ужасах «советской оккупации». В результате преступления нацизма перекрываются тематикой «советского террора», а в роли главной жертвы выступили литовцы.

Таким образом, в странах Балтии мемориализованные в советское время места памяти, связанные с Холокостом, благодаря различного рода стратегиям по переработке пространства оказались включены в официальную коммеморативную культуру. Если в 1990-х гг., как правило, движение и тональность, связанные с этими

⁹ Paminėtos Lietuvos vietinės rinktinės karių savanorių sušaudymo 65-osios metinės (nuotraukos), 2009, *15min.lt*, URL: <https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/paminetos-lietuvos-vietines-rinktines-kariu-savanoriu-susaudymo-65-osios-metines-nuotraukos-56-46873> (дата обращения: 21.06.2022).

¹⁰ The Museum, 2022, *Kauno IX fortomuziejus*, URL: <https://web.archive.org/web/20220202164204/https://www.9fortomuziejus.lt/istorija/muziejus/?lang=en> (дата обращения: 22.06.2022).

¹¹ Сюжеты о советских военнопленных за исключением одного эпизода, связанного с успешным побегом 25 декабря 1943 г., были полностью исключены из экспозиции музея.

местами трагедии, задавали еврейские организации, то в начале 2000-х гг. к этому процессу вследствие евроатлантической интеграции подключились официальные государственные структуры. При этом если в Латвии и Эстонии в процессе трансформации пространства акцент был сделан на том, чтобы избавиться от советских памятников и расположить на этой территории свои доминанты, рассказывающие именно о Холокосте, то в Литве помимо попыток деактивации советского пласта в место памяти добавлялся еще один сюжет, иллюстрирующий страдания литовского народа как в ходе Второй мировой войны (Понары), так и после, в советское время (IX форт в Каунасе). Таким образом, в литовском варианте это символическое пространство было одновременно местом памяти и о Холокосте, и о «геноциде» литовцев¹².

Саласпилсский мемориальный ансамбль: курс на латвийское место памяти

На территории Прибалтики во время пребывания ее под знаком свастики располагались не только концентрационные лагеря, в которых содержалось еврейское население. Печально известным местом массового насилия был также Саласпилсский концлагерь, куда после уничтожения еврейских пленников в 1941 г. стали массово свозить нарушителей оккупационного порядка и противников нацистской власти в Латвии, а также угнанных из СССР в результате антипартизанской борьбы мирных жителей¹³, в том числе детей, у которых для медицинских экспериментов выкачивали кровь (подробнее об этом см: [23; 24]).

В 1967 г. на месте нацистского концлагеря «Саласпилс» был открыт поражающий своим размахом Саласпилсский мемориальный ансамбль. Его авторы¹⁴ получили престижную в СССР Ленинскую премию, а его значимость для советской латвийской культуры памяти была исключительной. По словам Н. Сурина, «основная идея мемориала воплощена в камне как протест против насилия, бесчеловечности, войны и солидарность борцов против фашизма». На территории мемориального комплекса также был установлен метроном, которой отбивал звуки, символизирующие собой биение сердца заключенных [25, с. 606—608].

В постсоветской Латвии этот памятник жертвам нацизма, несмотря на свой советский бэкграунд, оказался в списке латвийского культурного канона, наиболее значимых произведений искусств и культурных ценностей страны, а также был интегрирован в официальный латвийский нарратив. Акторам, определяющим вектор направления латвийской политики памяти, было сложно придать забвению это очень важное для советской концепции истории место памяти особенно с учетом эстетической ценности памятника, деликатности темы и значимости Саласпилсского мемориала для большой русскоязычной общины в стране. Кроме того, факт активного стирания памяти о Саласпилсе позволил бы обвинить латвийские власти в реабилитации нацизма, что было неприемлемо в контексте переработки национальной истории в рамках вхождения в ЕС и интеграции большого европейского нарратива о Холокосте в парадную концепцию латвийского прошлого. В данном случае неудивительно, что Саласпилсский архитектурный ансамбль стал частью официальной латвийской коммеморативной культуры.

Однако параллельно в официальной латвийской исторической науке внимание акцентировалось на том, что вокруг самого концлагеря в советское время было со-

¹² В случае с IX фортом в Каунасе «геноцид» литовцев — это вообще центральная тема.

¹³ Преимущественно из восточной части Латвии, западных областей РСФСР и Белоруссии.

¹⁴ Скульпторы Л. Буковский, Я. Зариньш, О. Скарайнис и архитекторы Г. Асарис, О. Закаменн, О. Остенберг, И. Страутманис.

здано большое количество мифов, связанных, по мнению исследователей, с излишней гиперболизацией страдания и пропагандистской маркировкой этого места как лагеря смерти. Появились специальные работы, целью которых было развенчание мифов и клише советской историографии (см., например: [26]). Известный своей скандальностью латвийский публицист и журналист Э. Вейдемане прямо указывает, что у латышского общества аллергия на Саласпилсский мемориал по причине того, что для многих русскоязычных жителей страны это место — «священная корова» [27].

В связи с этим в отношении Саласпилсского мемориала была предпринята попытка перекодировки его из советского места памяти одновременно и в интернациональное, и в «свое» место трагедии. В ходе этой трансформации в 2008 г. рядом с мемориальным ансамблем было благоустроено захоронение немецких военнопленных, а через 10 лет открыта экспозиция музея, авторство которой в том числе принадлежит историкам, представляющим тенденциозный «Музей оккупации Латвии». Музейная выставка рассказывает о том, что в концлагере содержались не только угнанные из СССР гражданские лица, но и латышские политзаключенные¹⁵, нарушители трудовой дисциплины, полицаи и легионеры [27]¹⁶. Кроме того, на территории комплекса были поставлены стенды, информирующие посетителей об ужасах как немецкого, так и советского «режимов»¹⁷, которые, согласно официальному прибалтийскому дискурсу, были тождественны друг другу. При этом эпизоды, касающиеся коллаборационизма и участия жителей Латвии в функционировании концлагеря «Саласпилс», не попали в объектив музейного нарратива.

Интеграция советских памятников, посвященных стертым с лица земли прибалтийским деревням

Еще одной группой советских мемориальных военных объектов, связанных с массовым насилием в странах Балтии, являются памятники, посвященные разрушенным деревням. Самым известным в советское время в Литве памятником, посвященным такого рода трагедии, был мемориальный комплекс, построенный на месте уничтоженной в июне 1944 г. деревни Пирчюпис. Уникальность этого мемориала, открытого в 1960 г. и состоящего из статуи «Мать», а также стен с выгравированными именами погибших, заключается в том, что это был первый в СССР памятник, поставленный в память о сожженной деревне. Один из его авторов, литовский скульптор Г. Йокубонис, в 1963 г. был удостоен авторитетной Ленинской премии [5, с. 72—77]. По своему коммеморативному функционалу и значению для Литовской ССР это место памяти было сродни символической ценности Хатыни для белорусов. В советском литовском дискурсе сюжет о трагедии в Пирчюписе играл одну из ключевых ролей в нарративе о преступлениях нацистов на территории оккупированного Советского Союза (подробнее об этом см: [28]). Рядом располагался один из самых посещаемых в республике мемориальных музеев, а само место памяти выступало символом жестокости немецкого «фашизма» на территории Литвы, о нем знали далеко за пределами республики [3].

После получения независимости Литвы это место памяти было отвергнуто как «чужое». По словам литовского историка З. Виткуса, «при деконструкции мифа о

¹⁵ В частности, руководящий состав Латвийского центрального совета, ориентированного на США и Великобританию.

¹⁶ Salaspils nometne (1941—1944), 2022, *Salaspils Memoriāls*, URL: <https://salaspilsmemorials.lv/salaspils-nometne/> (дата обращения: 29.06.2022).

¹⁷ Ekspozīcija, 2022, *Salaspils Memoriāls*, URL: <https://salaspilsmemorials.lv/ekspozicija/> (дата обращения: 29.06.2022).

Великой Отечественной войне Пирчюпис деконструировался одновременно» [29]. Как следствие, музей в постсоветской Литве был закрыт, а выставка, перекочевавшая в местную библиотеку, позднее была ликвидирована [3]. Между тем сам мемориал, несмотря на всю свою значимость для российской контрпамяти, не был ликвидирован и продолжает играть важную роль как место памяти для местных жителей, которые ежегодно вместе с сотрудниками российского посольства принимают участие в памятных акциях. Таким образом, местная региональная культурная память сохраняет в том числе благодаря существованию этого мемориала нарратив о преступлениях фашистов, сформированный еще советскими архитекторами политики памяти, тогда как для государственного литовского дискурса Пирчюпис, скорее, «инородное тело». З. Виткус полагает, что это сигнализирует о пробеле в исторической политике Литвы, в рамках которой сложилась определенная конвенциональная установка относиться к немецкой оккупации как к более легкому, более благоприятному для литовского народа периоду, чем нахождение Литвы в составе СССР [29]. Тем не менее с учетом тектонических сдвигов по отношению к советским памятникам в Литве в 2022 г. можно предположить, что политика забвения в контексте Пирчюписа претерпит изменения в сторону более активных действий, направленных на деактивацию символизма советского наследия.

Если в советское время мемориал в Пирчюписе возник в результате официальной политики памяти, то скульптурный ансамбль на месте сожженной немцами деревни Аблинга в Клайпедском районе (деревня была уничтожена 23 июня 1941 г., а ее жители расстреляны) появился в 1972 г. как инициатива «снизу», исходившая от местного резчика по дереву В. Майораса. Первоначально о трагедии напоминал лишь памятник из цемента. Вместо него было установлено 30 дубовых скульптур, вырезанных местными мастерами в фольклорной традиции, совершенно не свойственной для советской мемориальной культуры. Несмотря на то что это не был партийный проект, в его открытии приняли участие первый секретарь Коммунистической партии Литвы А. Снечкус и министр культуры Литовской ССР Л. Шепетис [5, с. 81—84]. Благодаря своей нестандартной стилистике об Аблинге узнали как во всем Советском Союзе, так и за его пределами [30, с. 76]. В 1984 г. в деревне открыл свои двери музей, рассказывающий о произошедшей трагедии. Вместе с тем это место памяти изначально было амбивалентным: по своему содержанию оно полностью соответствовало советскому нарративу, а по исполнению и форме являлось отражением литовской народной традиции, смеси христианства и язычества.

Мемориал в Аблинге возник в результате активности «снизу», поэтому неудивительно, что его трансформация также происходила не как итог целенаправленной политики памяти, а как локальная инициатива местных жителей. Уже в 1985 г. рядом с мемориальным ансамблем было восстановлено сооружение религиозного назначения Лурд (искусственный грот) [31], которое в рамках местной поминальной практики стало доминантой [32]. Таким образом, христианская составляющая этого места памяти еще в советское время оказалась ключевой, что совместно с фольклорными чертами памятника обеспечило мемориал Аблинги охранной грамотой. Единственное, что сделали литовские власти, — это закрыли местный музей. Тем не менее отметим, что история об уничтоженной деревне Аблинге не вызывает особого интереса в литовском информационном поле¹⁸ и в первую очередь важна для местных жителей. Редкое посещение скульптурного ансамбля литовскими политиками сопряжено, как правило, не с самой трагедией, а с другими памятными датами. Так, например, спикер Сейма Ирена Дегутене возлагала цветы к памятнику дважды: 8 мая 2010 г. (день памяти и примирения, посвященный памяти жертв

¹⁸ Достаточно посмотреть количество публикаций об Аблинге в литовских СМИ, вышедших за последние 20 лет. По подсчету автора, их всего лишь чуть больше десятка.

Второй мировой войны) и 22 августа 2012 г. (в канун дня памяти жертв сталинизма и нацизма). Примечательно, что в 2012 г. в своей речи она отметила, что во время Второй мировой войны убивали не только нацисты, но и советские люди¹⁹.

Латвийским Пирчюписом или Хатынью была деревушка Аудрини в Латгалии. В начале января 1942 г. практически все ее жители были расстреляны, а сама деревня сожжена. Поводом к расправе послужила помощь одной из жительниц деревни бежавшим советским военнопленным. В 1965 г. в Риге состоялся громкий судебный процесс, вызвавший широкий резонанс в СССР, над коллаборационистами, совершавшими эти преступления [33]. После этого начался активный этап мемориализации как самой Аудриньской трагедии, так и преступлений гитлеровцев в Латгалии в целом.

В конце 1960-х — начале 1970-х гг. в Резекненском крае в память об этих событиях появились монументы и памятные доски (в Резекне и Аудрини), а также Анчупанский мемориал (в Анчупанском лесу). Все эти памятные места работали в одной связке. С тех пор каждый год в начале января на этих объектах проходили акты коммеморации, которые после получения Латвией независимости оказались частью официальной политики памяти как места массовых убийств на территории Латвии в годы Второй мировой войны²⁰. Особое значение эти памятные мероприятия имели для местных жителей, но вместе с тем их периодически посещали и первые лица государства. Например, в 2015 г. участие в мероприятиях, приуроченных к 73-й годовщине Аудриньской трагедии, принял министр обороны, будущий президент Латвии Раймондс Вейонис. Когда он возлагал цветы к Анчупанскому мемориалу, там стоял почетный караул из ополченцев Земессардзе (национальная гвардия Латвии)²¹.

В конечном счете советские памятники в окрестностях Аудрини были интегрированы в официальную латвийскую мемориальную культуру без каких-либо существенных изменений. В данном отношении это отличает латвийскую политику памяти от литовской, для которой на официальном уровне свойственно игнорировать аналогичный эпизод с сожженной деревней в Пирчюписе, даже несмотря на то, что это место трагедии играет важную роль для местного населения. Вместе с тем, учитывая зависимость направления политики памяти стран Балтии от внешнеполитического взаимодействия с Россией, можно предположить, что в перспективе советские места памяти, связанные с трагедией в Аудрини, будут либо перекодированы, либо преданы забвению.

Памятники советским военнопленным — «чужие» мемориальные объекты

Во время войны в Прибалтике находились многочисленные лагеря для советских военнопленных. Из-за тяжелых условий содержания смертность в них была велика²². В первое послевоенное десятилетие в СССР вокруг этой темы была со-

¹⁹ Atmintis, 2013, *Banga*, URL: <https://gargzdai.lt/atmintis-203/> (дата обращения: 13.07.2022).

²⁰ Audriņu traģēdijai — 80. Kad nacisti likvidēja gandrīz visus nelielās Latgales sādžas iedzīvotājus, 2022, *LSM.lv*, URL: <https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/vesture/audrinu-tragedijai--80-kad-nacisti-likvideja-gandriz-visus-nelielas-latgales-sadzas-iedzivotajus.a435839/> (дата обращения: 12.07.2022).

²¹ Vējonis: Audriņu traģēdija ir atgādinājums par totalitārā režīma zvērībām. 2015, *SARGS.LV*, URL: <https://www.sargs.lv/lv/otrais-pasaules-kars/2015-01-05/vejonis-audrinu-tragedija-ir-atgadinajums-par-totalitara-rezima> (дата обращения: 12.07.2022).

²² Так, например, из 25 тыс. советских военнопленных, содержащихся в лагере «Офлаг 60» в Кудиркосе-Науместисе, всего лишь за год его существования в период с июля 1941 г. по июль 1942 г. погибло по разным оценкам от 4 до 11,5 тыс. человек (OFLAG 60 Kudirkos Naumiestis, the years 1941—1942, 2017, *Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras*, URL: <http://genocid.lt/muziejus/ru/891/c/> (дата обращения: 29.09.2022)).

здана плотная завеса умолчания. Лишь после того как в 1956 г. было принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об устранении последствий грубых нарушений законности в отношении бывших военнопленных и членов их семей», этот сюжет стал привлекать внимание историков (подробнее об этом см.: [34]). Вслед за научными исследованиями начался этап мемориализации наиболее значимых с точки зрения советского нарратива мест памяти массового насилия в отношении советских военнопленных. Прибалтика не стала исключением. Так, в Латвийской²³, Литовской²⁴ и Эстонской²⁵ ССР в 1960—1970-х гг. на месте отдельных лагерей и захоронений военнопленных были установлены различные мемориальные объекты. Их особенность — отсутствие термина «военнопленные» в надписях на памятниках, при том что в описании часто были указаны названия лагерей. Как правило (но не всегда), в надписях присутствуют упоминания о фашистах как источнике зла и данные о количестве погибших советских граждан.

После распада Советского Союза практически все эти места памяти оказались в списке объектов, находящихся под охраной Латвийского²⁶, Литовского²⁷ и Эстонского²⁸ государств, так как находились на месте воинских захоронений. Однако, несмотря на существование правовой системы, защищающей их сохранность, советские мемориальные объекты регулярно подвергались актам неофициального вандализма, которые так или иначе происходили под воздействием официальной политики памяти, в рамках которой советское наследие трактовалось как «чужие» места памяти.

²³ Мемориал на братских могилах советских военнопленных, погибших в Шталаг 350/Z в Саласпилсе (1968), памятный камень на месте лагеря военнопленных Шталаг 340 в Даугавпилсе (1975), мемориал на месте, где находился лагерь военнопленных Шталаг 340/347 в Резекне (начало 1970-х гг.) (Список памятников и памятных мест, связанных с событиями Великой Отечественной войны, на территории Латвийской республики, 2022, *Русские мемориалы в Латвии*, URL: http://voin.russkie.org.lv/vov_pam.php (дата обращения: 27.07.2022)).

²⁴ Обелиск (1951) и мемориал (1981) на месте захоронений советских военнопленных лагеря Шталаг-343 в Алитусе, памятный камень на захоронении советских военнопленных лагеря Шталаг 336 в Каунасе, мемориал на месте лагеря Офлаг-53 в Пагегяе (1978) (Немецкие лагеря для военнопленных во время Второй мировой войны, 2022, *Солдат.Ru*, URL: <https://www.soldat.ru/force/germany/camp.html> (дата обращения: 27.07.2022)).

²⁵ 4501 Terroriohvrite matmispaiк, 2006, *Kultuurimälestiste register*, URL: <https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=4501> (дата обращения: 27.07.2022).

²⁶ Правительствами Российской Федерации и Латвийской Республики в 2008 г. было подписано соглашение о статусе латвийских захоронений на территории Российской Федерации и российских захоронений на территории Латвийской Республики (Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Латвийской Республики о статусе латвийских захоронений на территории Российской Федерации и российских захоронений на территории Латвийской Республики, 2008, Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов, URL: <https://docs.cntd.ru/document/902086902> (дата обращения: 27.07.2022)).

²⁷ Межправительственное соглашение об охране памятников между Литвой и РФ так и не было заключено. Тем не менее часть советских памятников, расположенных в Литве в местах захоронений, внесена в реестр культурных ценностей и подлежат охране согласно закону «Об охране недвижимого культурного наследия» от 22 декабря 1994 г. (LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas. URL: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActPrint/lt?jfwid=14nhkh1wmh&actualEditionId=zqQvRFIdmG&documentId=TAIS.15165&category=TAD> (дата обращения: 13.06.2022)).

²⁸ Между Эстонией и РФ также нет соглашения об охране памятников. Значительная часть оставшихся советских памятников находится в реестре памятников культуры и охраняется законом. Кроме того, охрану советских мемориалов, расположенных на местах воинских захоронений, обеспечивает закон «Об охране военных захоронений» от 10 января 2007 г. (Sõjahaudade kaitse seadus, 2017, *Riigi Teataja*, URL: <https://www.riigiteataja.ee/akt/12777064> (дата обращения: 13.06.2022)).

Основная работа по уходу за этим наследием легла на плечи посольств РФ в Латвии, Литве и Эстонии, которым порой (прежде всего с начала 2000-х гг.) даже при их небольших возможностях удавалось не только инициировать и финансировать работы по реставрации ряда объектов²⁹, но и открывать новые памятники³⁰.

Вместе с тем в странах Балтии встречались отдельные отступления от «партийной» линии в рамках официальной политики памяти, когда государственные структуры брали на себя расходы, связанные с восстановлением советских мемориалов. Так, например, произошло с советским «местом памяти» в Пагегяе: в период оккупации с июля 1941 г. по июль 1942 г. здесь находился лагерь для советских военнопленных, через который прошли 24 тыс. человек. По данным исследователей, около 10 тыс. из них погибли [35]. В 1977 г. на месте немецкого лагеря был возведен мемориал, посвященный погибшим советским военнопленным (скульптор С. Шарпова, архитектор Г. Баравикас) [36, с. 188]. В 1993 г. этот объект оказался в реестре памятников истории и культуры Литовской Республики [37]. Далее сведения о судьбе советского мемориала разнятся: по одним данным, он пришел в негодность в начале «нулевых»³¹, по другим — в 2004 г. его разрушили вандалы [5, с. 208]. Классическая непростая судьба советского памятника. Однако к празднованию 60-летия окончания Второй мировой войны правительство Литовской Республики выделило средства на ремонт мемориального комплекса, а 8 мая 2005 г. на его открытии присутствовал премьер-министр Литвы А. Бразаускас [5, с. 207—208]. Помимо восстановленных советских мемориалов на этом месте появился уже собственно литовский памятник, на котором была выгравирована на русском, английском и литовском языках надпись «Вечная память жертвам фашизма», характерная, скорее, для советского периода (архитекторы — В. Моцкус и Й. Янкус, с гравировкой художника С. Красаускаса) [37]. Такая несвойственная для литовской политики памяти история, скорее всего, связана с личностью премьер-министра Литвы А. Бразаускаса. Во-первых, он как литовский руководитель «старой школы» иначе, чем литовские националисты, относился к советскому наследию (да и к РФ); во-вторых, по словам основателя литовского Института военного наследия Ю. Тракшялиса, А. Бразаускас принимал личное участие в установке советского мемориала в Пагегяе в 1977 г. [38]. В любом случае такого рода прецедент — это аномалия для литовской государственной политики памяти.

Заключение

Отметим, что советские мемориальные объекты, возведенные в местах массовых насилий в отношении еврейского или местного населения, в отличие от множества других советских памятников оказались интегрированы в официальные или региональные коммеморативные культуры Латвии, Литвы и Эстонии. Важно учитывать, что активный этап перекодировки изучаемых мест памяти совпал с евроатлантическим курсом стран Балтии: необходимость интеграции Холокоста в свои собственные концепции истории побудила архитекторов государственной политики памяти к полноценному освоению символического пространства этих территорий. Вместо полуофициальных практик выкристаллизовались основные подходы стран Балтии к местам памяти о массовых убийствах.

²⁹ Отметим, что на обновленных мемориалах в надписях уже появились упоминания о советских военнопленных.

³⁰ Например, в Литве в 2006 г. был открыт памятник в Вильнюсе на месте лагеря «Кошары», а в 2011 г. — в городе Кудиркосе-Науместисе появился монумент на территории, где во время войны располагались лагерь Офлаг-60 и Шталаг I D.

³¹ *Oflager 53*, 2011, *NIEKONaujo*, URL: <https://www.niekonaujo.lt/20110917/oflager-53> (дата обращения: 15.07.2022).

Основной государственной стратегией присвоения такого рода наследия была тотальная перемаркировка символического пространства рядом с памятником. Благодаря различного рода официальным коммеморативным практикам, музеефикации, установке новых «правильных» памятников или информационных стендов, удалению советской символики и русского языка происходила десоветизация этих мест памяти. При этом если речь шла о региональной интеграции, как в случае с монументами в Пирчюписе или Аудрини, советский дискурс о злодеяниях фашистов сохранялся, однако, вероятно, в ближайшей перспективе будут предприняты попытки его деактивации.

В новых обстоятельствах построенные в советское время памятники или могли оставаться доминантами (Саласпилс, Аудрини, IX форт в Каунасе, Пирчюпис), или отодвигались на периферию мемориального пространства вследствие появления новых объектов (Понары, Румбула, Клоога). Параллельно советский нарратив о преступлениях фашистов, который был заложен в памятниках, в рамках официальной политики памяти мог трансформироваться как в дискурс о Холокосте, так и в сюжеты о «советском терроре» в отношении местного коренного населения³². В последнем случае, даже несмотря на то, что эти массовые убийства совершали немецкие войска и коллаборационисты, упор делался на вину СССР в «оккупации» Прибалтики или в развязывании Второй мировой войны. При таком подходе предвоенная или послевоенная история замещала собой период Великой Отечественной войны. При этом обвинения в адрес Советского Союза в преступлениях ни в коей мере не были связаны с контекстом места.

Советское наследие, репрезентирующее сюжеты, касающиеся насилия в отношении военнопленных-красноармейцев, осталось за пределами официального мемориального ландшафта стран Балтии. Тем не менее его сохранность гарантируется правовой базой, сформированной в период, когда отношения между РФ и Прибалтийскими государствами еще находились в конструктивном русле. Как раз к этому времени относятся немногочисленные случаи, когда государственные структуры участвовали в обновлении советского военного наследия, что является исключением, подтверждающим правило. Принимая во внимание тот факт, что политика памяти прибалтийской элиты относительно советских памятников во многом зависит от степени конструктивности отношений с Россией, которые сейчас находятся на самом низком уровне за всю постсоветскую историю, можно предположить, что правовая основа, определяющая статус советских мемориальных объектов в странах Балтии, в скором времени будет пересмотрена, а большинство памятников — демонтировано.

Работа выполнена в рамках реализации проекта «Приоритет-2030» «Историческая память как фактор геополитической безопасности на западных рубежах России».

Список литературы

1. Кантор, Ю.З. 2011, *Прибалтика: война без правил (1939—1945)*, СПб., Журнал «Звезда», 336 с.
2. Weiss-Wendt, A. 2008, Why the Holocaust Does Not Matter to Estonians, *Journal of Baltic Studies*, vol. 39, №4, p. 475—497, <https://doi.org/10.1080/01629770802461530>.
3. Махотина, Е. 2013, Вильнюс. Места памяти европейской истории, *Неприкосновенный запас. Дебаты о политике и культуре*, №4.
4. Makhotina, E. 2017, *Erinnerungen an den Krieg — Krieg der Erinnerungen: Litauen und der Zweite Weltkrieg*, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co, 478 s.

³² Данный нарратив характерен прежде всего для литовской политики памяти.

5. Махотина, Е. 2020, *Преломления памяти. Вторая мировая война в мемориальной культуре советской и постсоветской Литвы*, СПб., Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 218 с.
6. Махотина, Е. 2020, День Победы как Поле коммеморативных конфликтов: 9 мая в Вильнюсе, *Международный мемориал: Проект «Уроки Истории»*, URL: <https://urokiistorii.ru/articles/den-pobedy-kak-pole-kommemorativnyh> (дата обращения: 13.06.2022).
7. Arlauskaitė Zakšauskienė, I., Černiauskas, N., Kulevičius, S., Jakubčionis, A. 2016, *Kariai. Betonas. Mitas. Antrojo pasaulinio karo Sovietų sąjungos karių palaidojimo vietos Lietuvoje*, Vilnius, Vilniaus universiteto leidykla, 312 p.
8. Brüggemann, K., Kasekamp, A. 2008, The Politics of History and the “War of Monuments” in Estonia, *Nationality Papers*, vol. 36, № 3, p. 425—448, <https://doi.org/10.1080/00905990802080646>.
9. Адамсон, А. 2009, Национальная история Эстонии в контексте европеизации прошлого и «войны памятников», *Национальные истории на постсоветском пространстве — II*, М., Фонд Фридриха Науманна, АИРО-XXI, с. 182—200.
10. Tamm, M. 2012, Monumentaalne ajalugu. Esseid Eesti ajalookultuurist, *Loomingu Raamatukogu*, № 28—30.
11. Zelče, V. 2010, *The Texture of Memory. World War II Monuments in the Baltic States*, Rīga, ASPRI, 40 с.
12. Симонян, Р. Х. 2011, Оккупационная доктрина в странах Балтии: содержательный и правовой аспекты, *Государство и право*, № 11, с. 106—114.
13. Скачков, А. С. 2017, Историческая память в политических процессах постсоветской Прибалтики, *Сравнительная политика*, т. 1, № 1, с. 140—151, <https://doi.org/10.18611/2221-3279-2017-8-1-140-151>.
14. Зверев, К. А. 2020, Политика памяти в прибалтийских республиках: внешнеполитический аспект, *Вестник Российской нации*, № 5, с. 44—55.
15. Зверев, К. А. 2021, Историческая политика Эстонской Республики в контексте национально-государственного строительства, *Проблемы национальной стратегии*, № 1, с. 202—215.
16. Симиндей, В. В. 2015, *Огнем, штыком и лезвием. Мировые войны и их националистическая интерпретация в Прибалтике*, М., Фонд «Историческая память», 352 с.
17. Романова, О. А., Гузенкова, Т. С. 2015, Синдром оккупации, *Наследники Победы и поражения. Вторая мировая война в исторической политике стран СНГ и ЕС*, М., РИСИ, с. 371—388.
18. Сафроновас, В. 2009, О тенденциях политики воспоминания в современной Литве, *Ab Imperio*, № 3, с. 424—458.
19. Ливик, О., Марипу, М. 2013, Память о жертвах в Клоога, *Концентрационный лагерь Клоога и мемориал жертвам Холокоста*, URL: <https://klooga.nazismvictims.ee/ru/materjalid/ohvrite-malestamine-klooga/> (дата обращения: 12.06.2022).
20. Ливик, О., Марипу, М. 2013, Экспозиция под открытым небом Эстонского исторического музея «Лагерь Клоога и Холокост», *Концентрационный лагерь Клоога и мемориал жертвам Холокоста*, URL: <https://klooga.nazismvictims.ee/ru/materjalid/estoni-ajaloomuuseumi-valiekspositsioon-klooga-laager-ja-holokaust/> (дата обращения: 12.06.2022).
21. Bubnys, A. 2004, The Holocaust in Lithuania: an outline of the major stages and their results, In: Nikžentaitis, A., Schreiner, S., Staliūnas, D. (eds.), *Vanished world of Lithuanian Jews*, Amsterdam, Rodopi, p. 205—221.
22. Фелькер, А. В. 2018, «Непростое» наследие: Проблематика мест памяти о массовом насилии Западной и Восточной Европы, В: Миллер, А. И., Ефременко, Д. В. (ред.), *Методологические вопросы изучения политики памяти*, сборник научных трудов, М., СПб., Нестор-история, с. 93—109.
23. Богов, В. 2019, Практика лицемерия: детские дома и приюты в период немецкой оккупации Латвии (1941—1944), *Журнал исторических исследований*, № 2, с. 117—137.
24. Богов, В. 2021, *Саласпилс: Забытая история. Сборник фотодокументальных свидетельств о злодеяниях немецких нацистов и их пособников в годы германской оккупации Латвии в 1941—1945 г.*, Рига, Фонд развития культуры, 194 с.
25. Гапоненко, А. В. (ред.). 2010, *Прибалтийские русские: история в памятниках культуры (1710—2010)*, Рига, Институт европейских исследований, 736 с.
26. Kangeris, K., Neiburgs, U., Vīksne, R. 2016, *Aiz šiem vārtiem vaid zeme. Salaspils nometne 1941—1944*, Rīga, Lauku avīzēb 431 p.

27. Veidemane, E. 2017, Vēsturnieks Neiburgs: Salaspils nomētnes vēsture jāattīra no padomju propagandas, *Nra.lv*, URL: <https://nra.lv/latvija/229993-vesturnieks-neiburgs-salaspils-nometnes-vesture-jaattira-no-padomju-propagandas.htm> (дата обращения: 29.06.2022).

28. Švedas, A. 2009, *Matricos nelaisvėje. Sovietmečio lietuvių istoriografija (1944–1985)*, Vilnius, Aidai, 335 p.

29. Vitkus, Z. 2020, Pirčiupiai: maskvenų ar mūsų? *LRT.lv*, URL: <https://www.lrt.lt/naujienos/nuomones/3/1184281/zigmas-vitkus-pirciupiai-maskvenu-ar-musu> (дата обращения: 27.05.2022).

30. Плюхин, Е. В., Римкус, В. 1977, *Аблинга*, Ленинград, Искусство, 107 с.

31. Zizas, R., Indriulaitis, A. 2022, Ablinga, *Visuotinė lietuvių enciklopedija*, URL: <https://www.vle.lt/straipsnis/ablinga/> (дата обращения: 13.07.2022).

32. Gentvilas, S. 2007, *Ablinga: paminklas tragiškoms aukoms atminti*, URL: <https://www.xx-iamzius.lt/archyvas/priedai/uzlaisve/20070615/2-1.html> (дата обращения: 13.07.2022).

33. Ананьев, А., Туликов, Ф. 1979, Трагедия на Анчупанских холмах, *Неотвратимое возмездие. По материалам судебных процессов над изменниками Родины, фашистскими палачами и агентами империалистических разведок*, М., Воениздат, с. 226–239.

34. Дембицкий, Н. П. 2004, Судьба пленных, *Война и общество. 1941–1945*, кн. 2, М., Наука, с. 232–264.

35. Andrulienė, A., Nognienė, S. 2021, Pagėgių koncentracijos stovykla, Buchenvaldo filia lo “Oflager-53” memorialinis kompleksas, *Krašto paveldo gidas*, URL: <http://www.krastogidas.lt/objektai/833-pagegiu-koncentracijos-stovykla-buchenvaldo-filialo-oflager-53-memorialinis-kompleksas> (дата обращения: 15.07.2022).

36. Мордвинов, В., Кочетов, А. (сост.). 2010, *Литва помнит = Lietuva atsimena*, Вильнюс, [s.n.], 371 с.

37. Giniotis, I. 2021, Pagėgių karo belaisvių stovykla “Oflager 53”, *Šilainės kraštas*, URL: <https://www.silaineskraštas.lt/kultura/silaines-sodas/pagegiu-karo-belaisviu-stovykla-oflager-53/> (дата обращения: 15.07.2022).

38. Короткова, Е. 2018, Хранитель наследия Юриус Тракшялис: «Нельзя просто так разорвать историю», *МК*, URL: <https://www.mk.ru/social/2018/12/26/khranitel-naslediya-yuriyus-trakshyalis-nelzya-prosto-tak-razorvat-istoriyu.html> (дата обращения: 12.07.2022).

Об авторе

Максим Евгеньевич Мегем, кандидат исторических наук, директор, Центр исследований исторической памяти; доцент, БФУ им. И. Канта, Россия.

E-mail: megem@yandex.ru

<https://orcid.org/0000-0001-6412-9119>



ПРЕДСТАВЛЕНО ДЛЯ ВОЗМОЖНОЙ ПУБЛИКАЦИИ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ЛИЦЕНЗИИ CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION (CC BY) ([HTTP://creativecommons.org/licenses/by/4.0/](http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/))

PRESERVE VS DISMANTLE: MAJOR TRENDS IN THE BALTICS' POLITICS OF MEMORY REGARDING SOVIET MONUMENTS AT SITES OF MASS VIOLENCE

M. E. Megem

Immanuel Kant Baltic Federal University
14, A. Nevskogo St., Kaliningrad, 236016, Russia

Received 10.06.2022
doi: 10.5922/2079-8555-2022-4-8
© Megem, M. E., 2022

To cite this article: Megem, M. E. 2022, Preserve vs dismantle: major trends in the Baltics' politics of memory regarding Soviet monuments at sites of mass violence. *Balt. Reg.*, Vol. 14, no 4, p. 128–145. doi: 10.5922/2079-8555-2022-4-8.

Another round of the Soviet ‘monument fall’ in the Baltics, which began in the early 2000s, continued into 2022. This process, however, has not affected Soviet memorials at the sites of mass violence perpetrated during the German occupation of the Baltics. This article aims to investigate major trends in the Baltics’ politics of memory regarding Soviet monuments erected at sites of mass violence. The official policy of the Baltics towards these memorial sites has been largely shaped by the international agenda and the perception of the commemorated events. During the Euroatlantic drift, the concept of the Baltic States’ past incorporated the Holocaust narrative, recoding the symbolic space of Soviet sites remembering Nazi crimes against Jews and integrating them into the national culture of remembrance. Soviet memorials at sites commemorating the tragedy of local peoples were incorporated as is into the national memorial landscape. Yet, Lithuanian authorities viewed these memorials with greater suspicion because of the Soviet countermemory, which the sites preserved. Memorials to Soviet POWs, albeit perceived as ‘alien’, are protected by law in the Baltics. Nevertheless, it did not save the places of remembrance from acts of vandalism. Moreover, there are trends in the Baltics towards a revision of the laws protecting the monuments.

Keywords:

politics of memory, mass violence commemoration sites, Baltics, Soviet monuments, Ponary, Salaspils memorial, Pirčiupis, Klooga

References

1. Kantor, Yu. Z. 2011, *Pribaltika: vojna bez pravil (1939–1945)* [The Baltics: war without rules (1939–1945)], St. Petersburg, “Zvezda” Journal, 336 p. (in Russ.).
2. Weiss-Wendt, A. 2008, Why the Holocaust Does Not Matter to Estonians, *Journal of Baltic Studies*, vol. 39, № 4, p. 475–497, <https://doi.org/10.1080/01629770802461530>.
3. Makhotina, E. 2013, Vilnius, *Neprikosnovennyj zapas. Debaty o politike i kul'ture* [Emergency ration. Debate about politics and culture], № 4 (in Russ.).
4. Makhotina, E. 2017, *Erinnerungen an den Krieg — Krieg der Erinnerungen: Litauen und der Zweite Weltkrieg*, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co, 478 s.
5. Makhotina, E. 2020, *Prelomenenija pamjati. Vtoraja mirovaja vojna v memorial'noj kul'ture sovetskoj i postsovetskoj Litvy* [Refractions of Memory. World War II in the memorial culture of Soviet and post-Soviet Lithuania], St. Petersburg, Izdatel'stvo Evropejskogo universiteta v Sankt-Peterburge (in Russ.).
6. Makhotina, E. 2020, Den' Pobedy kak pole kommemorativnyh konfliktov: 9 maja v Vil'njuse [Victory Day as a field of commemorative conflicts: May 9 in Vilnius], *International Memorial: Project “Lessons of History”*, URL: <https://urokiistorii.ru/articles/den-pobedy-kak-pole-kommemorativnyh> (accessed 13.06.2022).
7. Arlauskaitė Zakšauskienė, I., Černiauskas, N., Kulevičius, S., Jakubčionis, A. 2016, *Kariai. Betonas. Mitas. Antrojo pasaulinio karo Sovietų sąjungos karių palaidojimo vietos Lietuvoje*, Vilnius, Vilniaus universiteto leidykla, 312 p.
8. Brüggemann, K., Kasekamp, A. 2008, The Politics of History and the “War of Monuments” in Estonia, *Nationality Papers*, vol. 36, № 3, p. 425–448, <https://doi.org/10.1080/00905990802080646>.
9. Adamson, A. 2009, Nacional'naja istorija Jestonii v kontekste evropeizacii proshlogo i «vojnny pamjatnikov» [Estonian national history in the context of Europeanisation of the past and the “war of monuments”] in *National histories in the post-Soviet space — II*, Moscow, Fond Fridriha Naumanna, AIRO-XXI, p. 182–200 (in Russ.).
10. Tamm, M. 2012, Monumentaalne ajalugu. Esseid Eesti ajalookultuurist, *Loomingu Raamatukogu*, № 28–30.
11. Zelče, V. 2010, *The Texture of Memory. World War II Monuments in the Baltic States*, Rīga, ASPRI, 40 p.
12. Simonyan, R. H. 2011, Occupation doctrine in the Baltics: a substantive and legal aspects, *State and Law*, № 11, p. 106–114 (in Russ.).
13. Skachkov, A. S. 2017, Historical memory in post-Soviet Baltic political processes, *Comparative Politics Russia*, № 1, p. 140–151, <https://doi.org/10.18611/2221-3279-2017-8-1-140-151> (in Russ.).

14. Zverev, K. A. 2020, Memory policy in the Baltic republics: foreign policy aspect, *Bulletin of the Russian Nation*, № 5, p. 44—55 (in Russ.).
15. Zverev, K. A. 2021, Estonia's memory politics in the context of nation building, *National Strategy Issues*, № 1, p. 202—215 (in Russ.).
16. Simindei, V. V. 2015, *Ognem, shtykom i lest'yu. Mirovye voyny i ikh natsionalisticheskaya interpretatsiya v Pribaltike* [With fire, bayonet and flattery. World Wars and their Nationalist Interpretation in the Baltics], Moscow, Fond «Istoricheskaya pamyat'», 352 p. (in Russ.).
17. Romanova, O. A., Guzenkova, T. S. 2015, Lithuania. Occupation syndrome, in: *Nasledniki Pobedy i porazheniya. Vtoraya mirovaya voyna v istoricheskoi politike stran SNG i ES* [Heirs to Victory and defeat. World War II in the historical politics of the CIS and EU countries], Moscow, RISI, p. 371—388 (in Russ.).
18. Safronovas, V. 2009, On Tendencies of the Politics of Remembrance in Contemporary Lithuania, *Ab Imperio*, № 3, p. 424—458 (in Russ.).
19. Liivik, O., Maripuu, M. 2013, Commemoration at Klooga, *Koncentracionnyj lager' Klooga i memorial zhertvam Holokosta* [Klooga concentration camp and Holocaust memorial], URL: <https://klooga.nazismvictims.ee/ru/materjalid/ohvrite-malestamine-kloogal/> (accessed 12.07.2022) (in Russ.).
20. Liivik, O., Maripuu, M. 2013, The Estonian history museum's open air exhibition: the Klooga camp and the Holocaust, *Koncentracionnyj lager' Klooga i memorial zhertvam Holokosta* [Klooga concentration camp and Holocaust memorial], URL: <https://klooga.nazismvictims.ee/ru/materjalid/eesti-ajaloomuuseumi-valiekspositsioon-klooga-laager-ja-holokost/> (accessed 12.07.2022) (in Russ.).
21. Bubnys, A. 2004, The Holocaust in Lithuania: an outline of the major stages and their results, In: Nikžentaitis, A., Schreiner, S., Staliūnas, D. (eds.), *Vanished world of Lithuanian Jews*, Amsterdam, Rodopi, p. 205—221.
22. Felker, A. V. 2018, The “uneasy” legacy: the problematic of sites of memory of mass violence in Western and Eastern Europe, In: *Metodologicheskie voprosy izuchenija politiki pamjati* [Methodological issues in the study of memory politics], Moscow, St. Petersburg, Nestor-Istoriya, p. 93—109 (in Russ.).
23. Bogov, V. 2019, Practice of hypocrisy: children's homes and orphanages during German occupation of Latvia (1941—1944), *Journal of Historical Research*, № 2, p. 117—137 (in Russ.).
24. Bogov, V. 2021, *Salaspils: Zabytaja istorija. Sbornik fotdokumental'nyh svidetel'stv o zlodejaniyah nemeckih nacistov i ih posobnikov v gody germanskoj okkupacii Latvii v 1941—1945 g.* [Salaspils: Forgotten history. A collection of photo-documentary evidence of the atrocities of healthy Nazis and their accomplices during the years of the German occupation of Latvia in 1941—1945], Riga, Fond razvitiya kul'tury (in Russ.).
25. Gaponenko, A. V. (ed.). 2010, *Pribaltijskie russkie: istorija v pamjatnikah kul'tury (1710—2010)* [Baltic Russians: History in Cultural Monuments (1710—2010)], Riga, Institut evropejskikh issledovanij (in Russ.).
26. Kangeris, K., Neiburgs, U., Viksne, R. 2016, *Aiz šiem vārtiem vaid zeme. Salaspils nometne 1941—1944*, Riga, Lauku avīze, 431 p.
27. Veidemane, E. 2017, Vēsturnieks Neiburgs: Salaspils nometnes vēsture jāattīra no padomju propagandas, *Nra.lv*, URL: <https://nra.lv/latvija/229993-vesturnieks-neiburgs-salaspils-nometnes-vesture-jaattira-no-padomju-propagandas.htm> (accessed 29.06.2022).
28. Švedas, A. 2009, *Matricos nelaisvėje. Sovietmečio lietuvių istoriografija (1944—1985)*, Vilnius, Aidai, 335 p.
29. Vitkus, Z. 2020, Pirčiupiai: maskvėnų ar mūsų? *LRT.lv*, URL: <https://www.lrt.lt/naujienos/nuomones/3/1184281/zigmas-vitkus-pirciupiai-maskvenu-ar-musu> (accessed 27.05.2022).
30. Plyuhin, E. V., Rimkus, V. 1977, *Ablinga*, Leningrad, Iskusstvo (in Russ.).
31. Zizas, R., Indriulaitis, A. 2022, *Ablinga*, *Visuotinė lietuvių enciklopedija*, URL: <https://www.vle.lt/straipsnis/ablinga/> (accessed 13.07.2022).
32. Gentvilas, S. 2007, *Ablinga: paminklas tragiškoms aukoms atminti*, URL: <https://www.xx-iamzius.lt/archyvas/priedai/uzlaisve/20070615/2-1.html> (accessed 13.07.2022).
33. Ananyev, A., Tulikov, F. 1979, Tragedy in the Anchupan Hills, In: *Neotvratimoe vozmezdje. Po materialam sudebnyh processov nad izmennikami Rodiny, fashistskimi palachami i agentami imperialisticheskikh razvedok* [Inevitable retribution. According to the materials of the trials of trai-

tors to the Motherland, fascist executioners and agents of imperialist intelligence], Moscow, Voenizdat, URL: http://militera.lib.ru/h/sb_neotvratimoe_vozmezdie/16.html (accessed 13.07.2022) (in Russ.).

34. Dembickij, N. P. 2004, The fate of prisoners, In: *Vojna i obshchestvo. 1941 – 1945* [War and society. 1941 – 1945], vol. 2, Moscow, Nauka, p. 232 – 264 (in Russ.).

35. Andrulienė, A., Nognienė, S. 2021, Pagėgių koncentracijos stovykla, Buchenvaldo filialo “Oflager-53” memorialinis kompleksas, *Krašto paveldo gidas*, URL: <http://www.krastogidas.lt/objektai/833-pagegiu-koncentracijos-stovykla-buchenvaldo-filialo-oflager-53-memorialinis-kompleksas> (accessed 15.07.2022).

36. Mordvinov, V., Kochetov, A. (eds.). 2010, *Lithuania remembers = Lietuva atsimena*, Vilnius, [s.n.] (in Russ.).

37. Giniotis, I. 2021, Pagėgių karo belaisvių stovykla “Oflager 53”, *Šilainės kraštas*, URL: <https://www.silaineskraštas.lt/kultura/silaines-sodas/pagegiu-karo-belaisviu-stovykla-oflager-53/> (accessed 15.07.2022).

38. Korotkova, E. 2018, Heritage Custodian Jurijus Trakselis: “You Can’t Just Break History”, *MK*, URL: <https://www.mk.ru/social/2018/12/26/khranitel-naslediya-yuriyus-trakshyalis-nelzya-prosto-tak-razorvat-istoriyu.html> (accessed 12.07.2022).

The author

Dr. Maxim E. Megem, Director, Centre for Memory Studies, Immanuel Kant Baltic Federal University, Russia.

E-mail: megem@yandex.ru

<https://orcid.org/0000-0001-6412-9119>



SUBMITTED FOR POSSIBLE OPEN ACCESS PUBLICATION UNDER THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION (CC BY) LICENSE ([HTTP://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BY/4.0/](http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/))

ДЕМОНТАЖ ПАМЯТНИКОВ КАК КЛЮЧЕВАЯ ЧАСТЬ ПРОЦЕССА «ДЕКОММУНИЗАЦИИ» НА УКРАИНЕ И В ПОЛЬШЕ ПОСЛЕ 2014 ГОДА

М. В. Филёв 

А. А. Курганский 

Балтийский федеральный университет им. И. Канта,
236016, Россия, Калининград, ул. А. Невского, 14

Поступила в редакцию 10.08.2022 г.
doi: 10.5922/2079-8555-2022-4-9
© Филёв М. В., Курганский А. А., 2022

На основе широкого комплекса опубликованных источников (польские и украинские законодательные акты, материалы зарубежной и отечественной прессы) изучается «памятникопад» на Украине и в Польше в рамках «войн памяти» после 2014 г. Цель статьи заключается в выявлении основных закономерностей, связанных со сносом советских и российских монументов в этих странах. «Декоммунизация» общественного пространства, являющаяся частью государственной исторической политики Украины и Польши, имеет юридическую основу в виде законодательных актов. Ее движущей силой выступают Институты национальной памяти, одна из приоритетных задач которых заключается в демонтаже советских и дореволюционных российских памятников, что особенно отчетливо проявилось после начала специальной военной операции РФ по денацификации и демилитаризации Украины. В официальном нарративе обеих стран закрепились роль жертвы, пострадавшей от «двух агрессоров» во Второй мировой войне, а после нее оказавшейся под «коммунистической оккупацией», ввиду чего их историческая политика направлена на избавление от «советского наследия» как наследия «страны-оккупанта». При этом в Польше наблюдается «остаточная декоммунизация», суть которой заключается в демонтаже оставшихся мемориалов советским воинам-освободителям, а на Украине — трансформация «декоммунизации» в полномасштабную «дерусификацию». В то же время на освобождаемых территориях Украины запущен процесс «ресоветизации/советизации», заключающийся в восстановлении ранее разрушенных памятников (или установке новых).

Ключевые слова:

«Памятникопад», «декоммунизация», историческая политика, историческая память, символическая политика, Украина, Польша

Автор концепции «мест памяти» П. Нора в интервью 2011 г., говоря о соотношении понятий «история» и «память», отмечал, что «в отличие от истории память — это эмоциональное переживание, связанное с реальным или воображаемым воспоминанием и допускающее всевозможные манипуляции, изменения, вытеснения, забвения» (Цит. по: [1, с. 75]). По мнению Л. П. Репиной, «память о событиях, людях и явлениях прошлого, которую мы называем исторической, не только социально дифференцирована и избирательна, она по самой своей природе изменчива и к тому же нередко подвергается существенным, если не сказать — радикальным,

Для цитирования: Филёв М. В., Курганский А. А. Демонтаж памятников как ключевая часть процесса «декоммунизации» на Украине и в Польше после 2014 года // Балтийский регион. 2022. Т. 14, № 4. С. 146–161. doi: 10.5922/2079-8555-2022-4-9.

изменениям» [2, с. 14]. В связи с этим политическим переменам присуще отражение в символической структуре городской среды, заключающееся в установке и демонтаже памятников, а изменение инфраструктуры памяти — один из наиболее значимых инструментов политики памяти [3, с. 48].

Среди важнейших составляющих исторической политики на Украине и в Польше находится «декоммунизация» общественного пространства. Согласно Г.В. Касьянову, понятие «декоммунизация» включает в себя комплекс политических действий, направленных на устранение из символического, политического и культурного пространства Украины культурных кодов советского прошлого, а «также на ликвидацию, маргинализацию или общественное осуждение политических и общественных групп, являющихся или представляющихся наследием этого режима либо проявляющих реальную или воображаемую симпатию к нему» [4, с. 175]. В полной мере это определение применимо и к Польше, где даже существование политических партий и других организаций, «обращающихся в своих программах к тоталитарным методам и практике деятельности нацизма, фашизма и коммунизма», запрещено на уровне Конституции¹.

Ключевым элементом «декоммунизации» можно назвать «памятничкопад» — массовый демонтаж советских и российских монументов. Специальная военная операция РФ по демилитаризации и денацификации Украины стала катализатором дальнейшего «памятничкопада» в обеих рассматриваемых странах, который с весны 2022 г. приобрел широкий размах — на регулярной основе поступают сообщения о демонтаже памятников или проявлениях вандализма в их отношении.

В отечественной историографии тема исторической памяти в последние годы пользуется большой популярностью [3; 5; 6]. Довольно часто отечественные авторы фокусируются на изучении исторической политики Польши, однако «памятничкопад» не является основным аспектом таких исследований [7; 8].

Неоднократно в поле зрения историков оказывалось и изучение символических трансформаций публичного пространства на Украине [9—12]. Особенно следует выделить монографию украинского историка Г.В. Касьянова [13]. Относительно «декоммунизации» автор занимает критическую позицию, обращая внимание на неприятие плюрализма в украинском обществе, что приводит к «войнам памяти» [13, с. 270]. Историк А. Гриценко, напротив, положительно расценивает «декоммунизацию», отмечая, что эта политика соответствует общественным запросам и настроениям [14, с. 267]. В целом украинским исследователям свойственно одобрение исторической политики государства.

После воссоединения Крыма с Россией стартовал новый этап «войн памяти», который выразился в наиболее интенсивном за всю украинскую историю вытеснении советских нарративов памяти [13, с. 137]. По утверждению Г.В. Касьянова, «2014 год стал переломной вехой для Украины как национализирующегося государства» [15, с. 123]. Аналогичные процессы переживает и Польша, где Россия традиционно предстает в образе «агрессивной и отсталой страны», «заматающей под ковер» неприятные страницы своей истории, а Польша в противовес ей стремится к правде, к «расчету с прошлым» [16, с. 139].

Цель статьи заключается в выявлении основных закономерностей, связанных со сносом советских и российских монументов на Украине и в Польше в рамках «войн памяти» после 2014 г. Источниковую базу исследования составили польские и украинские законодательные акты, материалы зарубежной и отечественной прессы.

¹ Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, 1997, *SEIM Rzeczypospolitej Polskiej*, URL: <https://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm> (дата обращения: 30.06.2022).

Україна

«Меморіальні» закони

С кінця 2013 г. і впродовж до 9 квітня 2015 г. «декомунізація» на Україні переважно здійснювалась силами націоналістических і ультраправих організацій, але в їх стосунку не возбуждали кримінальні справи [11, с. 196]. Після прийняття Верховною Радою України 9 квітня 2015 г. пакета з чотирьох «меморіальних» законів кампанія по знищенню радянських пам'яток вийшла на державний рівень, поклавши початок тотальному перебудуванню символічного простору і культурної пам'яті на Україні [17, с. 41]. Згідно закону «Про засудженні комуністического і націонал-соціалістического (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і забороні пропаганди їх символіки», під поняття «символіка комуністического тоталітарного режиму» фактично потрапили будь-які зображення, пам'ятники, пам'ятні знаки і написи, присвячені людям або подіям, пов'язаним з діяльністю комуністическої партії. В виняткових випадках використання символіки «комуністического тоталітарного режиму» не забороняється: наприклад, на надгробних спорудах, розташованих на території місць поховань і місць почесних поховань; оригіналах бойових знамен або документах, виданих до 1991 г.²

Ведучу роль в процесі «декомунізації» грає Український інститут національної пам'яті, призначений займатися «встановленням національної пам'яті українського народу; недопущенням використання символів тоталітарних режимів; популяризацією в світі ролі українського народу в боротьбі проти тоталітаризму»³. В 2015 г. Інституту було повернуто статус центрального органу виконавчої влади (при президенті В. Ф. Януковичі він дослідницьким закладом), а його бюджет за 2015—2019 гг. збільшився в 4 рази [4, с. 179]. Його керівником на той час В. М. Вятрович активно лоббував швидке прийняття «меморіальних законів» [12, с. 132].

Окрім Інституту національної пам'яті важливе місце в «декомунізаційних» заходах займають комісії при місцевих органах влади, завдання яких полягає в підготовці пропозицій по повній ревізії топоніміки і «зачистці від пам'яток і меморіальних місць, нагадуючих про комуністический режим» [13, с. 210].

Дослідники відзначають неоднозначність ставлення українського населення до проведення «декомунізації»: на південно-сході країни кількість її опонентів значно більше, ніж на заході [18, с. 122], при цьому соціологічні опитування свідчать про збільшення частки байдужої або негативно налаштованої в стосунку до просування націоналістического наративу пам'яті респондентів [15, с. 134—136]. Г. В. Касьянов наводить ряд випадків, коли місцеві жителі шли на хитрощі для збереження пам'яток. Так, члени міської ради г. Волновахи Донецької області, не бажаючи зносити пам'ятник В. І. Чапаєву, прийняли рішення про його перейменування в пам'ятник «Козак» [13, с. 212].

² Про засудженні комуністического та націонал-соціалістического (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки: закон України № 317-VIII від 09.04.2015 г., 2015, Український інститут національної пам'яті, URL: <https://uin.gov.ua/dokumenty/normatyvno-pravovi-akty-rozrobleni-v-institutu/zakony/zakon-ukrayiny-pro-zasudzhennya-komunistychnogo-ta-nacional-socialistychnogo-nacystytskogo-totalitarnyh-rezhymiv-v-ukrayini-ta-zaboronu-propagandy-yihnoyi-symvoliky-no317-viii-vid-09042015> (дата звернення: 18.06.2022).

³ Положення про Український інститут національної пам'яті, 2020, Український інститут національної пам'яті, URL: <https://uin.gov.ua/pro-institut/pravovi-zasady-diyalnosti> (дата звернення: 18.06.2022).

Основная составляющая «мемориальных» законов заключается в вытеснении из мемориального символического пространства советско-ностальгического нарратива памяти и замещении его национальным / националистическим [17, с. 39], что фактически и является лейтмотивом украинской политики памяти после 2014 г. Все это способствовало ускорению процесса «декоммунизации», первой частью которого стал «ленинопад».

«Ленинопад»

Война с памятниками В.И. Ленину на Украине имеет давнюю историю. Первый случай демонтажа произошел в Червонограде Львовской области еще в августе 1990 г. В том же году были убраны памятники в Тернополе, Львове, Ивано-Франковске и ряде других городов Западной Украины [13, с. 148—149]. Продолжалась подобная политика избирательного демонтажа памятников коммунистического прошлого и в последующем, а в 2009 г. в соответствии с указом президента В. А. Ющенко из реестра памятников культурного наследия были исключены все памятники советским руководителям [10, с. 43].

Отправной точкой очередного, уже крупномасштабного, этапа войны с памятниками Ленину стал 2013 г. В декабре группой сторонников националистической партии «Свобода» был снесен памятник в Киеве, располагавшийся там с 1946 г. До конца года было демонтировано еще несколько памятников в Одесской, Волынской и Черкасской областях [10, с. 49].

Широкий резонанс вызвал демонтаж памятника Ленину в Днепрпетровске (с 2016 г. — г. Днепр) 22 февраля 2014 г., в ходе которого представители правоохранительных органов и местной власти не предприняли никаких действий по предотвращению данного противозаконного деяния. Более того, в тот же день депутаты горсовета проголосовали за переименование площади Ленина в площадь «Героев Майдана» [9, с. 32].

Принятие «мемориальных» законов способствовало ускорению «ленинопада». В августе 2017 г. директор Украинского института национальной памяти Вятрович заявил, что «Ленина в городах больше нет на территории, которая контролируется Украиной». Согласно приводимой им статистике, за период «ленинопада» было снесено 2389 памятников, 1320 из которых были памятниками Ленину. В том же выступлении Вятрович добавил о возможности существования не включенных в реестр монументов Ленину в сельской местности и на предприятиях⁴, поэтому «ленинопад» продолжился. По данным, приводимым одноименным интернет-порталом, с момента интервью Вятровича и до июня 2022 г. было снесено еще 60 памятников⁵.

От «декоммунизации» к «дерусификации»

В. М. Вятрович, будучи директором Украинского института национальной памяти, в отношении избавления от «российского наследия» также использовал слово «деколонизация», означавшее избавление не только от «коммунистического» наследия, но и от части памятников, воздвигнутых в честь героев из дореволюционного российского прошлого. В качестве примера можно привести снос памятника А. В. Суворову во дворе Киевского военного лицея им. И. Богуна (ранее — Суворовское училище) в январе 2019 г. Деятельность полководца специальной комисси-

⁴ На Украине снесли все памятники Ленину, 2017, *Интерфакс*, URL: <https://www.interfax.ru/world/575246> (дата обращения: 25.04.2022).

⁵ Памятники Ленину, снесенные на Украине с декабря 2013 г., 2022, *Памятники Ленину*, URL: <http://leninstatues.ru/lенинопад> (дата обращения: 14.06.2022).

ей Министерства культуры Украины была признана «неоднозначной» из-за подавления Суворовым казацко-крестьянского восстания на Правобережной Украине в 1768—1769 гг., участия в «истреблении ногайцев русскими в XVIII в.» и руководства «карательной» экспедицией русской армии против восстания Костюшко в 1794 г. [19].

С началом специальной военной операции РФ 24 февраля 2022 г. украинская кампания по «декоммунизации» уже в полной мере трансформировалась в кампанию по «дерусификации», ознаменовав начало нового (и более радикального) этапа противостояния с памятниками — массовому сносу подвергаются монументы, связанные не только с советской историей, но и с российским прошлым в целом. В частности, депутаты Киевской городской рады от фракций «Слуга народа» и «Голос» в апреле 2022 г. выступили с инициативой о демонтаже 60 памятников и мемориальных досок (А. С. Пушкину, М. А. Булгакову, С. Ю. Витте и даже героям художественного фильма «Место встречи изменить нельзя» Г. Жеглову и В. Шарапову) [20].

В июне 2022 г. Министерство культуры Украины выступило с инициативой создания совета, который должен заняться «дерусификацией», «декоммунизацией» и «деколонизацией» Республiки. Одной из приоритетных задач нового ведомства станет демонтаж памятников. Инициативу о судьбе памятников предполагается передать органам местного самоуправления, которые «в диалоге с обществом должны приходить к общему решению о демонтаже или переносе памятников»⁶.

Конкретным воплощением политики украинских властей стал демонтаж монументов А. С. Пушкину в Мукачево, Тернополе, Ужгороде, Николаеве. Глава Тернополя С. В. Надал, комментируя произошедшее, заявил, что «все русское нужно демонтировать, в том числе памятник русскому писателю»⁷. Мэр Николаева А. Ф. Сенкевич оказался менее радикален в оценках, объяснив демонтаж памятника необходимостью избежать актов вандализма⁸.

Другим актом «дерусификации» стал снос памятнику великому князю А. Невскому в Харькове 19 мая 2022 г.⁹. Показательно, что в 2015 г. памятник подвергся вандализму — тогда сотрудники МВД по Харьковской области возбудили уголовное дело¹⁰. Семь лет спустя никакой реакции со стороны властей не последовало.

Еще в 1982 г. в Крещатском парке Киева был открыт памятник Дружбы народов. Бронзовая скульптура украинского и российского рабочих, держащих ленту с Орденом Дружбы народов, на постаменте которой размещена надпись на русском и украинском языках («В ознаменование воссоединения Украины с Россией»), стала камнем преткновения. Разговоры о сносе велись еще с 2015 г., но до конкретных действий дело дошло в апреле 2022 г. По замыслу киевских властей, сносу должна подвергнуться только скульптура рабочих, арка монумента останется на месте и будет подсвечена цветами украинского флага¹¹.

⁶ Минкульт Украины захотел создать в стране совет по «дерусификации», 2022, *Известия*, URL: <https://iz.ru/1346467/2022-06-07/minkult-ukrainy-zakhotel-sozdat-v-strane-sovet-poderusifikacii> (дата обращения: 11.06.2022).

⁷ В Тернополе демонтировали памятник Пушкину, 2022, *TACC*, URL: <https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14332683> (дата обращения: 22.04.2022).

⁸ Мэр Николаева объяснил демонтаж памятника Пушкину с постамента, 2022, *РБК*, URL: <https://www.rbc.ru/society/21/05/2022/62891c339a79473cd1b5157b> (дата обращения: 11.06.2022).

⁹ В Харькове снесли памятник А. Невскому, 2022, *РИА Новости*, URL: <https://ria.ru/20220519/pamyatnik-1789426015.html> (дата обращения: 11.06.2022).

¹⁰ Памятник великому князю Киевскому А. Невскому снесли в Харькове, 2022, *РБК*, URL: <https://www.rbc.ru/rbcfreenews/62860ade9a7947cdc8589646> (дата обращения: 11.06.2022).

¹¹ Кличко объявил о частичном демонтаже памятника Дружбы народов в Киеве, 2022, *РБК*, URL: <https://www.rbc.ru/politics/25/04/2022/626689319a794785e9293132> (дата обращения: 26.04.2022).

Снос монументов Великой Отечественной войны

Характерным проявлением украинской государственной исторической политики является пересмотр отношения к Великой Отечественной войне, которая рассматривается как Вторая мировая война или даже «Советско-немецкая война» [21, с. 10], где Украина предстает в качестве жертвы «схватки двух тоталитарных режимов» [22, с. 42—43]. Одной из ключевых составляющих данной политики стал снос советских военных памятников, который приобрел особенную интенсивность после 24 февраля 2022 г.

В июне 2022 г. Верховная рада одобрила закон о выходе из Соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств — участников Содружества Независимых Государств в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг., подписанного в 2011 г. в Душанбе¹². Данным соглашением предусматривается «защита и сохранение воинских захоронений и воинских памятников» на территориях стран, присоединившихся к договору¹³.

Национальные / националистические нарративы памяти, традиционно преобладавшие в западных регионах Украины [13, с. 23], в последнее время получили новый виток развития. В западных областях Республики произошел целый ряд резонансных случаев демонтажа памятников, посвященных Великой Отечественной войне.

Сложной оказалась судьба у открытого в 1970 г. мемориала на «Холме Славы». С 1992 г. созывалось несколько комиссий, договаривавшихся о демонтаже памятников или отдельных элементов «коммунистической символики». В 2016 г. депутаты Львовского горсовета попросили мэра Львова снести монумент, в следующем году по причине его «аварийного состояния» решение было утверждено [23]. Начался постепенный демонтаж, продолжающийся до сих пор — в апреле 2022 г. с мемориала «Холм Славы» были убраны знак «серп и молот» и советская звезда¹⁴. В г. Стрый Львовской области еще в 2014 г. по инициативе местных властей с мемориала на центральной площади была убрана статуя советского воина-освободителя, державшего на руках ребенка, однако стела в честь героев-освободителей была сохранена. В апреле 2022 г. она была демонтирована¹⁵.

Не обходят стороной подобные эпизоды и другие регионы Украины. Еще в июне 2019 г. националистами в Харькове был снесен памятник Г. К. Жукову, однако в ситуацию вмешался глава города Г. А. Кернес, и месяц спустя памятник восстановили¹⁶. История получила продолжение в 2022 г. — 17 апреля в Харькове бюст «маршала Победы» был демонтирован вновь. Организаторами этой акции выступили боевики националистического подразделения «Кракен», входящего в состав батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ)¹⁷.

¹² Украина вышла из соглашения об увековечивании памяти о мужестве народов СНГ в войне, 2022, ТАСС, URL: <https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14695879> (дата обращения: 11.06.2022).

¹³ Соглашение об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств-участников СНГ в Великой Отечественной войне, 2013, *Официальный интернет-портал правовой информации*, URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201301300008> (дата обращения: 11.06.2022).

¹⁴ Во Львове с мемориала “Холм славы” демонтировали советскую звезду, 2022, *РИА Новости*, URL: <https://ria.ru/20220416/lvov-1783900163.html> (дата обращения: 22.04.2022).

¹⁵ Во Львовской области демонтировали стелу советскому воину, 2022, *РИА Новости*, URL: <https://ria.ru/20220412/stela-1783039893.html> (дата обращения: 12.06.2022).

¹⁶ В Харькове восстановили снесенный радикалами бюст маршала Жукова, 2019, *РБК*, URL: <https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5d26d14d9a79474c3bdbdbfd> (дата обращения: 26.04.2022).

¹⁷ В Харькове снесли бюст Жукова, 2022, *РБК*, URL: <https://www.rbc.ru/politics/17/04/2022/625be2ba9a79474879213646> (дата обращения: 22.04.2022).

Между тем в апреле 2022 г. возвращением на центральную площадь памятника Ленину в г. Геническе Херсонской области [24] и приведением в порядок памятника воинам-освободителям в г. Луганске¹⁸ был запущен обратный процесс — «ресоветизация», связанный с восстановлением советских памятников. Девятого мая 2022 г. помощник заместителя министра обороны РФ А. В. Кирилин заявил о масштабных сносах мемориалов Великой Отечественной войны на Украине¹⁹. В то же время министр культуры Донецкой народной республики М. В. Желтяков сообщил о намерении восстанавливать и возвращать на прежние места снесенные украинскими властями памятники, в том числе в г. Мариуполе и Волновахе [25].

Польша

Законодательная основа польской «декоммунизации»

Активный процесс «декоммунизации» в Польше начался еще в 1989 г., когда по стране прокатилась волна переименований улиц и сноса памятников лицам, сотрудничавшим с «коммунистическим режимом» [26, с. 90]. В числе многих были демонтированы памятники маршалу И. С. Коневу в Кракове и советскому и польскому маршалу К. К. Рокоссовскому в Легнице [27]. Тем не менее в 1994 г. в Кракове было подписано российско-польское соглашение «О захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий», которым предусматривалось «должное содержание мест памяти и захоронений — российских — в Республике Польша и польских — в Российской Федерации — военнослужащих и гражданских лиц, погибших, убитых и замученных в результате войн и репрессий»²⁰. В апреле 1997 г. в соответствии с данным соглашением был подготовлен «Перечень памятных мест погибших советских защитников Отечества на территории Польши», который включал в себя 561 памятное место, в том числе 415 памятников, 77 обелисков, 46 памятных таблиц и 23 наименования различных образцов боевой техники. При этом в перечне не были учтены объекты, находящиеся на воинских, коммунальных и церковных кладбищах²¹.

Польский историк А. Дудек выделяет два основных направления исторической политики Польши: либеральное и консервативное. В первом случае государство поддерживает нейтралитет в сфере формирования исторического сознания поляков, во втором — играет активную роль, а историческая политика является инструментом укрепления национального сообщества и важным элементом польской внешней политики [28, с. 35—40]. В качестве актора консервативной исторической политики выступает образованная в 2001 г. национал-консервативная партия «Право и справедливость» (ПиС). В ее программе 2004 г. содержалось положение о необходимости исторической политики, а партийные идеологи исходили из того, что до них вместо исторической политики была скорее политика «национальной амнезии» [7, с. 171].

¹⁸ Корреспондент «Известий» показал восстановление советского памятника в ЛНР, 2022, *Известия*, URL: <https://iz.ru/1325035/2022-04-23/korrespondent-izvestii-pokazal-vosstanovlenie-sovetskogo-pamiatnika-v-lnr> (дата обращения: 11.06.2022).

¹⁹ В Минобороны РФ заявили, что на Украине демонтировали сотни памятников советским героям, 2022, *TACC*, URL: <https://tass.ru/armiya-i-opk/14582675> (дата обращения: 09.05.2022).

²⁰ Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики Польша о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий, 1994, *Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов*, URL: <https://docs.cntd.ru/document/420349827> (дата обращения: 01.07.2022).

²¹ Перечень памятных мест советских защитников Отечества, павших на территории Республики Польша, 1997, *Посольство России в Польше*, URL: <https://poland.mid.ru/documents/3987513/23059461/Перечень+мемориалов.pdf/30cdfaf37-5a70-46f1-907d-07aff8625930?> (дата обращения: 01.07.2022).

Придя к власти в 2005 г., представители ПиС объявили «новую историческую политику», заключающуюся в развитии исторического и патриотического воспитания в школах, привитии чувства национального достоинства, а также в «исторической корректировке» периода существования Польской народной республики, «показывающей, в чем заключалась сущность коммунизма и ПНР» [29, с. 105].

В 2015 г. ПиС во второй раз одержала победу на парламентских выборах, а ее кандидат А. Дуда стал президентом страны. И вновь правящая партия взялась за воплощение в жизнь исторической политики, основу которой составляют национальные трактовки в оценках истории и формирование «патриотической и консолидированной нации» [30, с. 8], а одним из ключевых элементов называется «демонстрация правды о темных временах Польской Народной Республики» [29, с. 107].

Проводником исторической политики является польский Институт национальной памяти (ИНП), который был образован еще в декабре 1998 г. (фактическая деятельность учреждения началась в 2000 г.). После прихода ПиС к власти в 2015 г. значение ИНП, финансируемого из госбюджета, заметно выросло. Как заявлено на официальном сайте Института, его миссия состоит в «исследовании и популяризации современной истории Польши и расследовании преступлений, совершенных с 8 ноября 1917 г., во время Второй мировой войны и коммунистического периода до 31 июля 1990 г.», а одним из основополагающих принципов работы являются опора на «патриотические традиции борьбы польского народа с оккупантами, нацистами и коммунистами». В рамках Института функционирует Управление по увековечению памяти о борьбе и мученичестве, одна из задач которого заключается в «декоммунизации» общественного пространства²².

Юридическую основу проводимой в Республике Польша «декоммунизации» формирует закон «О запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя», принятый в 2016 г. и изначально направленный на запрет названий, «символизирующих коммунизм или иной тоталитарный строй». В 2017 г. Сеймом были приняты поправки — новый раздел закона получил название «О запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя через памятники». Согласно ему, под запрет попадают мемориалы, увековечивающие людей, организации, события или даты, «связанные с тоталитарными режимами». Понятие «памятники» трактуется широко, включая в себя также курганы, обелиски, мемориальные доски и т.п. Фактически закон давал «зеленый свет» сносу практически всех памятников, относящихся к социалистическому прошлому польского государства. Впрочем, как и в украинском случае, закон предусматривает ряд ограничений по демонтажу монументов — например, в список запрещенных не попадают памятники, находящиеся на кладбищах, «не выставленные на всеобщее обозрение» или внесенные в госреестр памятников. Вопрос о выборе памятников для демонтажа находится в ведении местных властей, а окончательное решение о сносе принимает Управление по увековечению памяти о борьбе и мученичестве Института национальной памяти²³.

Официальные польские лица придерживаются той точки зрения, что страна никак не нарушает условий Соглашения 1994 г. В частности, такое мнение в 2022 г. высказывал директор бюро по мемориальным вопросам ИНП А. Сивек²⁴. Россий-

²² The statutory tasks of the Institute of National Remembrance, 2006, *Institute of National Remembrance*, URL: <https://ipn.gov.pl/en/about-the-institute/mission/2>, *Institute of National Remembrance-Commission-for-the-Prosecution-of-Crimes-again.html* (дата обращения: 30.06.2022).

²³ Ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki, 2016, *SEIM Rzeczypospolitej Polskiej*, URL: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000744/U/D20160744Lj.pdf> (дата обращения: 30.06.2022).

²⁴ Власти Польши начали демонтаж памятника Красной армии на юге страны, 2019, ТАСС, URL: <https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14161033> (дата обращения: 03.07.2022).

ская сторона придерживается обратной позиции. На сайте посольства России в Польше отмечено, что Соглашение 1994 г. имеет прямое отношение «к любимым памятникам российским воинам, погибшим в ходе вооруженных конфликтов»²⁵. Поскольку воинские захоронения не подлежат «декоммунизации», компромиссом мог бы стать перенос оставшихся монументов на кладбища. Однако стремительный ход «декоммунизации» в совокупности с радикальными методами ее проведения вряд ли позволяет рассчитывать на это.

Снос памятников советским воинам-освободителям

Ведущей составляющей польской исторической политики является тема Второй мировой войны. В официальном нарративе Польше отводится роль «жертвы двух агрессоров» — Германии и Советского Союза. В качестве одного из наиболее ключевых событий времен войны называется Варшавское восстание 1944 г. [8, с. 453] Особый взгляд существует в Польше и относительно итогов войны. Еще в 2015 г. руководитель ИНП Л. Каминьский высказывался о том, что окончание Второй мировой войны для Восточной Европы стало «началом новой оккупации и террора» (Цит. по: [16, с. 140]).

Один из самых резонансных эпизодов, связанных со сносом советских памятников в Польше, пришелся как раз на 2015 г., когда власти г. Пененжно приняли решение о демонтаже памятника генералу И. Д. Черняховскому, предварительно проведя кампанию по сбору средств с местного населения под предлогом участия «в символическом акте восстановления исторической правды»²⁶. Установленный еще в 1970-е гг. памятник несколько раз подвергался актам вандализма, а самого Черняховского в 2001 г. называли «палачом Армии Крайовой»²⁷. Четырнадцать лет спустя решение о ликвидации монумента аргументировалось схожим образом. В июне 2016 г. памятник был окончательно демонтирован²⁸.

После вступления в силу поправок к закону о «декоммунизации» «война с памятниками» ожидаемо стала более масштабной. Не остановила процесс даже пандемия COVID-19. По данным российского посольства, невзирая на строгие «антиковидные» ограничения, за 2020 г. было демонтировано шесть монументов советским солдатам, еще восемь подверглись вандализму [31].

Девятого мая 2022 г. на сайте ИНП была опубликована статья, в которой действия СССР в 1944—1945 гг. названы «не освобождением Польши, а повторной аннексией почти половины территории Республики». При этом установленные в Польше памятники были «частью последовательной и преднамеренной пропагандистской программы по созданию имиджа СССР как страны-освободителя». В статье отмечено, что памятники «приказывало» ставить советское руководство, чтобы продемонстрировать благодарность местного населения (которой, по мнению автора, не было), но это была лишь «маскировка советского империализма»²⁹.

²⁵ О российско-польских соглашениях по военно-мемориальным вопросам, 2016, *Посольство России в Польше*, URL: <https://poland.mid.ru/o-rossijsko-pol-skih-soglaseniah-po-voenno-memorial-nym-voprosam> (дата обращения: 02.07.2022).

²⁶ Павший монумент: польская война с памятниками советским воинам, 2015, *РИА Новости*, URL: <https://ria.ru/20150917/1258230801.html> (дата обращения: 03.07.2022).

²⁷ Pomnik kata AK, 2001, *WPROST*, URL: https://www.wprost.pl/kraj/14620/pomnik-kata-ak.html#an_980223801 (дата обращения: 03.07.2022).

²⁸ Памятник Черняховскому полностью демонтирован в Польше, 2016, *TACC*, URL: <https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3389839> (дата обращения: 03.07.2022).

²⁹ The meaning of the term “liberation” in Soviet and Russian narratives on the Second World War, 2022, *Institute of National Remembrance*, URL: <https://ipn.gov.pl/en/news/9575,The-meaning-of-the-term-liberation-in-Soviet-and-Russian-narratives-on-the-Secon.html> (дата обращения: 03.07.2022).

После 24 февраля 2022 г. Институт национальной памяти активизировал деятельность по «декоммунизации» общественного пространства. Директор ИНП, доктор гуманитарных наук по истории К. Навроцкий выступил с заявлением, в котором отметил, что «удаление имен и символов, пропагандирующих коммунизм, имеет первостепенное значение» и «не может быть абсолютно никакого согласия на любые формы увековечения памяти о тоталитарном коммунистическом режиме и людях, которые ему служат»³⁰. Иначе говоря, был объявлен очередной этап «войны с памятниками».

Практическое воплощение слов Навроцкого не заставило себя долго ждать. Несколько недель спустя в присутствии прессы он принял участие в демонтаже памятника в честь Красной армии в местечке Хшовице Опольского воеводства. «Таким мемориалам и символам, отмеченным красной звездой, нет места... потому что они символизируют преступления коммунистической системы, зверства, относящиеся к межвоенному периоду», — прокомментировал Навроцкий снос мемориала³¹.

В апреле 2022 г. в г. Седльце Великопольского воеводства ИНП организовал брифинг, главным действующим лицом которого вновь стал К. Навроцкий. Мероприятие завершилось сносом памятника солдату-красноармейцу. В этот же день подобные акции прошли и в других польских населенных пунктах³². Вместе с этим зафиксировано и несколько случаев осквернения памятников³³.

Параллельно в Польше проходит процесс организации новых символических пространств. Например, в мае 2022 г. в г. Прушков Опольского воеводства в присутствии заместителя директора ИНП К. Полейовского был открыт памятник «жертвам тоталитаризма»³⁴.

Всего, согласно опубликованному на сайте посольства РФ в Польше списку, с 2014 г. по апрель 2022 г. было демонтировано 125 памятников советским воинам-освободителям, значительная часть которых присутствовала в перечне 1997 г.³⁵. По состоянию на 20 апреля 2022 г. в Республике Польша оставалось 60 памятников, но ИНП отмечает, что «продолжит кампанию, направленную на демонтаж всех памятников, посвященных солдатам Красной армии»³⁶.

³⁰ Statement by the President of the Institute of National Remembrance on decommunization of the public space, 2022, *Institute of National Remembrance*, URL: <https://ipn.gov.pl/en/news/9335,-Statement-by-the-President-of-the-Institute-of-National-Remembrance-on-decommuni.html> (дата обращения: 01.07.2022).

³¹ From words to action! 2022, *Institute of National Remembrance*, URL: <https://ipn.gov.pl/en/news/9404,From-words-to-action.html> (дата обращения: 01.07.2022).

³² IPN continues decommunization of the public space, 2022, *Institute of National Remembrance*, URL: <https://ipn.gov.pl/en/news/9505,IPN-continues-decommunization-of-the-public-space.html> (дата обращения: 03.07.2022).

³³ Польша искореняет памятники Красной армии вместе с собственным прошлым, 2022, *ФАН*, URL: https://riafan.ru/22031585-pol_sha_iskorenyaet_pamyatniki_krasnoi_armii_vmeste_s_sobstvennim_proshlim (дата обращения: 03.07.2022).

³⁴ Unveiling of the monument commemorating the victims of totalitarianisms – Prószków, Opolskie province, 2022, *Institute of National Remembrance*, URL: <https://ipn.gov.pl/en/news/9581,Unveiling-of-the-monument-commemorating-the-victims-of-totalitarianisms-Proszkow.html> (дата обращения: 01.07.2022).

³⁵ Перечень населенных пунктов Республики Польша, в которых демонтированы памятники советским воинам-освободителям, 2022, *Посольство России в Польше*, URL: https://poland.mid.ru/documents/3987513/23059461/Перечень+населенных+пунктов+где+снесены+памятники_рус.pdf (дата обращения: 02.07.2022).

³⁶ IPN continues decommunization of the public space, 2022, *Institute of National Remembrance*, URL: <https://ipn.gov.pl/en/news/9505,IPN-continues-decommunization-of-the-public-space.html> (дата обращения: 03.07.2022).

Нельзя не отметить, что проводимая «декоммунизация» не пользуется поддержкой среди части польского населения. Спасением памятников занимаются и отдельные неравнодушные граждане³⁷, и общественные организации, такие как «Курск» во главе с Е. Тыцем. Силами участников «Курска» было отремонтировано более 50 мемориальных объектов, несколько памятников удалось спасти от сноса, проводились акции протеста³⁸. Неоднозначно отношение и местных властей: например, в мае 2022 г. мэр Ольштына П. Гжымович запретил демонтаж монумента благодарности советским воинам-освободителям, обосновав решение мнением горожан, выступивших за сохранение памятника³⁹.

В заключение отметим, что до 2014 г. на Украине националистическая интерпретация прошлого, в основе которой лежит идея о необходимости «очищения» страны от советских культурных символов, была лишь одним из дискурсов, исходивших прежде всего от западноукраинской элиты. После 2014 г. этот дискурс превратился в доминирующий, всецело разделяемый государственной властью, а с 2022 г. он окончательно стал основой официальной исторической концепции Украины, реализацией которой занимается Институт национальной памяти. В Польше нарратив об избавлении мемориального ландшафта от советского наследия составляет часть проводимой правящей партией ПиС исторической политики, продвижение которой также осуществляется силами Института национальной памяти.

В своих официальных концепциях прошлого и Украина, и Польша выступают в качестве жертвы, пострадавшей от «двух агрессоров» во Второй мировой войне, а после нее оказавшейся под «коммунистической оккупацией». Эта позиция полностью коррелирует с европейским тезисом, первоначально зародившимся в восточноевропейских странах, о тождественности «преступных тоталитарных режимов» (нацистского и коммунистического), что отчасти объясняет, почему ЕС если и не содействует «памятничкопаду» открыто, то совершенно точно не выступает против реализации этого процесса.

При этом между «историко-мемориальными стратегиями» Польши и Украины существует определенная разница. После воссоединения Крыма с Россией и образования ДНР/ЛНР из украинского политического процесса ушло около 6 млн человек, для которых была характерна русская/восточноукраинская/интернационалистская постсоветская идентичности, что позволило украинскому государству с опорой на западноукраинский набор символов и нарративов [32] проводить активную политику памяти, одним из проявлений которой стала мощная волна «памятничкопада». В Польше под воздействием внешнего фактора (украинских событий 2014 г.) также участились случаи избавления от советского мемориального наследия, но этот процесс до февраля 2022 г. не приобрел массового характера.

Начало специальной военной операции РФ было использовано политическими элитами обеих стран для «зачистки» символического пространства. На Украине «кампания десоветизации со слегка закамуфлированным характером дерусификации» [32] трансформировалась в полноценную «дерусификацию», что привело к целому ряду случаев искоренения из общественного пространства памятников деятелям, абсолютно не связанным с «коммунистическим режимом», а в Польше ввиду отсутствия внушительного пласта дореволюционного российского (русского)

³⁷ Поляк спас от сноса памятник победителям фашизма, поставив его на своем участке, 2020, ТАСС, URL: <https://tass.ru/obschestvo/8085507> (дата обращения: 12.07.2022).

³⁸ Содружество «Курск» (Польша), 2022, *Kursk*, URL: <http://kursk-surmowka.com/ru/содружество-курс-польша/> (дата обращения: 12.07.2022).

³⁹ Мэр города Ольштын отказался сносить советский военный памятник, 2022, ТАСС, URL: <https://tass.ru/obschestvo/14606479> (дата обращения: 13.07.2022).

наследия (и общего советского прошлого) проводится своеобразная «остаточная декоммунизация», суть которой заключается в ускоренной и массовой ликвидации сохранившихся в стране памятников советским воинам-освободителям.

Кроме того, на Украине советский и российский дискурс является конкурентным (хотя после 24 февраля 2022 г. уровень его конкурентности значительно сократился — на Украине произошла массовая радикализация антироссийских настроений, что стало важным элементом консолидации украинской идентичности), поэтому архитекторы государственной политики памяти стараются максимально «зачистить» мемориальное поле, убрав пространственные коды «русскости»/«советскости», для окончательного утверждения своей националистической концепции прошлого. Вероятным видится сценарий, при котором перекодировка мемориального пространства на Украине окажется даже более радикальной, чем в странах Прибалтики в начале 1990-х гг. При этом нынешний этап «памятничкопада» можно назвать эмоциональным — сносу подвергаются многие советские и дореволюционные мемориальные объекты. Дальнейшее развитие событий во многом будет зависеть от хода спецоперации, вполне возможным представляется вариант, при котором украинские власти будут более тщательно подходить к этому процессу, отделяя «свое» и «чужое».

В свою очередь, для польского официального дискурса советский нарратив не представляет большой опасности, поскольку не является конкурентным, так как в стране нет активной группы, которая бы его придерживалась (а те, кто его защищает, маркируются как маргиналы), вследствие чего кампания «декоммунизации» будет проходить менее радикально. Более того, наличие советского мемориального наследия где-то даже играет своеобразную позитивную роль, поскольку противопоставление в качестве «чуждого» польскому позволяет продавливать и гегемонизировать официальную концепцию прошлого, утвержденную партией Пис.

Исследование выполнено в рамках реализации проекта «Приоритет-2030»: «Историческая память как фактор геополитической безопасности на западных рубежах России».

Список литературы

1. Филиппова, Е. И. 2011, История и память в эпоху господства идентичностей (беседа с действительным членом Французской Академии историком П. Нора), *Этнографическое обозрение*, № 4, с. 75—84.
2. Репина, Л. П. 2020, Историческая память и нарративы национальной идентичности: «практика истории на службе памяти». В: Репина, Л. П. (ред.), *Прошлое для настоящего: История — память и нарративы национальной идентичности: монография*, М., Аквилон, с. 11—36.
3. Малинова, О. Ю. 2018, Политика памяти как область символической политики. В: Миллер, А. И., Ефременко, Д. В. (ред.), *Методологические вопросы изучения политики памяти*, М., СПб., Нестор-История, с. 27—53.
4. Касьянов, Г. В. 2021, «Декоммунизация» в Украине, 2014—2021: процесс, акторы, результаты, *Историческая экспертиза*, № 4, с. 174—200, <https://doi.org/10.31754/2409-6105-2021-4-174-200>.
5. Миллер, А. И., Ефременко, Д. В. (ред.). 2018, *Методологические вопросы изучения политики памяти*, М., СПб., Нестор-История, 224 с.
6. Миллер, А. И., Ефременко, Д. В. (ред.). 2020, *Политика памяти в современной России и странах Восточной Европы. Акторы, институты, нарративы*, СПб., Изд-во Европейского ун-та, 632 с.
7. Лыкошина, Л. С. 2015, «Историческая политика» современной Польши в контексте российско-польских отношений, *Славянский альманах*, № 1-2, с. 170—179.
8. Булахтин, М. А. 2019, Политика исторической памяти в современной Польше, *Вестник Удмуртского университета. Социология. Политология. Международные отношения*, т. 3, № 4, с. 449—458, <https://doi.org/10.35634/2587-9030-2019-3-4-449-458>.

9. Гайдай, А. Ю., Любарец, А. В. 2016, «Ленинопад»: избавление от прошлого как способ конструирования будущего (на материалах Днепропетровска, Запорожья и Харькова), *Вестник Пермского университета. История*, № 2, с. 28—41, <https://doi.org/10.17072/2219-3111-2016-2-28-41>.
10. Кринко, Е. Ф., Хлынина, Т. П. 2015, Украина без Ленина: старые памятники и новая идеология, *Российские регионы: взгляд в будущее*, № 1, с. 40—57.
11. Плеханов, А. А. 2018, Разрушение пространства советского символического господства в постсоветской Украине, *Политическая наука*, № 3, с. 190—216, <https://doi.org/10.31249/poln/2018.03.10>.
12. Плеханов, А. А. 2017, Украинская декоммунизация: борьба за символическое господство, *Конструируя «советское»? Политическое сознание, повседневные практики, новые идентичности*, Материалы международной конференции, с. 131—138.
13. Касьянов, Г. В. 2019, *Украина и соседи: историческая политика. 1987—2018*. М., НЛО.
14. Гриценко, О. 2019, *Декомунізація в Україні як державна політика і як соціокультурне явище*, Київ, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України; Інститут культурології НАМ України.
15. Касьянов, Г. В. 2021, Украина как «национализирующее(ся) государство»: обзор практик и результатов, *Социология власти*, т. 3, № 2, с. 117—146, <https://doi.org/10.22394/2074-0492-2021-2-117-146>.
16. Лыкошина, Л. С. 2017, Образ России как фактор формирования национальной идентичности в общественно-политическом дискурсе современной Польши, В: Макаров, Н. А. (ред.), *Россия в польской историографии, Польша в российской историографии (к 50-летию Комиссии историков России и Польши)*, М., Индрик, с. 130—144.
17. Касьянов, Г. В. 2016, Историческая политика и «мемориальные» законы в Украине: начало XXI в., *Историческая экспертиза*, № 2, с. 28—55.
18. Левченко, А. С. 2019, Политика памяти в контексте внешнеполитического курса Украины в 2014 — начале 2019 г., *Россия и современный мир*, № 4 (105), с. 111—126, <https://doi.org/10.31249/rsm/2019.04.07>.
19. Иванов, Г. 2019, «Суворов — на выход». Как Украина продолжает войну с памятниками, *Аргументы и факты*, 29 января 2019, URL: https://aif.ru/politics/world/suovov_na_vyход_kak_ukraina_prodolzhaet_voynu_s_pamyatnikami_i_zdravum (дата обращения: 09.05.2022).
20. Кулемьякин, Д. 2022, Власти Киева предложили снести 60 памятников, связанных с Россией, *Российская газета*, 25 апреля 2022, URL: <https://rg.ru/2022/04/25/vlasti-kieva-predlozhili-snesti-60-pamiatnikov-sviazannyh-s-rossiej.html> (дата обращения: 09.05.2022).
21. Толочко, П. П. (ред.). 2018, *История Украины. XVI—XXI вв.*, Киев, М., Киевская Русь; Кучково поле, 472 с.
22. Касьянов, Г. В., Миллер, А. И. 2011, *Россия — Украина. Как пишется история: Диалоги. Лекции. Статьи*, М., Изд-во РГГУ, 311 с.
23. Стоякин, В. 2022, Как убивали память. Тяжелая судьба памятников войны на Украине, *Украина.Ру*, 8 мая 2022, URL: <https://ukraina.ru/exclusive/20220508/1033888378.html> (дата обращения: 12.06.2022).
24. Корф, А. 2022, В освобожденных городах начали возвращать ранее демонтированные скульптуры, *Readovka*, 18 апреля 2022, URL: <https://readovka.news/news/94201> (дата обращения: 11.06.2022).
25. Панченко, Л. 2022, В ДНР восстановят и возвратят на места российские и советские памятники, *Московский комсомолец*, 7 мая 2022, URL: <https://www.mk.ru/politics/2022/05/07/v-dnr-vosstanovyat-i-vozvratyat-na-mesta-rossiyskie-i-sovetskie-pamyatniki.html> (дата обращения: 09.05.2022).
26. Нагорных, О. В. 2020, Политика памяти в процессе декоммунизации в Польше, *Этносоциум и межнациональная культура*, № 7, с. 86—97.
27. Рокосовская, А. 2017, С глаз долой — из сердца вон? *Российская газета*, 13 сентября 2017, URL: <https://rg.ru/2017/09/13/rodina-o-snose-pamiatnikov.html> (дата обращения: 01.07.2022).
28. Dudek, A. 2008, Spory o polską politykę historyczną po 1989 roku, *Pamięć i polityka historyczna. Doświadczenia Polski i jej sąsiadów*, s. 33—57.
29. Словински, К. 2020, Историческая политика партии «Право и справедливость», *Современная Европа*, № 1 (94), с. 102—113, <http://dx.doi.org/10.15211/soveurope12020102112>.

30. Буконкин, Д. А. 2016, Историческая политика как новый элемент в белорусско-польских межгосударственных отношениях, *Многовекторность во внешней политике Республики Беларусь*, материалы международных круглых столов, с. 4—15.

31. Байназаров, Э. 2021, Сносный характер: Варшава демонтировала шесть памятников красноармейцам, *Известия*, 16 апреля 2021, URL: <https://iz.ru/1152030/elnar-bainazarov/snosnyi-kharakter-varshava-demontirovala-shest-pamiatnikov-krasnoarmeitcam> (дата обращения: 04.07.2022).

32. Миллер, А. И. 2022, Национальная идентичность на Украине: история и политика, *Россия в глобальной политике*, 2022, т. 20, № 4, с. 46—65, <https://doi.org/10.31278/1810-6439-2022-20-4-46-65>.

Об авторах

Филёв Максим Викторович, младший научный сотрудник, Центр исследований исторической памяти Института геополитических и региональных исследований, БФУ им. И. Канта, Россия.

E-mail: tsvachim03@mail.ru

<https://orcid.org/0000-0003-4217-6197>

Курганский Анатолий Анатольевич, младший научный сотрудник, Центр исследований исторической памяти Института геополитических и региональных исследований, БФУ им. И. Канта, Россия.

E-mail: anatkurg@yandex.ru

<https://orcid.org/0000-0002-3145-6831>



ПРЕДСТАВЛЕНО ДЛЯ ВОЗМОЖНОЙ ПУБЛИКАЦИИ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ЛИЦЕНЗИИ CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION (CC BY) ([HTTP://creativecommons.org/licenses/by/4.0/](http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/))

DISMANTLING MONUMENTS AS THE CORE OF POST-2014 'DECOMMUNISATION' IN UKRAINE AND POLAND

M. V. Filev

A. A. Kurganskii

Immanuel Kant Baltic Federal University
14 A. Nevskogo St., Kaliningrad, 236016, Russia

Received 10.08.2022

doi: 10.5922/2079-8555-2022-3-9

© Filev, M. V., Kurganskii, A. A., 2022

Drawing on a wide range of sources (Polish and Ukrainian legal acts, Russian and international media), this study looks at the 'monument fall' in Ukraine and Poland as part of the post-2014 memory wars. The purpose of this article is to identify the main patterns associated with the demolition of Soviet and Russian monuments in the two countries. The 'decommunisation' of public space is an element of Ukraine's and Poland's politics of memory, enshrined in legal acts. Its driving force is the Institutes of National Remembrance, whose priorities include dismantling Soviet and pre-revolutionary Russian monuments, which came into full swing after the beginning of Russia's special military operation to denazify and demilitarise Ukraine. The official narratives allot Poland and Ukraine the role of victims of 'two aggressors' in World War II, which found themselves under 'communist occupation'. Therefore, the politics of memory of the two countries seek to get rid of the 'Soviet legacy' as the legacy

To cite this article: Filev, M. V., Kurganskii, A. A. 2022, Dismantling monuments as the core of post-2014 'decommunisation' in Ukraine and Poland, *Balt. Reg.*, Vol. 14, no 4, p. 146—161. doi: 10.5922/2079-8555-2022-4-9.

of the 'occupying country'. Whilst Poland pursues 'residual decommunisation' focused on dismantling the remaining memorials to Soviet soldiers-liberators, Ukraine is committed to transforming 'decommunisation' into full-scale 'derussification'. At the same time, the process of 're-Sovietisation/Sovietisation' has been launched in the liberated territories of Ukraine. It consists in restoring previously destroyed monuments or installing new ones.

Keywords:

monument fall, decommunisation, politics of memory, collective memory, symbolic Policy, Ukraine, Poland

References

1. Filippova, E. I. 2011, History and memory in the epoch of dominating identities: an interview with Pierre Nora, historian and member of the French Academy, *Ethno review*, №4, p. 75—84 (in Russ.).
2. Repina, L. P. 2020, Historical memory and national narratives of identity: "the practice of history in the service of memory", In: Repina, L. P. (ed.), *The past for the present: history/memory and narratives of national identity*, Moscow, Akvilon, p. 11—36 (in Russ.).
3. Malinova, O. Ju. 2018, Memory policy as a Symbolic policy area, In: Miller, A. I., Efremenko, D. V. (eds.), *Methodological issues of studying the politics of memory*, Moscow, Saint-Petersburg, Nestor-Istorija, p. 27—53 (in Russ.).
4. Kasianov, G. 2021, «Decommunisation» in Ukraine: 2014—2021: the process, actors, results, *Historical expertise*, №4, p. 174—200, <https://doi.org/10.31754/2409-6105-2021-4-174-200> (in Russ.).
5. Miller, A. I., Efremenko, D. V. (eds.). 2018, *Methodological issues of studying the politics of memory*, Moscow, Saint-Petersburg, Nestor-Istorija, 224 p. (in Russ.).
6. Miller, A. I., Efremenko, D. V. (eds.). 2020, The politics of memory in contemporary Russia and in countries of Eastern Europe, Saint-Petersburg, Izd-vo Evropejskogo un-ta, 632 p. (in Russ.).
7. Lykošina, L. S. 2015, The «historical politics» of modern Poland in the light of Russian-Polish relations, *Slavic Almanac*, №1-2, p. 170—179 (in Russ.).
8. Bulahtin, M. A. 2019, Politics of historical memory in modern Poland, *Bulletin of Udmurt University. Sociology. Political Science. International Relations*, №4, p. 449—458, <https://doi.org/10.35634/2587-9030-2019-3-4-449-458> (in Russ.).
9. Gajdaj, A. Ju., Liubaretc, A. V. 2016, Leninfall: elimination of the past as a way of constructing the future (on the materials of Dnepropetrovsk, Zaporozhye and Kharkov), *Perm University Herald. History*, №2, p. 28—41, <https://doi.org/10.17072/2219-3111-2016-2-28-41> (in Russ.).
10. Krinko, E. F., Hlynina, T. P. 2015, Ukraine without Lenin: old monuments and new ideology, *Russian regions: looking into the future*, №1, p. 40—57 (in Russ.).
11. Plehanov, A. A. 2018, Decommunization process in post-Soviet Ukraine, *Political Science*, №3, p. 190—216 (in Russ.), <https://doi.org/10.31249/poln/2018.03.10>.
12. Plehanov, A. A. 2017, Ukrainian decommunization: the struggle for symbolic domination? In: *Politicheskoe soznanie, povsednevnye praktiki, novye identichnosti, Materialy mezhdunarodnoj konferencii* [Constructing the "Soviet"? political consciousness, everyday practices, new identities: proceedings of the international conference], Saint-Petersburg, p. 131—138 (in Russ.).
13. Kasianov, G. V. 2019, *Ukraina i sosedi: istoricheskaja politika. 1987—2018*, [Ukraine and neighbors: Historical politics. 1987—2018], Moscow, NLO, 282 p. (in Russ.).
14. Grytsenko, O. 2019, *Decommunization in Ukraine as a public policy and as a cultural phenomenon*, Kyiv, Institut politichnih i etnonacional'nih doslidzhen' im. I. F. Kurasa NAN Ukraini; Institut kul'turologii NAM Ukraini, 320 p. (in Ukr.).
15. Kasianov, G. 2021, Ukraine as a "Nationalizing State": A Review of Practices and Outcomes, *Sociology of Power*, vol. 3, №2, p. 117—146, <https://doi.org/10.22394/2074-0492-2021-2-117-146> (in Russ.).
16. Lykoshina, L. S. 2017, The image of Russia as a factor in the formation of national identity in the socio-political discourse of modern Poland, In: Makarov, N. A. (ed), *Rossiya v pol'skoi istoriografii, Pol'sha v rossijskoi istoriografii (k 50-letiyu Komissii istorikov Rossii i Pol'shi)* [Russia in Polish Historiography, Poland in Russian Historiography (for the 50th anniversary of the Commission of Historians of Russia and Poland)], Moscow, Indrik, p. 130—144 (in Russ.).
17. Kasyanov, G. 2016, Historical policy and the «memorial» laws in Ukraine: the beginning of the 21st century, *Historical expertise*, №2, p. 28—55 (in Russ.).

18. Levchenkov, A. S. 2019, The «Policy of Memory» in the context of Ukraine's foreign policy in 2014 — Early 2019, *Russia and the contemporary world*, №4, p. 111—126, <https://doi.org/10.31249/rsm/2019.04.07> (in Russ.).
19. Ivanov, G. 2019, «Suvorov — on the way out». How Ukraine continues the war with monuments, *Argumenty i fakty*, available at: https://aif.ru/politics/world/suvorov_na_vygod_kak_ukraina_prodlzhaet_voynu_s_pamyatnikami_i_zdravym (accessed 09.05.2022) (in Russ.).
20. Kulemjakin, D. 2022, The Kiev authorities have proposed to demolish 60 monuments associated with Russia, *Rossijskaja gazeta*, available at: <https://rg.ru/2022/04/25/vlasti-kieva-predlozhili-snesti-60-pamiatnikov-sviazannyh-s-rossiej.html> (accessed 09.05.2022) (in Russ.).
21. Tolochko, P. P. (ed.). 2018, *Istorija Ukrainy. XVI—XXI vv.* [History of Ukraine. XVI—XXI centuries], Kyiv, Moscow, Kievskaja Rus'; Kuchkovo pole, 472 p. (in Russ.).
22. Kasjanov, G., Miller, A. 2011, *Russia — Ukraine: the Way History Gets Written. Dialogues — Lectures — Articles*, Moscow, Izd-vo RGGU, 311 p. (in Russ.).
23. Stojakin, V. 2022, How memory was killed. The hard fate of war monuments in Ukraine, *Ukraina.Ru*, available at: <https://ukraina.ru/exclusive/20220508/1033888378.html> (accessed 12.06.2022) (in Russ.).
24. Korf, A. 2022, In the liberated cities, previously dismantled sculptures began to be returned, *Readovka.Ru*, available at: <https://readovka.news/news/94201> (accessed 11.06.2022) (in Russ.).
25. Panchenko, L. 2022, Russian and Soviet monuments will be restored and returned to their place in the DPR, *Moskovskij komsomolec*, available at: <https://www.mk.ru/politics/2022/05/07/v-dnr-vosstanovyat-i-vozvratyat-na-mesta-rossijskie-i-sovetskie-pamyatniki.html> (accessed 09.05.2022) (in Russ.).
26. Nagornyh, O. V. 2020, The politics of memory in the process of decommunization in Poland, *Etnosocium (multinational society)*, №7, p. 86—97 (in Russ.).
27. Rokossovskaja, A. 2017, Out of sight — out of mind? *Rossijskaja gazeta*, available at: <https://rg.ru/2017/09/13/rodina-o-snose-pamiatnikov.html> (accessed 01.07.2022) (in Russ.).
28. Dudek, A. 2008, Disputes over Polish historical policy after 1989, *Pamięć i polityka historyczna. Doświadczenia Polski i jej sąsiadów*, p. 33—57 (in Pol.).
29. Slovinski, K. 2020, The Historical Policy of Poland's Law and Justice Party, *Sovremennaya Evropa*, №1, p. 102—113, <http://dx.doi.org/10.15211/soveurope12020102112> (in Russ.).
30. Bukonkin, D. A. 2016, Historical politics as a new element in the Belarusian-Polish interstate relations. In: *Mnogovektornost' vo vneshnej politike Respubliki Belarus'*, *Materialy mezhdunarodnyh kruglyh stolov* [Multi-vector in the foreign policy of the Republic of Belarus: materials of international round tables], Minsk, p. 4—15 (in Russ.).
31. Bajnazarov, Je. 2021, Tolerable character: Warsaw dismantled six monuments to Red Army soldiers, *Izvestija*, available at: <https://iz.ru/1152030/elmar-bainazarov/snosnyi-karakter-varshava-demontirovala-shest-pamiatnikov-krasnoarmeitcam> (accessed 04.07.2022) (in Russ.).
32. Miller, A. I. 2022, National identity in Ukraine: history and politics, *Russia in Global Affairs*, №4, p. 46—65, <https://doi.org/10.31278/1810-6374-2022-20-3-94-114> (in Russ.).

The authors

Maksim V. Filev, Junior Research Fellow, Centre for Memory Studies, Institute for Geopolitical and Regional Studies, Immanuel Kant Baltic Federal University, Russia.

E-mail: tsvachim03@mail.ru

<https://orcid.org/0000-0003-4217-6197>

Anatolii A. Kurganskii, Junior Research Fellow, Centre for Memory Studies, Institute for Geopolitical and Regional Studies, Immanuel Kant Baltic Federal University, Russia.

E-mail: anatkurg@yandex.ru

<https://orcid.org/0000-0002-3145-6831>



МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ДИНАМИКИ ЧИСЛЕННОСТИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ И ХОЗЯЙСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Т. Ю. Кузнецова 

Балтийский федеральный университет им. И. Канта,
236016, Россия, Калининград, ул. А. Невского, 14

Поступила в редакцию: 11.05.2022 г.
doi: 10.5922/2079-8555-2022-4-10
© Кузнецова Т. Ю., 2022

Представлены данные, отражающие территориальные особенности динамики численности сельского населения и их связь с внешними факторами (в первую очередь с развитием сельского хозяйства). Базу данных составляют 14 показателей, которые характеризуют пространственную дифференциацию развития сельского населения на уровне субъектов РФ за период 2010–2020 гг. Выполнена типология регионов по совокупности восьми экзистических и экономических признаков. Набор данных включает в себя статистические показатели для 85 регионов России за период 2010–2020 гг., которые были взяты из опубликованных материалов Федеральной службы государственной статистики и Единой межведомственной информационно-статистической системы. Результаты представлены в виде таблиц и картографических материалов (7 таблиц, 6 картосхем). Представленная база данных может быть использована федеральными и региональными органами власти при разработке научно обоснованных программ и стратегий развития сельских территорий, а также специалистами, которые занимаются вопросами развития села.

Ключевые слова:

сельское расселение, динамика производства, межрегиональные различия, типология регионов, Российская Федерация

Технические характеристики данных

Предметная область	Экономическая и социальная география
Тип данных	Таблицы Рисунки
Как были получены данные	Статистические данные были получены из сборников с официальной статистической информацией, составленных Федеральной службой государственной статистики Российской Федерации, — «Регионы России. Социально-экономические показатели» — и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС)
Формат данных	Сырые данные Сгруппированные данные

Для цитирования: Кузнецова Т. Ю. Межрегиональные различия динамики численности сельского населения и хозяйства в Российской Федерации // Балтийский регион. 2022. Т. 14, № 4. С. 162–181.
doi: 10.5922/2079-8555-2022-4-10.

Предметная область	Экономическая и социальная география
Описание процесса сбора данных	Собранные данные включают в себя ряд ключевых показателей населения, сельскохозяйственного производства и занятости сельского населения на уровне регионов России. Данные были структурированы путем объединения информации из источников статистической информации с последующим нормированием всех показателей на 1000 жителей. Также были рассчитаны показатели динамики
Местоположение источника данных	Центральный федеральный округ — 18 регионов: Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Воронежская область, Ивановская область, Калужская область, Костромская область, Курская область, Липецкая область, Московская область, Орловская область, Рязанская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Ярославская область, г. Москва; Южный федеральный округ — 8 регионов: Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Республика Крым, Краснодарский край, Астраханская область, Волгоградская область, Ростовская область, г. Севастополь; Северо-Западный федеральный округ — 11 регионов: Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская область, Вологодская область, Калининградская область, Ленинградская область, Мурманская область, Новгородская область, Псковская область, Ненецкий автономный округ, г. Санкт-Петербург; Дальневосточный федеральный округ — 9 регионов: Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ; Сибирский федеральный округ — 12 регионов: Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Тыва, Республика Хакасия, Алтайский край, Забайкальский край, Красноярский край, Иркутская область, Кемеровская область, Новосибирская область, Омская область, Томская область; Уральский федеральный округ — 6 регионов: Курганская область, Свердловская область, Тюменская область, Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ; Приволжский федеральный округ — 14 регионов: Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Кировская область, Нижегородская область, Оренбургская область, Пензенская область, Ульяновская область, Самарская область, Саратовская область, Пермский край; Северо-Кавказский федеральный округ — 7 регионов: Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия — Алания, Чеченская Республика, Ставропольский край
Доступность данных	Данные доступны в этой статье и в Mendeley Data: Kuznetsova, Tatyana (2022), A regional-level database of rural population and agriculture in Russia, Mendeley Data, Vol. 2, doi: 10.17632/t286xfwmj6.2

Ценность данных

Неравномерность развития сельских территорий характерна для многих стран мира. Исследователи связывают это с трансформацией экономики стран и политических процессов [1], развитостью инфраструктуры и доступностью рынка [2], характером естественного и миграционного движения населения [3; 4] и преобладающим видом хозяйственной деятельности [5].

В России степень дифференциации уровня развития сельских территорий очень значительна. Сильно различаются особенности расселения — плотность населения, доля сельского населения, средняя людность сельских поселков. Неодинаковы экономические и социальные показатели развития сельского хозяйства в региональном разрезе. Это обусловлено помимо уже обозначенных факторов размерами и географическими особенностями территории нашей страны, историей ее освоения и развития. Так, Т. Г. Нефедова выделяет семь групп факторов: большая территория, разнообразные природные условия, редкая сеть больших городов, незавершенный процесс урбанизации, особенности исторического развития, сильная централизация экономики и социальное неравенство [6] — и приходит к выводу, что для сельской местности в ее пространственном переустройстве главным является «положение на осях “север — юг” и “пригород — периферия”» [7, р. 52].

Многообразие условий, в которых происходит развитие сельских территорий, требует разных подходов к их оценке и управлению [8; 9]. Представленная база данных включает комплекс показателей, отражающих дифференциацию развития сельского населения на уровне субъектов РФ во взаимосвязи с характером развития сельскохозяйственного производства и показателями занятости населения и может быть использована федеральными и региональными органами власти при разработке научно обоснованных программ и стратегий развития сельских территорий, а также специалистами, которые занимаются вопросами развития села.

Методы исследования

Для того чтобы сформировать набор статистических показателей, отражающих особенности расселения и социально-экономического развития сельских территорий, были использованы сборники официальной статистической информации Федеральной службы государственной статистики, в которых содержится информация о социально-экономических показателях регионов Российской Федерации, таких как данные о плотности сельского населения, доле сельского населения в общей численности, среднем количестве жителей сельских населенных пунктов, объеме сельскохозяйственного производства [10]. Данные о численности сельского населения и занятых в экономике получены из единой межведомственной информационно-статистической системы в сельском хозяйстве (ЕМИСС) [11]. Для выявления характера изменения показателей расселения и происходящих в селе социально-экономических процессов и их взаимосвязи были рассчитаны коэффициенты динамики и корреляции.

Описание данных

Данные охватывают 85 регионов Российской Федерации за 2020 г. При проведении сравнения показателей между 2020 и 2010 гг. Республика Крым и г. Севастополь были исключены из анализа ввиду невозможности получения сопоставимых данных.

Показатели, используемые при формировании базы данных, представлены в таблице 1.

Таблица 1

Показатели развития сельского населения по субъектам РФ

Показатель	Расчет показателя	Источник данных
Среднегодовая численность населения, тыс. чел.	Сырые данные	Численность постоянного населения в среднем за год, ЕМИСС, 2022, URL: https://www.fedstat.ru/indicator/31556
Среднегодовая численность сельского населения, тыс. чел.	Сырые данные	Численность постоянного населения в среднем за год, ЕМИСС, 2022, URL: https://www.fedstat.ru/indicator/31556
Плотность сельского населения на 1 км ² , 2020 г.	Рассчитывается как отношение среднегодовой численности сельского населения и площади территории в 2020 г.	Численность и миграция населения Российской Федерации в 2020 году, Росстат, 2021, URL: https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13283
Доля сельского населения в общей численности населения региона, 2020 г., %	Рассчитывается как отношение среднегодовой численности сельского населения к общей среднегодовой численности населения	Численность постоянного населения в среднем за год, ЕМИСС, 2022, URL: https://www.fedstat.ru/indicator/31556
Среднегодовая численность занятых в экономике в сфере «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство», чел.	Сырые данные	Среднегодовая численность занятых в экономике (расчеты на основе интеграции данных) с 2017 г., ЕМИСС, 2022, URL: https://www.fedstat.ru/indicator/58994
Средняя людность сельских поселков, 2020 г., чел.	Рассчитывается как отношение среднегодовой численности сельского населения к числу сельских населенных пунктов (по данным Всероссийской переписи населения)	Число муниципальных образований, внутригородских районов, округов города, межселенных территорий и населенных пунктов, Всероссийская перепись населения 2020, Росстат, 2022, URL: https://rosstat.gov.ru/vpn_popul ; Численность постоянного населения в среднем за год, ЕМИСС, 2022, URL: https://www.fedstat.ru/indicator/31556
Динамика численности населения, 2020 г., % к 2010 г. (на начало года)	Рассчитывается как отношение среднегодовой численности населения в 2020 г. к численности населения в 2010 г.	Численность постоянного населения в среднем за год, ЕМИСС, 2022, URL: https://www.fedstat.ru/indicator/31556
Динамика численности сельского населения, 2020 г., % к 2010 г. (на начало года)	Рассчитывается как отношение среднегодовой численности сельского населения в 2020 г. к численности сельского населения в 2010 г.	Численность постоянного населения в среднем за год, ЕМИСС, 2022, URL: https://www.fedstat.ru/indicator/31556
Добавленная стоимость в аграрном секторе, тыс. руб.	Сырые данные	Валовой региональный продукт в основных ценах (ОКВЭД 2) в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве, ЕМИСС, 2022, URL: https://www.fedstat.ru/indicator/61497

Продолжение табл. 1

Показатель	Расчет показателя	Источник данных
Добавленная стоимость в аграрном секторе в расчете на 1 сельского жителя, 2019 г., тыс. руб.	Рассчитывается как отношение значения валового регионального продукта в основных ценах (ОКВЭД 2) по виду экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» к среднегодовой численности сельского населения	Валовой региональный продукт в основных ценах (ОКВЭД 2) в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве, ЕМИСС, 2022, URL: https://www.fedstat.ru/indicator/61497 ; Численность постоянного населения в среднем за год, ЕМИСС, 2022, URL: https://www.fedstat.ru/indicator/31556
Продукция сельского хозяйства на 1 сельского жителя, 2020 г., тыс. руб.	Рассчитывается как отношение продукции сельского хозяйства всех категорий в фактически действующих ценах к среднегодовой численности сельского населения	Продукция сельского хозяйства в фактически действовавших ценах (окончательные данные), ЕМИСС, 2022, URL: https://www.fedstat.ru/indicator/43337 ; Численность постоянного населения в среднем за год, ЕМИСС, 2022, URL: https://www.fedstat.ru/indicator/31556
Продукция сельского хозяйства на 1 занятого в сельском хозяйстве, 2020 г., тыс. руб.	Рассчитывается как отношение объема производства продукции сельского хозяйства всех категорий в фактически действующих ценах к среднегодовой численности занятых в экономике в сфере «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»	Продукция сельского хозяйства в фактически действовавших ценах (окончательные данные), ЕМИСС, 2022, URL: https://www.fedstat.ru/indicator/43337 ; Среднегодовая численность занятых в экономике (расчеты на основе интеграции данных) с 2017 г., ЕМИСС, 2022, URL: https://www.fedstat.ru/indicator/58994
Удельный вес региона в производстве продукции сельского хозяйства, 2010 г., %	Рассчитывается как отношение объема производства продукции сельского хозяйства всех категорий в 2010 г. в фактически действующих ценах в субъекте РФ к аналогичному показателю в России в целом	Продукция сельского хозяйства в фактически действовавших ценах (окончательные данные), ЕМИСС, 2022, URL: https://www.fedstat.ru/indicator/43337
Удельный вес региона в производстве продукции сельского хозяйства, 2020 г., %	Рассчитывается как отношение объема производства продукции сельского хозяйства всех категорий в 2020 г. в фактически действующих ценах в субъекте РФ к аналогичному показателю в России в целом	Продукция сельского хозяйства в фактически действовавших ценах (окончательные данные), ЕМИСС, 2022, URL: https://www.fedstat.ru/indicator/43337
Изменение удельного веса региона в производстве продукции сельского хозяйства, 2010—2020 гг. процентных пунктов	Рассчитывается как разница удельного веса региона в производстве продукции сельского хозяйства в 2020 г. и аналогичному показателю 2010 г.	Продукция сельского хозяйства в фактически действовавших ценах (окончательные данные), ЕМИСС, 2022, URL: https://www.fedstat.ru/indicator/43337

Окончание табл. 1

Показатель	Расчет показателя	Источник данных
Производство продукции на 1 занятого в сельском хозяйстве, 2020 г., % к среднему по РФ	Рассчитывается как отношение объема производства продукции сельского хозяйства на 1 занятого в субъекте РФ к среднему показателю по стране	Продукция сельского хозяйства в фактически действовавших ценах (окончательные данные), ЕМИСС, 2022, URL: https://www.fedstat.ru/indicator/43337 ; Среднегодовая численность занятых в экономике (расчеты на основе интеграции данных) с 2017 г., ЕМИСС, 2022, URL: https://www.fedstat.ru/indicator/58994
Производство продукции сельского хозяйства на душу населения, 2020 г., % к среднему по РФ	Рассчитывается как отношение объема производства продукции сельского хозяйства на душу населения в субъекте РФ к среднему показателю по стране	Продукция сельского хозяйства в фактически действовавших ценах (окончательные данные), ЕМИСС, 2022, URL: https://www.fedstat.ru/indicator/43337 ; Численность постоянного населения в среднем за год, ЕМИСС, 2022, URL: https://www.fedstat.ru/indicator/31556
Доля занятых в сельском хозяйстве в общей численности сельского населения, 2020 г., %	Рассчитывается как отношение числа занятых в экономике в сфере «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» к численности сельского населения	Среднегодовая численность занятых в экономике (расчеты на основе интеграции данных) с 2017 г., ЕМИСС, 2022, URL: https://www.fedstat.ru/indicator/58994 ; Численность постоянного населения в среднем за год, ЕМИСС, 2022, URL: https://www.fedstat.ru/indicator/31556

В приложении представлена база данных абсолютных и относительных показателей расселения и численности сельского населения, занятого в сельском хозяйстве, и производства продукции сельского хозяйства по субъектам Российской Федерации в период 2010—2020 гг.

Важнейшие пространственные особенности сельского расселения, сложившиеся к 2020 г., — плотность сельского населения, его удельный вес в общей численности населения и среднюю людность сельских населенных пунктов — отражает рисунок 1.

Главным фактором, определяющим специфику сельского расселения, является степень благоприятности природных условий для ведения сельского хозяйства. Коэффициент ранговой корреляции (по Спирмену) между среднегодовой температурой административного центра региона и плотностью населения составляет 0,67, между удельным весом сельского населения и среднегодовой температурой — 0,51. Средняя людность поселений тоже связана со спецификой природных условий — мелкоселенность, обусловленная мелкоконтурностью сельхозугодий, характерна для регионов Нечерноземья, все еще сохраняющих характерные черты сложившиеся еще в досоветский период расселения. Степные регионы юга страны с крупными контурами угодий, а также восточные территории, где сельские поселки особенно часто связаны с несельскохозяйственной занятостью населения, отличаются крупноселенностью. Для большинства северных и восточных регионов характерен невысокий удельный вес сельского населения и его крайне низкая плотность (менее 1 чел. на км²). На севере Европейской части страны эти показатели сочетаются с мелкоселенностью поселков, что обуславливает особую остроту их обеспечения транспортной и социальной инфраструктурой. На востоке их средняя людность от-

носителю высока, но сельские поселки все равно недостаточно велики для организации сферы услуг, приближенной к городской, а города чаще всего от них сильно удалены. Коэффициент корреляции между средней людностью и среднегодовой температурой составляет 0,52 (а для регионов с плотностью населения более 1 чел. на км² — 0,62).

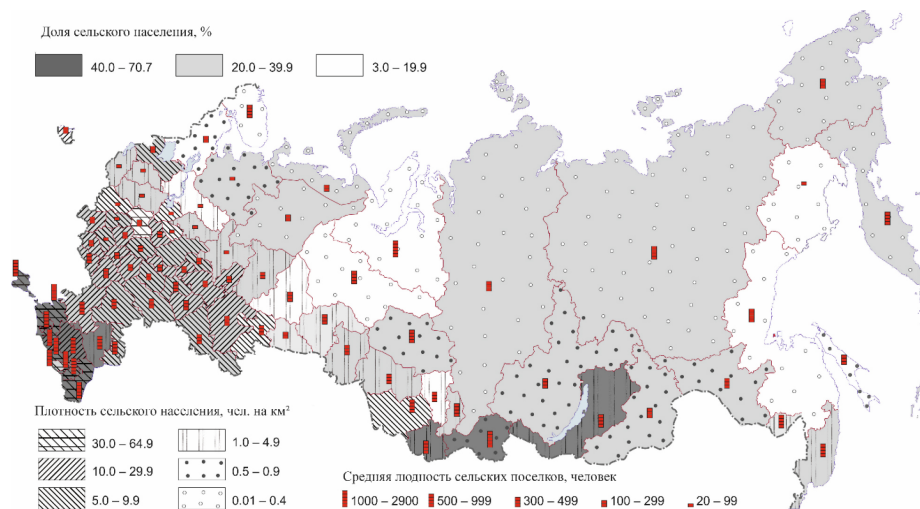


Рис. 1. Территориальные особенности сельского расселения РФ, 2020 г.

Составлено на основе данных [10].

Почти все расположенные в Европейской части России нечерноземные регионы Средней полосы, регионы южной части Западной Сибири и отдельные субъекты РФ на юге Дальнего Востока имеют плотность сельского населения в пределах 1—10 чел. на км². Преобладают невысокие и средние для РФ (в Республиках Калмыкия, Алтай и Бурятия — высокие) показатели удельного веса сельского населения. В Европейской части преобладает мелкоселенное сельское расселение (в областях Поволжья села имеют средние размеры), в Азиатской части — крупноселенное. Особая ситуация характерна для Ленинградской области, где в системе расселения доминирует формально не относящийся к области Санкт-Петербург, в действительности образующий с ней единую территориальную систему.

Наиболее высокую (10—75 чел. на км²) плотность сельского населения имеют регионы Черноземного Центра, Среднего Поволжья, Северо-Кавказского и западной части Южного федерального округа. В большинстве перечисленных регионов высока доля сельского населения. Вместе с тем выделяются высокоурбанизированные Калининградская область, а также Московская и прилегающие к ней Владимирская и Тульская области (находящиеся, как и часть других прилегающих к Москве областей, под сильным влиянием столичной агломерации). Людность сельских населенных пунктов в южных регионах высока и уменьшается с продвижением на север.

Динамика численности сельского населения

Дифференциация российских регионов по особенностям динамики численности сельского населения очень велика. За 2010—2020 гг. в Республике Адыгея сельское население увеличилось на 16 %, а в Республике Карелия и Кировской области сократилось на 27 %. Рисунок 2 отражает различия динамики численности населения регионов с разной плотностью сельского населения. Как можно заметить, рост

численности сельского населения характерен для пристоличных областей (Московской и Ленинградской), трех динамично развивающихся высокоурбанизированных областей средней полосы (Калининградской, Калужской и Самарской), Краснодарского края, ряда республик Северного Кавказа (кроме Северной Осетии, где имеет место небольшое сокращение), а также для Республик Алтай и Саха (Якутия), Ямало-Ненецкого автономного округа. В перечисленных республиках рост обусловлен естественным приростом населения и/или наличием накопленного ранее демографического потенциала, в остальных регионах — положительным межрегиональным сальдо миграции. Наиболее высокие темпы сокращения численности сельского населения характерны для Севера Европейской части страны, некоторых областей на Дальнем Востоке и Южного Урала.

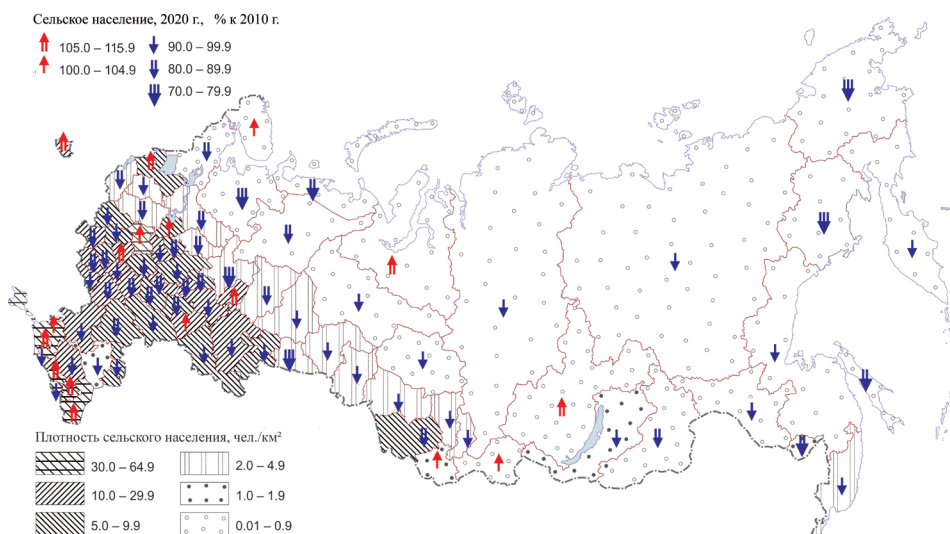


Рис. 2. Различия регионов РФ по плотности и динамике численности сельского населения

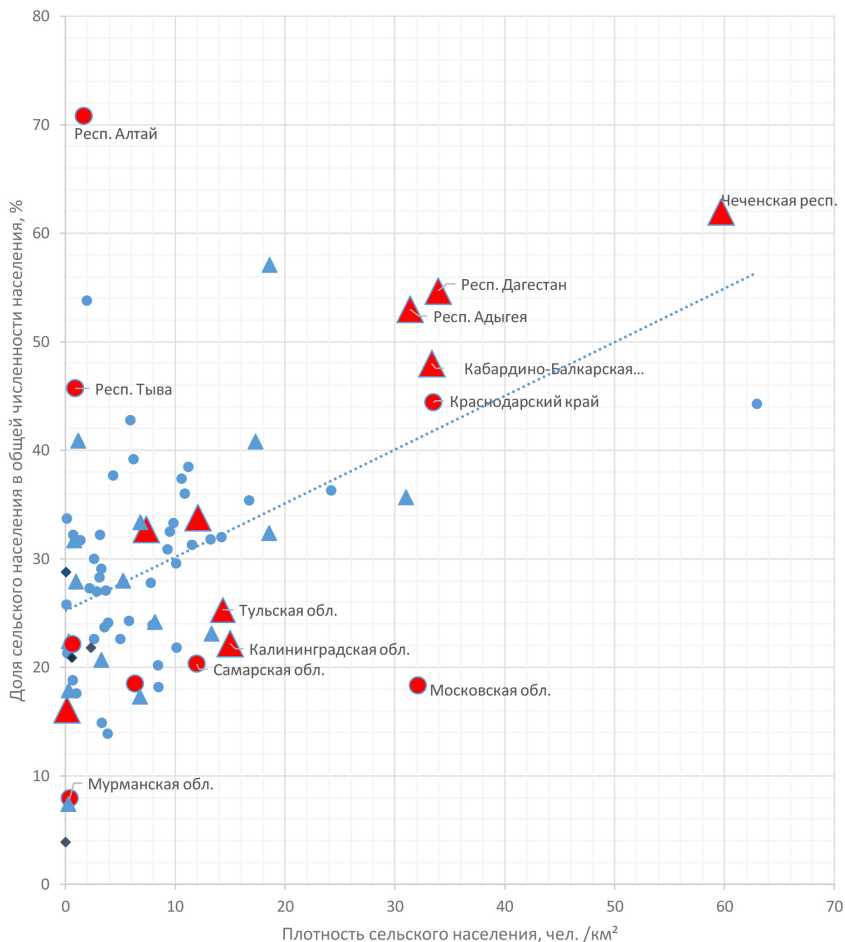
Составлено на основе данных [10; 11].

Рисунок 3 иллюстрирует сокращение числа жителей на селе в большинстве регионов, для которых характерны средние для РФ показатели плотности сельского населения при различных уровнях урбанизированности территории¹. Сокращение происходит за счет оттока жителей из села в город, межрегионального перераспределения населения и вследствие специфики возрастной структуры.

В регионах с наиболее высокой плотностью и долей сельского населения его численность обычно возрастает (южные субъекты РФ в правой верхней части рисунка 3). Из регионов с низкой плотностью, но с высокой долей сельского населения число жителей увеличивается в Республиках Алтай и Саха (Якутия).

Среди высокоурбанизированных, достаточно плотно заселенных регионов благодаря процессу субурбанизации особенно быстро растет сельское население в Московской и Ленинградской областях, увеличивается оно также в Калининградской, Самарской областях и Удмуртии.

¹ Отметим также наличие прямой корреляционной связи между плотностью сельского населения и его долей в общей численности населения, что показывает показанная на рисунке 3 линия тренда.



Условные знаки	Численность сельского населения, 2020 г., % к 2010 г.	Условные знаки	Численность сельского населения, 2020 г., % к 2010 г.
	105,0—119,9		95,0—99,9
	100,0—104,9		80,0—94,9
			70,0—79,9

Рис. 3. Распределение российских регионов по некоторым показателям уровня и темпов развития сельского хозяйства в среднем за 2015—2019 гг., % к среднему по РФ

Составлено на основе данных [10; 11].

Связь динамики численности сельского населения с территориальными особенностями сельского хозяйства

Прямая видимая связь между изменениями удельного веса регионов в производстве продукции сельского хозяйства и динамикой численности их сельского населения отсутствует (рис. 4). То есть нельзя утверждать, что отток населения из села закономерным образом отрицательно сказывается на объемах производства продукции сельского хозяйства. Иначе говоря, субъекты РФ с близкими показателями роста или снижения числа жителей на селе могут иметь и сходные, и различающиеся показатели динамики сельхозпроизводства.

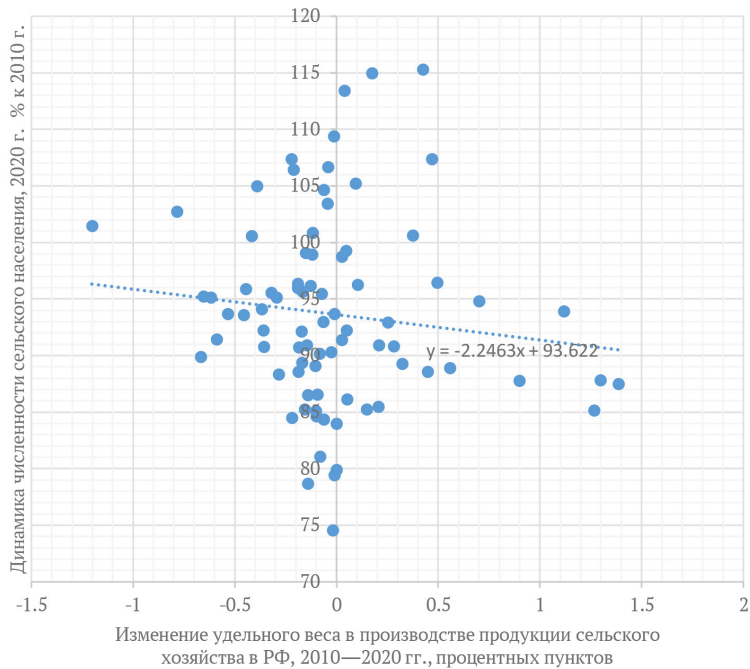


Рис. 4. Распределение регионов РФ по изменению удельного веса в производстве продукции сельского хозяйства и динамике численности сельского населения

Составлено на основе данных: [10; 11].

Таблица 3 представляет собой группировку субъектов РФ по двум этим показателям. Как можно заметить, лишь часть регионов с растущей численностью населения увеличила свой удельный вес в производстве продукции сельского хозяйства Российской Федерацией, а удельный вес таких экономически развитых областей с растущим населением, как Московская и Ленинградская, а также Краснодарского края с особенно благоприятными условиями ведения сельского хозяйства сократился. В то же время увеличилась доля других областей, расположенных на юго-западе Европейской части страны, в зоне черноземных почв, обладающих благоприятными природными условиями и лидирующих по душевому производству сельхозпродукции на 1 сельского жителя, несмотря на сокращение численности их населения (рис. 5). Доля некоторых хорошо освоенных в сельскохозяйственном отношении и плотно заселенных южных республик Северного Кавказа сократилась.

Таблица 3

Распределение регионов РФ по изменению удельного веса в производстве продукции сельского хозяйства и динамике численности сельского населения

(1)*	Численность сельского населения, 2020 г., % к 2010 г.			
	70,0—79,9	80,0—89,9	90,0—99,9	100,0—115,9
0,50—1,39	—	Курская, Воронежская, Тамбовская, Пензенская, Орловская области	Белгородская, Липецкая, Ростовская области	—

Окончание табл. 3

(1)*	Численность сельского населения, 2020 г., % к 2010 г.			
	70,0—79,9	80,0—89,9	90,0—99,9	100,0—115,9
0,20—0,49	—	Ульяновская, Волгоградская, Брянская области	Рязанская, Оренбургская, Саратовская области	Республика Дагестан, Тульская, Самарская области
0,0—0,19	Чукотский автономный округ	Республики Мордовия, Марий Эл, Ненецкий автономный округ	Республики Татарстан, Ингушетия, Астраханская, Амурская, Калужская области	Чеченская Республика, Республика Адыгея, Ленинградская область
–0,09— –0,01	Архангельская, Магаданская области	Ненецкий автономный округ, Тверская, Сахалинская, области, Республика Карелия	Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Камчатский край, Республики Хакасия, Калмыкия, Новгородская область	Ямало-Ненецкий автономный округ, Кабардино-Балкарская Республика, Республики Алтай, Тыва
–0,19— –0,10	Кировская область	Псковская, Ивановская, Вологодская, Курганская области, Еврейская автономная область, Чувашская Республика, Республика Коми	Республики Бурятия, Северная Осетия — Алания, Карачаево-Черкесская Республика, Приморский, Забайкальский края, Смоленская, Томская, Нижегородская, Владимирская области	Ярославская область
–1,3— –0,21	—	Костромская область, Алтайский край	Кемеровская, Омская, Свердловская, Тюменская, Челябинская, Новосибирская области, Республика Башкортостан, Пермский, Красноярский, Хабаровский, Ставропольский края, Республика Саха (Якутия)	Мурманская, Московская, Иркутская, Калининградская области, Удмуртская Республика, Краснодарский край

Примечание: (1*) — изменение удельного веса в производстве продукции сельского хозяйства РФ, 2010—2020 гг.

Составлено на основе данных [10; 11].

Общей тенденцией является концентрация объемов производства продукции сельского хозяйства в регионах с более высоким уровнем душевого производства (рис. 5).

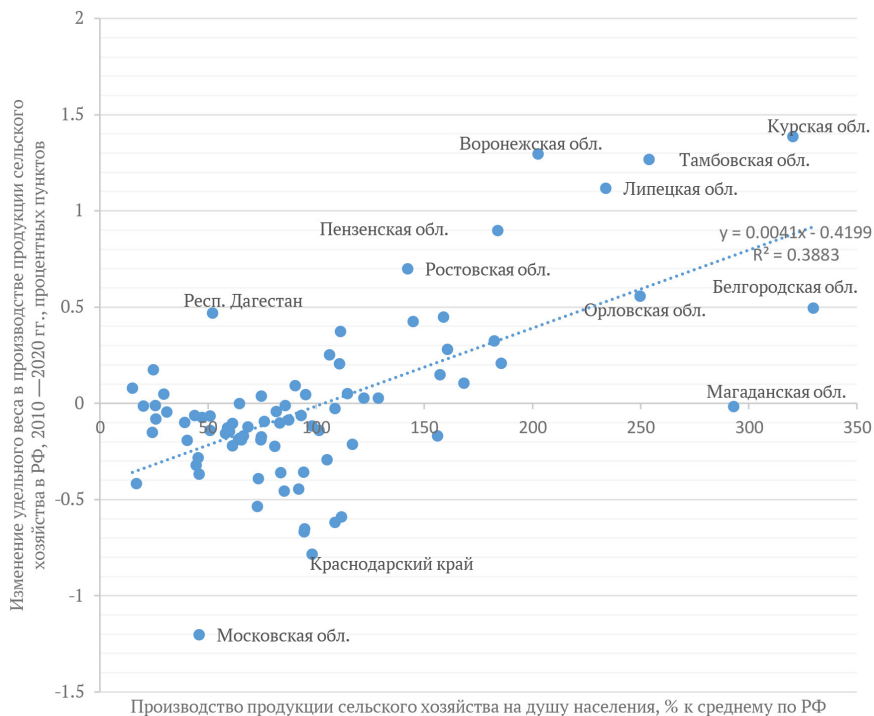


Рис. 5. Распределение регионов по уровню (в расчете на душу населения) и динамике производства продукции сельского хозяйства

Составлено на основе данных [10; 11].

Наиболее высокими темпами роста сельскохозяйственного производства отличаются области Черноземного Центра (поскольку их удельный вес в РФ возрастает быстрее, чем в других регионах) с самыми высокими показателями душевого производства, расположенные в правой верхней части рисунка 5. В левом нижнем углу находятся субъекты РФ с наиболее низкими показателями и душевого производства, и его динамики. Это Московская область (в связи с несельскохозяйственной занятостью подавляющей части населения) и преимущественно северные и восточные регионы.

На рисунке 6 отчетливо видно, что удельный вес подавляющего большинства расположенных на севере и востоке страны субъектов РФ в общероссийском производстве продукции сельского хозяйства за 2010—2019 гг. снизился. Большинство этих регионов имеет более низкие показатели производства продукции на душу населения и на 1 занятого по сравнению со средними по стране. Но и там, где оба показателя сравнительно высоки, производство росло медленнее, чем в среднем по РФ. Везде на севере и востоке страны численность сельского населения сокращается, кроме Республик Саха (Якутия) и Алтай (где сравнительно высок демографический потенциал из-за повышенного уровня рождаемости), а также Ямало-Ненецкого автономного округа (где число занятых в сельском хозяйстве составляет всего 9% от численности сельского населения — самый низкий в стране показатель).

Сократился удельный вес в производстве сельхозпродукции некоторых южных регионов с ростом численности сельского населения. В большинстве областей Нечерноземной зоны снижение удельного веса в производстве происходит на фоне интенсивного сокращения численности сельского населения.

Наиболее значительный рост удельного веса производства продукции сельского хозяйства, помимо черноземных регионов, имеет место в некоторых соседних областях. Все эти регионы обладают высокими показателями душевого производства сельхозпродукции, и во всех них сельское население уменьшается.

Доля регионов в общероссийском производстве сельскохозяйственной продукции увеличилась также в других сравнительно благоприятных для ведения сельского хозяйства регионах. Это регионы Среднего и Южного Поволжья, Южного Урала, юга Центрального района, Калининградская и Псковская области.

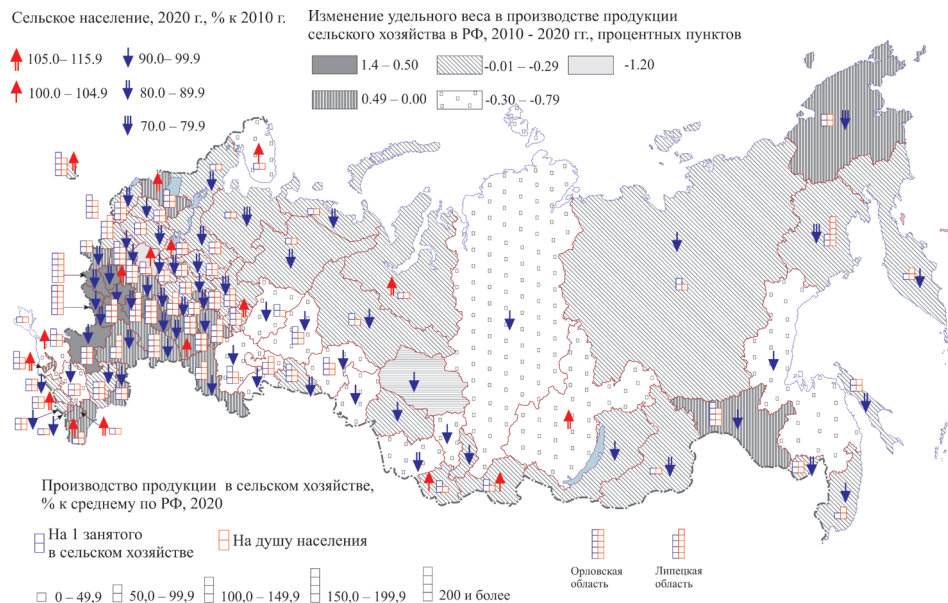


Рис. 6. Некоторые показатели развития сельскохозяйственного производства и динамика численности сельского населения регионов России

Составлено на основе данных [10; 11].

Исходя из характера динамики численности сельского населения, особенностей его расселения и показателей развития сельскохозяйственного производства была произведена группировка субъектов РФ и выделены семь групп.

В три первые группы регионов отнесены 15 субъектов РФ с растущей численностью сельского населения (табл. 4). Они существенно различаются между собой как по соотношению естественного и миграционного движения в динамике общей численности населения, так и по показателям расселения и особенностям развития сельскохозяйственного производства. Остановимся подробнее на их характеристике.

Таблица 4

Регионы с возросшей численностью сельского населения (2010 – 2020)

Регион (17)	Показатель*							
	1	2	3	4	5	6	7	8
В среднем по РФ	98,5	2,2	25,3	241,9	100	100	12,3	100
<i>1</i>								
1.А. Московская область	101,4	32,1	18,5	243,9	88,4	45,8	6,4	-1,20
1.А. Ленинградская область	105,2	7,4	32,7	214,9	108,3	90,2	10,2	-0,46
1.Б. Калининградская область	106,4	15,0	22,3	210,6	150,8	116,7	9,5	0,07

Окончание табл. 4

Регион (17)	Показатель*							
	1	2	3	4	5	6	7	8
2.1								
2.1.А. Тульская область	115,3	14,3	25,2	106,6	171,9	144,8	10,4	0,43
2.1.Б. Удмуртская Республика	107,4	12,0	33,8	259,2	130,3	80,8	7,6	-0,23
2.1.Б. Ярославская область	100,9	6,4	18,4	38,2	68,3	98,1	17,7	-0,10
2.2								
Самарская область	100,6	12,0	20,2	489,9	107,9	111,2	12,7	0,38
2.3								
Краснодарский край	102,7	33,5	44,5	1465,4	136,4	98,1	8,8	-0,78
Республика Адыгея	113,4	31,4	52,8	1073,3	131,9	74,5	6,9	0,04
3								
Республика Дагестан	107,4	33,9	54,7	1065,1	48,4	52,0	13,2	0,47
Кабардино-Балкарская республика	106,7	33,3	48,0	2422,6	58,6	81,4	17,1	-0,04
Чеченская республика	114,9	59,7	62,5	2607,3	25,9	24,5	11,6	0,17
4.1								
Республика Алтай	104,7	1,7	70,8	634,5	64,0	43,8	8,4	-0,06
Республика Тыва	103,4	0,9	45,7	1043,5	84,8	30,8	4,5	-0,05
4.2								
Ямало-Ненецкий автономный округ	109,4	0,1	16,1	1109,5	37,7	20,1	6,6	-0,01
Иркутская область	105,0	0,7	22,1	358,0	68,7	73,3	13,1	-0,4
Мурманская область	100,6	0,4	7,8	530,6	11,9	16,9	17,5	-0,42

Примечание: * — наименования показателей:

- 1 — динамика численности сельского населения, 2020 г., % к 2010 г.;
- 2 — плотность сельского населения, 2020 г., чел. на км²;
- 3 — доля сельского населения в общей численности, 2020 г., %;
- 4 — средняя людность сельских населенных пунктов, 2020 г., чел.;
- 5 — производство продукции на 1 занятого в сельском хозяйстве, в среднем за 2020 г., % к среднему по РФ;
- 6 — производство продукции сельского хозяйства на душу населения, в среднем за 2020 г., % к среднему по РФ;
- 7 — отношение числа занятых в сельском хозяйстве к численности сельского населения, 2020 г., %;
- 8 — изменение удельного веса в производстве продукции сельского хозяйства в РФ, 2010—2020 г., процентных пунктов.

Составлено на основе данных [10; 11].

Тип 1 представлен двумя пристоличными областями и Калининградской областью с ростом численности сельского населения благодаря развивающейся субурбанизации, с близкими к средним по стране или пониженными темпами роста сельскохозяйственного производства.

В составе типа 2 (включающего хорошо освоенные регионы средней полосы России с увеличением численности сельского населения) выделены три подтипа:

2.1 — высокоурбанизированные индустриально-аграрные регионы Нечерноземья с увеличением численности сельского населения за счет административных преобразований городских населенных пунктов в сельские, с более высокими (2.1.А) или пониженными (2.1.Б) темпами роста сельскохозяйственного производства;

2.2 — Самарская область, отличающаяся крупноселенным сельским расселением (как это и характерно для более южных черноземных регионов). Производство продукции на 1 занятого и на душу населения здесь выше среднего по РФ уровня. Доля области в производстве продукции возросла;

2.3 — Краснодарский край и Республика Адыгея, которые характеризуются крупноселенным сельским расселением и высокой плотностью сельского населения, его относительно высокой долей в общей численности населения. Показатели производства продукции на 1 занятого выше средних. Доля этих регионов в производстве продукции сократилась (Краснодарский край) или стабильна (Республика Адыгея).

Тип 3 включает республики Северного Кавказа с наиболее высокой долей и плотностью сельского населения, отличающиеся крупноселенностью. Производство продукции на 1 занятого здесь ниже среднего по РФ уровня. Увеличение численности сельского населения обусловлено высоким демографическим потенциалом, повышенным уровнем рождаемости при пониженном уровне смертности (с превышением среднего по РФ уровня продолжительности жизни). Рост доли в общероссийском производстве сельхозпродукции имеет место в Дагестане и Чечне.

В тип 4 входят малонаселенные восточные регионы с крупноселенным сельским расселением, высоким удельным весом сельского населения в подтипе 4.1 и низким — в подтипе 4.2. Это регионы, неблагоприятные для ведения сельскохозяйственной деятельности; отношение числа занятых в сельском хозяйстве к численности сельского населения низкое (особенно в подтипе 4.2). Производство сельскохозяйственной продукции на 1 занятого и на душу населения ниже среднего по РФ.

Таблицы 5—7 отражают характеристики регионов, в которых численность сельского населения сократилась. Среди них выделены типы и подтипы, различающиеся по тем же показателям, что приведены в таблице 4.

Таблица 5

Регионы с сокращением до 10 % численности сельского населения (2010—2020)

Регион (36)	Показатель*							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<i>5</i>								
Республика Северная Осетия — Алания	96,0	31,0	35,7	1153,6	92,3	74,4	9,9	-0,19
Карачаево-Черкесская Республика	98,9	18,6	57,1	1940,2	96,1	68,3	8,7	-0,12
Республика Ингушетия	92,2	63,0	44,3	1937,0	26,5	29,4	13,7	0,05
<i>6.1</i>								
Ставропольский край	95,9	17,3	40,9	1558,7	71,4	91,9	15,8	-0,45
Астраханская область	99,3	6,8	33,4	797,6	66,3	95,1	17,6	0,05
<i>6.2</i>								
Белгородская область	96,5	18,5	32,5	319,0	203,4	329,8	19,9	0,50
Липецкая область	93,9	16,7	35,4	250,5	197,1	233,8	14,6	1,12
Республика Татарстан	96,3	13,3	23,1	292,5	130,5	168,2	15,8	0,10
Ростовская область	94,8	13,2	31,8	588,2	108,4	142,2	16,1	0,70
Рязанская область	90,8	7,7	27,8	111,6	229,2	160,7	8,6	0,28
Калужская область	98,8	8,1	24,2	76,0	158,3	128,7	10,0	0,03
Саратовская область	90,9	5,8	24,3	329,8	163,0	185,4	14,0	0,21
Оренбургская область	92,9	6,2	39,3	448,2	89,0	106,0	14,6	0,25
<i>7.1</i>								
Республика Башкортостан	93,7	10,6	37,5	332,7	123,5	72,8	7,2	-0,53
Тюменская область без АО	93,6	3,1	32,4	405,1	129,2	85,1	8,1	-0,46
<i>7.2</i>								
Челябинская область	95,1	6,8	17,3	479,6	91,4	108,7	14,6	-0,62
Новосибирская область	95,2	3,3	20,8	383,2	106,7	105,0	12,1	-0,29
<i>7.3</i>								
Владимирская область	90,7	10,1	21,8	118,0	76,4	64,0	10,3	-0,19
Нижегородская область	92,1	8,4	20,3	135,7	99,2	74,5	9,2	-0,17
Смоленская область	96,2	5,2	28,1	53,7	87,5	58,8	8,3	-0,13
Новгородская область	90,2	3,1	28,4	45,6	91,4	87,2	11,7	-0,08

Окончание табл. 5

Регион (36)	Показатель*							
	1	2	3	4	5	6	7	8
8.1								
Томская область	95,7	0,9	27,8	522,4	104,2	66,4	7,8	-0,17
Камчатский край	93,7	0,1	21,4	826,5	43,2	85,7	24,4	-0,01
Красноярский край	95,2	0,3	22,4	384,3	78,0	94,6	14,9	-0,65
Ханты-Мансийский АО	95,4	0,2	7,4	811,7	55,6	47,2	10,4	-0,07
Республика Якутия (Саха)	96,3	0,1	33,8	576,1	57,7	46,0	9,8	-0,28
Хабаровский край	95,5	0,3	17,9	568,5	45,8	44,4	11,9	-0,32
Приморский край	90,9	2,6	22,6	687,2	39,1	59,8	18,8	-0,15
Амурская область	91,4	0,7	32,2	420,5	167,4	122,0	9,0	0,03
8.2								
Республика Хакасия	93,0	2,6	30,1	592,3	78,0	50,8	8,0	-0,07
Республика Бурятия	99,1	1,1	40,8	654,3	46,7	24,3	6,4	-0,15
Пермский край	94,1	3,9	24,1	174,4	74,1	45,8	7,6	-0,37
Омская область	91,4	3,7	27,1	352,5	69,1	111,7	19,9	-0,59
Кемеровская область	90,8	3,9	13,9	346,3	132,6	94,1	8,7	-0,36
Свердловская область	92,2	3,3	14,9	362,9	123,7	83,4	8,3	-0,36
Республика Калмыкия	90,3	2,0	54,0	557,3	106,3	108,6	12,6	-0,03

Примечание: * — наименование показателей см. в таблице 4.

Составлено на основе данных [10; 11].

В таблице 5 представлены типы 5—9 регионов, в которых за 2010—2020 гг. сельское население сократилось менее чем на 10 %.

Республики Северного Кавказа (тип 5) по сравнению со средними по РФ показателями являются менее урбанизированными регионами с высокой плотностью сельского населения и крупноселенным расселением. Производство продукции на 1 занятого и на душу населения ниже среднероссийского показателя.

Регионы типа 6 также имеют повышенную долю и плотность сельского населения. Для них тоже характерно крупноселенное сельское расселение. Производство продукции на 1 занятого в подтипе 6.1 ниже среднего по РФ, а в подтипе 6.2 — выше. Выше среднероссийского уровня и производство сельскохозяйственной продукции на душу населения, и темпы роста производства в регионах этого типа.

Регионы типа 7, наоборот, отличаются более низкими темпами роста производства продукции сельского хозяйства: за 2010—2020 гг. их доля в общероссийском производстве снизилась. Относящиеся к подтипу 7.1 субъекты менее урбанизированы, им (и подтипу 7.2) свойственно крупноселенное сельское расселение. Показатели душевого производства сельхозпродукции и производства на 1 занятого относительно высоки. В регионах подтипов 7.2 и 7.3 уровень урбанизации выше, уровень производства продукции на 1 занятого и на душу населения ниже. Для подтипа 7.3. характерна мелкоселенность.

Регионы типа 8 характеризуются низкой плотностью населения. Производство продукции на 1 занятого и на душу населения ниже среднероссийского показателя (исключение — Омская и Кемеровская области), и темпы роста производства в регионах этого типа также ниже среднероссийских (за исключением Амурской области).

Типы регионов с сокращением в 2010—2020 гг. численности населения на 10—20 % представлены в таблице 6. Среди них только Чувашская Республика (тип 10) относится к наиболее освоенным в аграрном отношении регионам России — плотность сельского населения здесь более 24 чел. на км², а доля сельского населения —

36,6%. Однако показатели производства продукции в расчете на 1 занятого и на душу населения здесь ниже средних по РФ. Доля региона в производстве продукции сельского хозяйства снизилась. Снизилась она и в регионах типов 12, 13 (кроме Псковской области — 13.1) и 14. Наиболее высокие темпы роста производства были характерны для подтипа 11.1, регионы которого относятся к числу наиболее развитых в аграрном отношении, с более высокими показателями производства продукции на 1 занятого и на душу населения по сравнению со средними по РФ. Однако соотношение числа занятых в сельском хозяйстве и численности сельского населения выше в подтипе 11.2, где доля регионов в производстве продукции также увеличилась. В то же время регионы этого подтипа имеют более низкие показатели производства продукции на 1 занятого по сравнению с подтипом 11.1 и со среднероссийским уровнем.

Таблица 6

Регионы с сокращением на 10—20% численности сельского населения (2010—2020)

Регион (24)	Показатель*							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<i>10</i>								
Чувашская Республика	85,3	24,2	36,5	257,2	68,0	58,1	10,5	-0,16
<i>11.1</i>								
Пензенская область	87,8	9,3	31,0	290,6	163,2	183,8	13,8	0,90
Брянская область	88,6	10,1	29,6	134,8	142,6	158,7	13,7	0,45
Курская область	87,5	11,5	31,4	124,6	232,2	320,4	17,0	1,39
Орловская область	88,9	9,8	33,3	83,0	280,6	249,8	10,9	0,56
Воронежская область	87,8	14,2	32,0	436,5	141,6	202,6	17,6	1,30
Тамбовская область	85,1	11,2	38,5	248,0	124,2	253,7	25,1	1,27
<i>11.2</i>								
Республика Марий Эл	86,1	9,5	32,7	138,9	116,9	114,4	12,0	0,05
Республика Мордовия	85,2	10,8	36,1	228,7	77,4	157,2	24,9	0,15
Ульяновская область	85,5	7,9	24,0	303,0	103,9	110,7	13,1	0,21
Волгоградская область	89,3	5,0	22,6	385,7	91,7	182,4	24,4	0,32
<i>12.1</i>								
Алтайский край	89,9	5,9	42,9	624,1	102,9	94,4	11,3	-0,67
Курганская область	85,1	4,3	37,7	254,6	111,4	83,2	9,2	-0,10
<i>13.1</i>								
Псковская область	89,4	3,3	29,1	21,7	118,6	156,0	16,2	-0,17
<i>13.2</i>								
Костромская область	84,5	2,8	27,1	49,6	88,0	61,2	8,6	-0,22
Вологодская область	88,6	2,2	27,3	40,2	71,0	65,3	11,3	-0,19
Тверская область	86,6	3,5	23,8	31,3	63,7	75,9	14,6	-0,09
Ивановская область	89,1	8,5	18,2	60,0	87,1	61,2	8,6	-0,10
Кировская область	78,7	2,3	22,0	66,1	68,7	101,3	18,1	-0,14
<i>14</i>								
Забайкальский край	88,3	0,8	31,7	399,1	45,9	40,2	10,6	-0,19
Сахалинская область	84,4	1,0	17,6	384,5	60,2	92,9	19,0	-0,06
Еврейская автономная область	86,5	1,4	31,5	501,3	64,6	50,8	9,7	-0,14
Республика Коми	84,6	0,4	21,7	247,4	49,0	39,1	9,8	-0,10
Республика Карелия	81,1	0,6	18,9	140,8	27,6	25,8	11,5	-0,08

Примечание: * — наименование показателей см. в таблице 4.

Составлено на основе данных [10; 11].

Таблица 7 включает северные и восточные регионы с низкой плотностью сельского населения и близкой к средней по стране динамикой сельскохозяйственного производства.

Таблица 7

Регионы с сокращением на 20—30 % численности сельского населения (2010—2020)

Регион (3)	Показатель*							
	1	2	3	4	5	6	7	8
15								
Чукотский автономный округ	79,9	0,1	28,7	376,3	61,9	64,5	12,8	0,00
Ненецкий автономный округ	84,0	0,2	26,0	280,7	43,1	38,6	11,0	-0,01
Магаданская область	74,6	0,3	3,9	116,3	82,1	293,0	43,9	-0,02

Примечание: * — наименование показателей см. в таблице 4.

Составлено на основе данных [10; 11].

Заключение

Для России характерно сокращение численности сельского населения. И сельскохозяйственное производство, и сельское население под влиянием объективных экономических закономерностей, связанных с выгодами эффекта концентрации, сосредоточивается в более благоприятных в природном и социально-экономическом отношении южных и пристоличных регионах. Специфика изменений пространственной организации производства и расселения неодинакова в регионах разных социально-экономических типов, со своими особенностями пространственной организации аграрного производства и сельского расселения.

Работа выполнена в рамках гранта РФФИ № 20-55-76003 «Социальные инновации и повышение ценности местности в сельских регионах».

Список литературы

- Li, Y., Fan, P., Liu, Y. 2019, What makes better village development in traditional agricultural areas of China? Evidence from long-term observation of typical villages, *Habitat International*, vol. 83, p. 111—124, <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2018.11.006>.
- Isserman, A. M., Feser, E., Warren, D. E. 2009, Why Some Rural Places Prosper and Others Do Not. *International Regional Science Review*, vol. 32, №3, p. 300—342, <https://doi.org/10.1177/0160017609336090>.
- Johnson, K. M., Lichter, D. T. 2019, Rural Depopulation: Growth and Decline Processes over the Past Century, *Rural Sociology*, vol. 84, №1, p. 3—27, <https://doi.org/10.1111/ruso.12266>.
- Pîrvu, R., Bădîrcea, R. M., Doran, N. M. et al. 2022, Linking Internal Mobility, Regional Development and Economic Structural Changes in Romania, *Sustainability*, vol. 14, 7258, <https://doi.org/10.3390/su14127258>.
- Lupi, C., Giaccio, V., Mastronardi, L. et al. 2017, Exploring the features of agritourism and its contribution to rural development in Italy, *Land Use Policy*, vol. 64, p. 383—390, <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.03.002>.
- Nefedova, T. G. 2021, Polarization of the social-economic space and prospects of rural areas in the old-developed regions of central Russia, *Russian Peasant Studies*, vol. 6, №1, p. 126—153, <https://doi.org/10.22394/2500-1809-2021-6-1-126-153>.
- Nefedova, T. G. 2021, Major trends for changes in the socioeconomic space of rural Russia, *Regional Research of Russia*, vol. 2, №1, p. 41—54, <https://doi.org/10.1134/S2079970512010078>.
- The New Rural Paradigm: Policies and Governance, OECD, 2006, URL: <https://www.oecd.org/regional/regional-policy/thenewruralparadigmpoliciesandgovernance.htm> (дата обращения: 11.02.2022).

9. Костяев, А.И. 2020, К вопросу о научных основах разработки стратегий развития сельских территорий, *Аграрная наука Евро-Северо-Востока*, № 4, с. 462–474, <https://doi.org/10.30766/2072-9081.2020.21.4.462-474>.

10. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2021, Росстат, М., 2020. 1112 с.

11. Официальные статистические показатели, 2022, ЕМИС. Государственная статистика, URL: <https://fedstat.ru/> (дата обращения: 06.04.2022).

Об авторе

Татьяна Юрьевна Кузнецова, кандидат географических наук, ведущий научный сотрудник, Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Россия.

E-mail: TKuznetsova@kantiana.ru

<https://orcid.org/0000-0002-1523-2280>



ПРЕДСТАВЛЕНО ДЛЯ ВОЗМОЖНОЙ ПУБЛИКАЦИИ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ЛИЦЕНЗИИ CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION (CC BY) ([HTTP://creativecommons.org/licenses/by/4.0/](http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/))

INTER-REGIONAL DISPARITIES IN AGRICULTURE AND RURAL POPULATION CHANGE IN RUSSIA

T. Yu. Kuznetsova 

Immanuel Kant Baltic Federal University
14, A. Nevskogo St., Kaliningrad, 236016, Russia

Received 08.06.2022
doi: 10.5922/2079-8555-2022-4-10
© Kuznetsova, T. Yu., 2022

The article presents data reflecting the territorial peculiarities of rural population dynamics and shows their dependence on external factors (primarily, the development of agriculture). The database includes 14 indicators of the regional spatial differentiation of rural population development in Russia between 2010–2020. A typology of regions based on eight economic and ecological parameters is provided. The dataset covers the statistical indicators of 85 Russian regions from 2010 to 2020, published by the Federal State Statistics Service and the Unified Interdepartmental Information and Statistics System. The results are presented in seven tables and six maps. The dataset can be used by federal and regional authorities elaborating science-based rural development programmes and strategies, as well as experts on rural development.

Keywords:

rural settlement, production dynamics, inter-regional disparities, typology of regions, Russian Federation

References

1. Li, Y., Fan, P., Liu, Y. 2019, What makes better village development in traditional agricultural areas of China? Evidence from long-term observation of typical villages, *Habitat International*, vol. 83, p. 111–124, <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2018.11.006>.

2. Isserman, A. M., Feser, E., Warren, D.E. 2009, Why Some Rural Places Prosper and Others Do Not. *International Regional Science Review*, vol. 32, № 3, p. 300–342, <https://doi.org/10.1177/0160017609336090>.

To cite this article: Kuznetsova, T. Yu. 2022, Inter-regional disparities in agriculture and rural population change in Russia, *Balt. Reg.*, Vol. 14, № 4, p. 162–181. doi: 10.5922/2079-8555-2022-4-10.

3. Johnson, K. M., Lichter, D. T. 2019, Rural Depopulation: Growth and Decline Processes over the Past Century, *Rural Sociology*, vol. 84, № 1, p. 3–27, <https://doi.org/10.1111/ruso.12266>.
4. Pîrvu, R., Bădîrcea, R. M., Doran, N. M. et al. 2022, Linking Internal Mobility, Regional Development and Economic Structural Changes in Romania, *Sustainability*, vol. 14, 7258, <https://doi.org/10.3390/su14127258>.
5. Lupi, C., Giaccio, V., Mastronardi, L., Giannelli, A., Scardera, A. 2017, Exploring the features of agritourism and its contribution to rural development in Italy, *Land Use Policy*, vol. 64, p. 383–390, <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.03.002>.
6. Nefedova, T. G. 2021, Polarization of the social-economic space and prospects of rural areas in the old-developed regions of central Russia, *Russian Peasant Studies*, vol. 6, № 1, p. 126–153, <https://doi.org/10.22394/2500-1809-2021-6-1-126-153>.
7. Nefedova, T. G. 2021, Major trends for changes in the socioeconomic space of rural Russia, *Regional Research of Russia*, 2012, vol. 2, № 1, p. 41–54, <https://doi.org/10.1134/S2079970512010078>.
8. The New Rural Paradigm: Policies and Governance, OECD, 2006, URL: <https://www.oecd.org/regional/regional-policy/thenewruralparadigmpoliciesandgovernance.htm> (accessed 11.02.2022).
9. Kostyaev, A. I. 2020, On the scientific basis for developing rural development strategies, *Agricultural Science Euro-North-East*, № 4, p. 462–474, <https://doi.org/10.30766/2072-9081.2020.21.4.462-474>.
10. Russian regions. Socio-economic indicators. 2021, 2021, Moscow: Rosstat, 1112 p.
11. Official statistics, 2022, EMIS, URL: <https://fedstat.ru/> (accessed 01.06.2022).

The author

Dr Tatyana Yu. Kuznetsova, Leading Research Fellow, Immanuel Kant Baltic Federal University, Russia.

E-mail: TIKuznetsova@kantiana.ru

<https://orcid.org/0000-0002-1523-2280>



SUBMITTED FOR POSSIBLE OPEN ACCESS PUBLICATION UNDER THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION (CC BY) LICENSE ([HTTP://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BY/4.0/](http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/))

ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ СТАТЕЙ В ЖУРНАЛЕ «БАЛТИЙСКИЙ РЕГИОН»

Правила публикации статей в журнале

1. Представляемая для публикации статья должна быть актуальной, обладать новизной, содержать постановку задач (проблем), описание основных результатов исследования, полученных автором, выводы, а также соответствовать правилам оформления.

2. Материал, предлагаемый для публикации, должен быть оригинальным, не публиковавшимся ранее в других печатных изданиях. При отправке рукописи в редакцию журнала автор автоматически принимает на себя обязательство не публиковать ее ни полностью, ни частично в каком-либо издании без согласия редакции.

3. Все присланные в редакцию работы проходят **двойное «слепое» рецензирование**, а также проверку системой «Антиплагиат», по результатам которых принимается решение о возможности включения статьи в журнал.

4. Плата за публикацию рукописей не взимается.

5. Статья направляется в редакцию журнала выпускающему редактору Татьяне Юрьевне Кузнецовой по e-mail: tikuznetsova@kantiana.ru или tikuznetsova@gmail.com

6. Решение о публикации (или отклонении) статьи принимается редакционной коллегией журнала после ее рецензирования и обсуждения.

Комплектность и форма представления авторских материалов

Статья должна содержать следующие элементы:

1) название статьи на русском и английском языках (*до 12 слов*);
2) аннотацию на русском и английском языках (*150–250 слов*), оформленную в соответствии с международными стандартами и включающую:

- актуальность исследования;
- цель научного исследования;
- описание методологии исследования;
- основные результаты, выводы исследовательской работы.

В аннотации не должен повторяться текст самой статьи (нельзя брать предложения из статьи и переносить их в аннотацию), а также ее название. В ней не должно быть цифр, таблиц, внутритекстовых сносок и т. д.;

3) ключевые слова на русском и английском языках (*4–8 слов*);
4) список литературы (*не менее 30 источников*);
5) пристатейные библиографические списки оформляются **на языке оригинала** (в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5. — 2008) и **на латинице** (в соответствии с Harvard System of Referencing Guide);

6) сведения об авторах на русском и английском языках (Ф. И. О. полностью, ученые степени, звания, должность, место работы (организация, город, страна), почтовый адрес, e-mail, ORCID);

7) сведения о языке текста, с которого переведен публикуемый материал.

Общие правила оформления текста

Авторские материалы должны быть подготовлены **в электронной форме** в формате листа А4 (210 × 297 мм).

Все текстовые авторские материалы принимаются исключительно в формате *doc* и *docx* (Microsoft Office).

Подробная информация о правилах оформления текста, в том числе таблиц, рисунков, ссылок и списка литературы, размещена на сайте <https://balticregioneditorial.kantiana.ru/jour/>

BALTIC REGION

2022
Volume 14
№ 4

Kaliningrad :
I. Kant Baltic Federal
University Press, 2022.
185 p.

The journal
was established in 2009

Frequency:
quarterly
in the Russian and English
languages per year

Founders
Immanuel Kant Baltic
Federal University
Saint Petersburg
State University

Editorial Office
Address:
14 A. Nevskogo St.,
Kaliningrad, Russia, 236016

Managing editor:
Tatyana Kuznetsova
tikuznetsova@kantiana.ru
Tel.: +7 4012 59-55-43
Fax: +7 4012 46-63-13
www.journals.kantiana.ru

© I. Kant Baltic Federal
University, 2022

Editorial council

Prof. **Andrei P. Klemeshev**, Immanuel Kant Baltic Federal University, Russia (Editor in Chief); Prof. **Gennady M. Fedorov**, Immanuel Kant Baltic Federal University, Russia (Deputy Chief Editor); Prof. Dr **Joachim von Braun**, University of Bonn, Germany; Prof. **Irina M. Busygina**, Saint Petersburg Branch of the Higher School of Economic Research University, Russia; Prof. **Aleksander G. Druzhinin**, Southern Federal University, Russia; Prof. **Mikhail V. Ilyin**, Moscow State Institute of International Relations (MGIMO University), Russia; Dr **Pertti Joenniemi**, University of Eastern Finland, Finland; Dr **Nikolai V. Kaledin**, Saint Petersburg State University, Russia; Prof. **Konstantin K. Khudolei**, Saint Petersburg State University, Russia; Prof. **Frederic Lebaron**, Ecole normale superieure Paris-Saclay, France; Prof. **Vladimir A. Kolosov**, Institute of Geography, Russian Academy of Sciences, Russia; Prof. **Gennady V. Kretinin**, Immanuel Kant Baltic Federal University, Russia; Prof. **Vladimir A. Mau**, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Russia; Prof. **Andrei Yu. Melville**, National Research University — Higher School of Economics, Russia; Prof. **Nikolai M. Mezhevich**, Institute of Europe, Russian Academy of Sciences, Russia; Prof. **Peter Openheimer**, Oxford University, United Kingdom; Prof. **Tadeusz Palmowski**, University of Gdansk, Poland; Prof. **Andrei E. Shastitko**, Moscow State University, Russia; Prof. **Aleksander A. Sergunin**, Saint Petersburg State University, Russia; Prof. **Eduardas Spiriajevas**, Klaipeda University, Lithuania; Prof. **Daniela Szymańska**, Nicolaus Copernicus University in Torun, Poland; Dr **Viktor V. Voronov**, Daugavpils University, Latvia.

CONTENTS

Social geography

- Druzhinin, A. G., Kuznetsova, O. V.* The sea factor in the federal regulation of Russia's spatial development: post-Soviet experience and current priorities 4
- Fedorov, G. M.* The economy of Russian Baltic regions: development level and dynamics, structure and international trade partners 20
- Voronov, V. V.* Small towns of Latvia: disparities in regional and urban development... 39
- Zemtsov, S. P., Demidova, K. V., Kichaev, D. Yu.* Internet diffusion and interregional digital divide in Russia: trends, factors, and the influence of the pandemic 57
- Kondrateva, S. V.* Cross-border tourist mobility as seen by residents of the Karelian borderlands: COVID-19 restrictions 79

Ethnic Geography

- Agafoshin, M. M., Gorokhov, S. A., Dmitriev, R. V.* Refugees from Syria and Iraq in Sweden: resettlement during the migration crisis 98
- Oskolkov, P. V.* Ethnic minority organisations in Russia and Poland: a comparison challenge Politics of memory 113

Politics of memory

- Megem, M. E.* Preserve vs dismantle: major trends in the Baltics' politics of memory regarding Soviet monuments at sites of mass violence 128
- Filev, M. V., Kurganskii, A. A.* Dismantling monuments as the core of the post-2014 'decommunisation' in Ukraine and Poland 146

Data article

- Kuznetsova, T. Yu.* Inter-regional disparities in agriculture and rural population change in Russia 162

Научное издание

БАЛТИЙСКИЙ РЕГИОН

—
2022

Том 14

№ 4

Редактор *Е. Т. Иванова*
Корректор *Е. А. Алексеева*
Компьютерная верстка *Е. В. Денисенко*

Подписано в печать 05.12.2022 г.
Формат 70 × 108 ¹/₁₆. Усл. печ. л. 16,3
Тираж 300 экз. (1-й завод 50 экз.). Заказ 133
Свободная цена

Издательство Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта
236001, г. Калининград, ул. Гайдара, 6